

В. Г. ЯН
Чингиз-хан

В. ЯН

Чингиз-хан

ИЗДАТЕЛЬСТВО „КАРАКАЛПАКИЯ"
НУКУС 1972

Оформление
художника
МАЛИКОВА Н.

Индекс 7—3—4

ЧИТАТЕЛЬ, САЛЯМ![1]

«Сокол в небе бессилен без крыльев. Человек на земле немощен без коня.

Все, что ни случается, имеет свою причину, начало веревки влечет за собой конец ее. Взятый правильно путь через равнины вселенной приводит скитальца к намеченной цели, а ошибка и беспечность завлекут его на солончак гибели.

Если человеку выпадает случай наблюдать чрезвычайное, как то: извержение огнедышащей горы, погубившее цветущие селения, восстание угнетенного народа против всесильного владыки или вторжение в земли родины невиданного и необузданного народа — все это видевший должен поведать бумаге. А если он не обучен искусству нанизывать концом тростинки слова повести, то ему следует рассказать свои воспоминания опытному писцу, чтобы тот начертал сказанное на прочных листах в назидание внукам и правнукам.

Человек же, испытавший потрясающие события и умолчавший о них, похож на скупого, который, завернув

---

[1] Салям — привет! Подобные „Обращения к читателю" являются типичными для рукописей восточных авторов домонгольского периода.

плащом драгоценности, закапывает их в пустынном месте, когда холодная рука смерти уже касается его головы.

Однако, отточив тростниковое перо и обмакнув его в чернила, я задумался в нерешительности... Хватит ли у меня слов и сил, чтобы правдиво рассказать о беспощадном истребителе народов Чингиз-хане и о его свирепом войске?.. Ужасно было вторжение этих дикарей из северных пустынь, когда во главе войска мчался их рыжебородый владыка, когда разъяренные воины на неутомимых конях проносились по мирным долинам Мавераннагра и Хорезма[1], оставляя на дорогах тысячи изрубленных тел, когда каждое мгновение рождало новые ужасы и люди спрашивали друг у друга: «Засияет ли опять небосвод, затянутый дымом горящих селений, или уже наступил конец мира?..»

Многие меня уговаривали поведать письменно все, что я знал и слышал о Чингиз-хане и о вторжении монголов. Я долго колебался... Теперь же я пришел к мысли, что в моем молчании нет никакой пользы, и я решаюсь описать величайшее бедствие, подобного которому не видывали на земле ни день, ни ночь и которое разразилось над всем человечеством, а в особенности над мирными тружениками твоих полей, измученный несчастьями Хорезм...

Здесь моя речь прерывается, чтобы не забегать слишком далеко. Старые люди подтвердят, что все описанное мною действительно совершилось.

Упорный и терпеливый увидит благоприятный конец начатого дела, ищущий знания найдет его...»

---

[1] Мавераннагр — название местности между Аму-Дарьей и Сыр-Дарьей. Слова „Туркестан“ тогда еще не знали. Хорезм — государство, существовавшее в низовьях Аму-Дарьи. В XIII веке Хорезму подчинялась огромная территория от Аральского моря до Персидского залива. О значении и культуре древнего Хорезма см. исследования проф. С. П. Толстова.

КНИГА ПЕРВАЯ

В ВЕЛИКОМ ХОРЕЗМЕ ВСЕ СПОКОЙНО

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В ПЛАЩЕ ДЕРВИША

Глава первая

ЗОЛОТОЙ СОКОЛ

Наша обитаемая земля похожа на развернутый старый выцветший плащ. Она представляет собою остров, со всех сторон омываемый безграничным океаном.

(Из старинного арабского учебника)

Ранней весной запоздалая снежная буря пронеслась над мертвыми барханами[1] великой равнины Кара-Кумов. Ветер яростно трепал пробившиеся сквозь пески редкие искривленные кусты. Белые хлопья крутились над землей. Десяток верблюдов беспорядочно сбился в кучу возле глиняной хижины с куполообразной крышей. Куда девались провожатые каравана? Почему погонщики не сняли тяжелых вьюков и не уложили их рядами на землю?

Верблюды поднимали облепленные снегом мохнатые головы, их тоскливые всхлипывания сливались с завыванием ветра. Вдали прозвенел колокольчик... Верблюды повернули головы в ту сторону. Показался черный осел. За ним, уцепившись за хвост, плелся бородатый человек в длинном плаще и высоком колпаке дервиша[2] с белой повязкой странника, побывавшего в Мекке.

---

[1] Бархан — подвижной песчаный холм, образуемый в пустыне действием ветра.

[2] Дервиш — персидское слово, означает „нищий". Дервиши составляли особую касту; объединялись в общины во главе со старшиной („пиром" или „шейхом"). Дервиши носили особые плащи, умышленно покрытые множеством грубых заплат и перевязанные веревкой вместо пояса — знак добровольной бедности. Первоначаль-

— Вперед, вперед! Еще десяток шагов — и ты получишь свою долю соломы. Смотри, мой верный друг Бекир, кого мы встретили! Где стоят верблюды, там отдыхают их хозяева, а слуги уже развели костер. А разве там, где у костра собрались десять человек, не найдется горсти рисовой каши и для одиннадцатого? Эй, кто здесь? Правоверные, отзовитесь!

Никто не отозвался. Глухо звякнул треснувший колокольчик на шее верблюда-вожака.

Погоняя осла, запорошенный снегом путник медленно обошел постройку с низкой глиняной оградой. Дверь с искусно вырезанным узором была подперта колом. Позади хижины, на площадке, окруженной песчаными барханами, выстроились ряды безмолвных могил, старательно убранных белыми и черными камешками.

— Дервиш Хаджи Рахим Багдади приветствует вас, уснувшие навеки почтенные обитатели этой тихой долины!— бормотал путник, привязывая осла под камышовым навесом.— Где же сторож этого молчаливого собрания? Может быть, он в хижине?

Накрошив хлеба в пеструю торбу, дервиш подвязал ее к голове осла.

— Отдаю тебе, мой верный друг, последние остатки еды. Тебе она нужнее. Если мы за ночь не замерзнем, завтра ты потащишь меня дальше. Я уж буду согреваться воспоминаниями о том, как было нам жарко под пальмами благодатной Аравии.

Дервиш отбросил кол и открыл дверь. Посредине хижины, где обычно тлеет костер, потухшие угли покрылись пеплом. Крыша куполом уходила кверху, кончаясь отверстием для дыма. У стенки на корточках сидели четыре человека.

— Мир, благоденствие и простор!— сказал дервиш. Ему не ответили. Он сделал шаг вперед. Неподвижность, безмолвие и бледность сидевших заставили его быстро попятиться к двери и выскользнуть наружу.

— Хаджи Рахим, ты не должен роптать. Четыре мертвеца ждут, кто завернет их в саваны. А ты хоть

но среди дервишей были и выдающиеся поэты и ученые, занимавшиеся философскими вопросами. В позднейшее время дервиши выродились в тунеядцев, эксплуататоров народной темноты и невежества, лечивших больных заговорами, молитвами, занимавшихся гаданьем, торговлей талисманами и разного рода шарлатанством.

нищ и голоден, но еще силен и можешь бродить по бесконечным дорогам вселенной... Рядом целый караван, потерявший своего хозяина. Если б только я захотел, я мог бы сделаться владельцем этих верблюдов, нагруженных богатыми вьюками. Но искателю правды, дервишу, ничего не нужно. Он останется бедняком и пойдет дальше, распевая песни. Однако нужно пожалеть и бедную скотину.

Дервиш обошел верблюдов, распутал на них веревки, разместил животных рядом друг с другом и опустил их на колени. Среди вьюков он нашел мешок с ячменем и насыпал из него по нескольку горстей перед каждым верблюдом.

— Если бы кто-либо спросил, сделал ли Хаджи Рахим за свою жизнь доброе дело, то эти верблюды ему могли бы хором спеть: «В холодную бурю дервиш накормил нас, и мы оттого не замерзли».

Всю ночь дервиш пролежал на связке камыша, прижавшись спиной к ослу, который тихо дремал, подобрав ноги. Утром ветер разметал тучи и на востоке показалось солнце.

Увидев розовые лучи, скользнувшие по могилам, дервиш вскочил.

— В дорогу, Бекир, пойдем дальше!

Навьючив осла мешком с остатками ячменя, дервиш заглянул в хижину. Вместо четырех человек, сидевших у стены, теперь оставался только один. Раскрытые карие глаза смотрели тускло и не мигая.

— Куда же девались остальные мертвецы? Неужели они улеглись в могилы? Нет, Хаджи Рахим не хочет оставаться здесь; он пойдет дальше, в города Хорезма, туда, где много радостных людей, где льется беседа мудрецов, свежая, как молоко и мед.

— Помоги мне, правоверный!— прошептал хриплый голос. У сидевшего человека зашевелилась волнистая борода.

— Кто ты?

— Махмуд...

— Ты из Хорезма?

— У меня золотой сокол...

— Ойе! — удивился дервиш.—Правоверный, умирая, думает о своем соколе! Выпей воды!

Больной с трудом отпил несколько глотков из тык-

венной бутылки. Его блуждающие глаза остановились на дервише.

— Меня тяжело ранили... разбойники Кара-Кончара[1]... Три моих спутника ожидали горького конца, кто-то запер дверь, и мы не могли уйти... Если ты, правоверный, бросишь правоверного в беде, то это хуже убийства...— так говорит «благородная книга»[2]...

Его зубы стучали лихорадочной дрожью, рука с мольбой протянулась к дервишу и бессильно упала. Больной повалился на бок.

Хаджи Рахим расстегнул шерстяную одежду больного. На груди темнела рана и сочилась кровь.

— Нужно остановить кровь. Чем перевязать его?

Рядом лежала толстая, искусно свернутая белая чалма[3]. Дервиш начал ее разматывать.

Из тонкой кисеи чалмы выпала овальная золотая пластинка. Дервиш поднял ее. На ней было тонко вычеканен сокол с распростертыми крыльями и вырезана надпись из странных букв, похожих на бегущих по тропинке муравьев.

Дервиш задумался и более внимательно посмотрел на больного.

— На этом человеке огненные отблески будущих великих потрясений. Вот где скрыта тайна ожившего мертвеца,— шептал дервиш.— Это пайцза[4] великого татарского кагана[5]. Этого золотого сокола надо сберечь; я отдам его больному, когда разум и сила к нему вернутся.— И дервиш спрятал золотую пластинку в складках своего широкого пояса.

Он долго возился с больным, пока не обмотал его раненую грудь тонкой кисеей чалмы. Затем он вышел

---

[1] Кара-Кончар — черный меч.

[2] Благородная книга (масхари шериф) — так мусульмане называют Коран, собрание мифических легенд и поучений, написанных основателем мусульманской религии арабом Магометом (570 — 632).

[3] Чалма — тонкая длинная ткань, которой мусульмане искусно обертывают голову.

[4] Пайцза — пластинка из металла или дерева с вырезанным на ней повелением Чингиз-хана; пайцза являлась пропуском для свободного проезда по монгольским владениям. Пайцза давала большие права: власти на местах должны были оказывать содействие, давать лошадей, проводников и продовольствие лицам, имевшим пайцзу.

[5] Каган — „хан ханов", повелитель монголов и татар.

из хижины, поднял одного из верблюдов и подвел его к двери. Он опустил верблюда на колени, перенес больного и усадил его между мохнатыми горбами, привязав волосяными веревками.

Когда солнце поднялось над барханами, дервиш шагал по тающему снегу едва заметной степной тропой. За ним семенил копытцами осел, а за ослом равномерно шагал высокий двугорбый верблюд. На нем беспомощно раскачивался привязанный больной.

— Вперед, Бекир! Скорее дойдем до Гурганджа[1], где тебя ждет охапка сухого клевера. Здесь опасно. Из-за холмов вылетит разбойник Кара-Кончар и сделает рабом твоего хозяина, а с тебя сдерет твою черную шкуру. Скорей, подальше отсюда!

Глава вторая

В ЮРТЕ КОЧЕВНИКА

Джелаль эд-Дин Менгбурны́, наследный сын хорезмшаха[2], охотился в песках Кара-Кумов. Двести лихих джигитов на отборных конях сопровождали молодого хана. Они выполняли тайный приказ шаха — следить, чтобы Джелаль эд-Дин не скрылся из пределов Хорезма. Джигиты двигались полукругом по степи, стараясь загнать джейранов[3] и диких ослов к гряде холмов, где слуги заблаговременно поставили черную палатку с белым верхом и готовили пиршество для всех участников охоты.

Весна рассыпала по пескам первые редкие цветы, и под ослепительным солнцем быстро таяли остатки снежных заносов. На третий день охоты небо внезапно потемнело. С севера, из Кипчакских степей[4], подул холодный ветер, и закрутилась снежная пурга.

---

[1] Гурганд ж (или Ургенч) — столица Хорезма, расположенная в низовьях реки Аму-Дарьи, впоследствии разрушенная монголами.

[2] Хорезм-шах — правитель Хорезма, в начале XIII века сильнейший из мусульманских владык.

[3] Джейран — газель, разновидность антилопы.

[4] Кипчакская степь — огромная территория от Днепра и на восток до Семиречья, населенная многочисленным кочевым народом тюркского корня — кипчаками. В русских летописях кипчаки назывались „половцами“, на Западе они назывались „куманами“. В

Джелаль эд-Дин на горячем вороном аргамаке, преследуя раненого джейрана-самца, отдалился от своих спутников. Он видел, как козел прихрамывал и оглядывался, насторожив уши. Уже близка была добыча, но джейран, тряхнув изогнутыми рожками, снова унесся в степь. Упорный и гневный хан скакал на взмыленном жеребце, не спуская глаз с мелькавшего впереди поднятого черного хвоста.

Наконец джейран был пробит стрелой и привязан за седлом. Между тем буря усилилась, снег замел тропинки. Джелаль эд-Дин понял, что заблудился и может погибнуть, если буря продлится несколько дней. Ведя коня в поводу, он пошел против ветра. Надвигалась ночь. Выбившись из сил, хан развернул попону, укрыл коня и, полузасыпанный снегом, просидел так всю ночь.

Взошло солнце, ветер стих. Снег стал таять, между барханами потекли ручейки. Вглядываясь вдаль, Джелаль эд-Дин заметил сигнальную вышку — холм, сложенный из хвороста и костей; он намечал путь среди однообразной, как море, равнины. Хан направился к нему. В глинистой долине между песчаными холмами приютились четыре бедные, закоптелые юрты.

Неистовый лай собак вызвал из юрты старого кочевника туркмена. Придерживая накинутый на плечи козлиный тулуп, он с достоинством подошел к всаднику и гостеприимно коснулся повода.

— Если мой дом не покажется тебе слишком бедным, то войди с миром, почтенный бек-джигит! — сказал старик, пораженный богатой одеждой, малиновыми шароварами из толстого шелка, а более всего величественным вороным жеребцом, на каком могут ездить только султаны.

— Салям! Есть ли у тебя ячмень? Я заплачу двойную цену.

— В пустыне хлеб дороже денег. Но для редкого гостя найдется все, что он захочет. Вместо ячменя твой конь будет накормлен отборной пшеницей...

Венгрии имеются области „Великая Кумания“ и „Малая Кумания“, населенные потомками половцев, бежавших в XIII веке от нашествия монголо-татар.

Из ближней юрты слышался шум ручного жернова, на котором женщины мололи пшеницу.

— Ойе, вы там! Возьмите коня!

Две девушки в темно-красных рубашках до пят, звеня серебряными украшениями и монетами на груди, выбежали из юрты, прикрываясь краем полупрозрачной ткани, накинутой на голову. Они взяли с двух сторон за повод коня и увели его.

Хан вошел в юрту. Там было тепло. Посредине курился костер из смолистых корней. У стенки на войлоке лежал на спине человек. Серое бескровное лицо с черной бородой и сложенные на груди руки говорили о близкой смерти. Прерывистое дыхание показывало, что жизнь его отчаянно борется в этом обессиленном теле.

В ногах больного сидел бородатый дервиш в высоком колпаке с белой повязкой — знаком хаджи[1]. На его полуголое тело был накинут широкий плащ с множеством ярких заплат.

— Салям алейком!— сказал Джелаль эд-Дин и опустился на войлок около больного. Подползла закутанная до глаз женщина-рабыня и стащила с хана промокшие зеленые сапоги. Джелаль эд-Дин отстегнул кожаный пояс с кривой саблей и положил около себя.

— Ты кто?— спросил он дервиша.— Судя по твоей одежде, ты видел далекие страны?

— Я хожу по свету и ищу среди моря лжи острова правды...

— Где твоя родина и куда ты идешь?

— Меня зовут Хаджи Рахим, а прозвали меня еще Багдади́, потому что я учился в Багдаде. Моими учителями были самые совершенные, великодушные и знающие люди. Я изучил много наук, много перечел сказаний арабов, турок, персов и написанных древним языком пехлеви́. Но, кроме сожаления и кроме тяжести грехов, я не вижу другого следа моих юных дней...

Джелаль эд-Дин поднял недоверчиво бровь.

— Куда же и зачем ты идешь?

— Я хожу по этому плоскому подносу земли, лежащей между пятью морями, посещаю города, оазисы и

---

[1] Хаджи — паломник, совершивший „хадж" (путешествие) в Мекку, город в Аравии, где мусульмане поклоняются памятникам культа, которые считают священными.

пустыни и ищу людей, опаленных огнем неудержимых стремлений. Я хочу увидеть необычайное и преклониться перед истинными героями и праведниками. Сейчас я направляюсь в Гургандж, по слухам, прекраснейший и богатейший город Хорезма и всего мира, где, говорят, я найду и блистающих знаниями мудрецов, и искуснейших мастеров, украшающих город образцами великого искусства...

— Ты ищешь героев, записывающих свои подвиги концом меча на полях битв?— сказал Джелаль эд-Дин и задумался.— А сумеешь ли ты такими пламенными строками описать подвиги героя, чтобы юноши и девушки запели твои песни, чтобы их повторяли отважные джигиты, бросаясь в бой, или старики, делая последний шаг к могиле?

Дервиш ответил стихами:

Хотя богат и славен песней Рудеги[1],
Но я не меньше слов прекрасных знаю.
Слепой, стихами он завоевал весь мир,
А я пою для собеседников костра степного...

Хозяин втащил в юрту убитого ханом джейрана. С него была уже содрана шкура и выпотрошены внутренности.

— Позволь передать женщинам часть мяса, чтобы они приготовили для тебя ужин?

— Угощайтесь все! Берите все!— ответил Джелаль эд-Дин.— Я не ловчий у бека. Я сам бек и сын бека, не обязанный передавать добычу хозяину...— Он вытащил из ножен узкий кинжал, вырезал из спины джейрана несколько тонких кусочков мяса и, нанизив их на прутик, стал поджаривать над угольями костра.

Хозяин передал тушу джейрана женщинам, а сам сел рядом с гостем. Поглаживая бороду, он стал задавать вопросы вежливости:

— Здоров ли ты? Силен ли ты? Согрелся ли? Здоровы ли твои родители?

Хан, соблюдая обычай, также задал несколько вопросов участия и затем сказал:

— Да не покажутся обидой мои слова: чей это шатер и где я нахожусь?

---

[1] Рудеги — крупнейший поэт IX века, родом из Бухары.

— Моя юрта на один переход в стороне от большой караванной дороги к городу Нессе[1], а я — простой кочевник, затерянный в великой степи, которого все зовут Коркуд-Чобан[2].

Собака, ворчавшая за стеной юрты, залилась лаем. Донеслись крики, всхлипывания и плач. Конский топот приблизился и затих. Сильный голос окрикнул:

— Кто в юрте? Отзовись, Коркуд-Чобан!

Глава третья

СТЕПНОЙ ДЖИГИТ

Старик поднялся и вышел. Едва доносились слова разговора.

— Зачем он приехал сюда? — шепотом хрипел всадник. — Или настал его смертный час?

— Все трое — мои гости.

— Я покажу, какой приговор аллаха написан на их бледном челе...

— Ты их не посмеешь тронуть. А эти новые твои пять невольников откуда?

— Это опытные мастера: медники и оружейники. Они шли вместе с караваном. Я хотел «подстричь бороды» этому каравану, но откуда-то шайтан принес две сотни джигитов, гнавших джейранов для какого-то знатного бека. Пришлось верблюдов бросить, погонщики разбежались, и я погнал только пять этих мастеров. Теперь я их отсылаю в Мерв, где продам за хорошую цену.

— Да поможет тебе в этом аллах!

Хозяин с новым гостем вошли в юрту.

Незнакомец был молод, высок, с прямыми плечами и очень тонок в поясе. Сбоку в зеленых сафьяновых ножнах висел длинный меч-despite кончар. Желтые сапоги из верблюжьей замши на тонких высоких каблуках, высокая круглая шапка из овчины и особого покроя черный

---

[1] Несса — когда-то сильная древняя крепость близ нынешнего Ашхабада, потом разрушенная монголами и засыпанная песками. Ее развалины были открыты советскими учеными в 1931 году.

[2] Коркуд-Чобан — пастух Коркуд.

чапан[1] говорили, что он туркмен. Это подтверждало и смуглое решительное лицо с выдающимися скулами.

— Проходи к огню, садись!— пригласил хозяин.

Гость, однако, не опустился на ковер, а продолжал стоять около входа. Его глаза расширились и стали круглыми, как у совы.

— Ты кто?— спросил, не подымая глаз, Джелаль эд-Дин.

— Степняк...

— Кочуешь со скотом или промышляешь иным?

— Я стригу бороды караванным купцам...

Такой ответ, по степным обычаям, был грубостью. При встрече у костра с незнакомыми, даже бедно одетыми, все становятся равными, обмениваются вопросами вежливости: о здоровье, о состоянии стад, о дальности дороги. Туркмен, очевидно, искал ссоры.

Джелаль эд-Дин вскинул и опустил глаза, и только уголок рта чуть дрогнул. Разве станет знатный хан входить в пререкания с простым кочевником песков?

— Хозяин сказал, что ты ищешь дорогу к Гурганджу? Я могу тебя проводить,— помолчав, сказал туркмен.

Джелаль эд-Дин был храбр, но его конь устал. Здесь он в безопасности, его охраняет закон гостеприимства. А на дороге этот туркмен будет так же за ним охотиться, как недавно он сам охотился за джейраном. И хан ответил:

— Сейчас в Гургандж я не поеду.

— А кто этот стонущий, уходящий из нашего печального мира?

— Раненный разбойниками,— сказал дервиш.— Наверно, это дело рук отчаянного Кара-Кончара. Говорят, что этот барс пустыни не щадит никого.

— А ты думаешь, что другие не грабили Кара-Кончара?

Дервиш ответил:

— Что могу думать я, пустой орех, гонимый по степи ветром скитаний!

— Кара-Кончар живет на безводном недоступном солончаке. Он неуловим, как ящерица, ныряющая в пе-

[1] Чапан — верхняя одежда, кафтан.

сок, или как змея, скользящая в камышах. Никто не может добраться до него, а он проникает всюду.

— Кто промышляет разбоем, готовит себе славный конец: его голова подымется выше всех, надетая на кол на стене Гурганджа,— равнодушно сказал Джелаль эд-Дин, поворачивая прут с жарившимся мясом.

— Кара-Кончар — ночная тень, догоняющая злодея,— продолжал туркмен.— Кара-Кончар — кинжал мести, копье гнева и меч расплаты. Сейчас Кара-Кончар один, нет у него ни сына, ни брата. Настанет день, когда он падет мертвым, и то место, где стоит его юрта, опустеет. Хорошо ли это?

— Это невесело,— сказал Джелаль эд-Дин.

— А раньше у Кара-Кончара был и седобородый отец, и смелые братья, и нежные сестры. Но когда шаху Мухаммеду нужна сотня коней, он едет с кипчакскими воинами в наши кочевья и берет вместо одной сотни коней три сотни лучших жеребцов. А с женщин он снимает серебряные украшения, говоря, что делает это в наказание за то, что какие-то кочевники где-то ограбили надменного кипчакского хана. А когда у шаха имеется во дворце триста жен, он со своими кипчаками увозит нашу лучшую девушку Гюль-Джамал, из-за которой спорили сто джигитов, и насильно держит ее в своем дворце, называя триста первой женой. Хорошо ли это?

— Это тоже невесело,— сказал спокойно Джелаль эд-Дин.— Но то, что сто джигитов допустили увезти из кочевья лучшую девушку и не отбили ее,— вот это нехорошо.

— Тогда в кочевье наших джигитов не было. Кипчаки хитры и выбирают время, когда к нам приезжать.

— Слушай мои слова, джигит,— сказал Джелаль эд-Дин.— Ты говоришь, что у тебя были отец, братья и сестры? Почему их больше нет?

— Белобородого отца схватили шахские палачи и на площади Гурганджа медленно разрубили на куски, начиная от ступней ног. Братья бежали на восток и на запад. Сестер схватили кипчакские всадники и увезли. Разве это хорошо?

— Это тоже нехорошо,— сказал Джелаль эд-Дин.

— Где же мне теперь скитаться под солнцем? Что же мне остается делать?

Джелаль эд-Дин заговорил горячо:

— Если светлая сабля в твоих руках сверкает для защиты родного племени, если, кроме забав на караванных дорогах, ты хочешь совершить подвиг и стать опорой нашего зеленого знамени, то приезжай ко мне в Гургандж, и я научу тебя, как создать славное имя.

— Слушай, бек-джигит,— ответил туркмен, с яростью утирая рукавом губы.— Когда я приеду в Гургандж, то по моим следам, как шакалы, побегут шпионы-«джазусы» шаха, но я им не сдамся и погибну в схватке. Нужно ли это?

— Этого не будет,— сказал Джелаль эд-Дин.—Когда ты подъедешь к Западным воротам Гурганджа, ты увидишь сад с высокими тополями. Спроси у привратников: «Это ли новый дворец и сад Тиллялы? Проведите меня к хозяину!». И ты покажешь этот листок.

Джелаль эд-Дин достал из складок шафрановой чалмы листок бумаги, снял с большого пальца золотой перстень. Горящей веткой он закоптил печатку перстня и, помочив слюной уголок листка, приложил перстень. На бумаге копотью отпечаталось красивой вязью написанное имя. Свернув листок в трубочку, он сложил ее пополам, разгладил на колене и передал туркмену. Тот приложил листок к губам и ко лбу и спрятал в медной коробочке для трута, привешенной у пояса.

— Я верю твоему слову, бек-джигит, я приеду. Салям!— И туркмен исчез за дверной занавеской.

Хозяин молча последовал за ним. Перед юртой, где на костре кипел большой медный котел, на мокрой от тающего снега земле сидели пять истощенных рабов в истерзанных лохмотьях. Руки у всех были закручены за спину, шеи затянуты петлями, концы их привязаны к волосяному аркану. Рядом с рабами стоял рыжий высокий конь с серебряным ошейником на изогнутой шее, с туго притянутым к луку поводом. На луку был намотан конец аркана, державшего пленных.

Туркмен сел на коня.

— Вперед, скоты-иноверцы! Если не будете плестись, я вас изрублю и оставлю падалью на дороге.

Пятеро рабов поднялись и заковыляли один за другим. Туркмен взмахнул плетью, и вскоре все скрылись за холмом. Хозяин вернулся в юрту.

— Почтенный гость, около сотни джигитов показались вдали и направляются сюда.

— Знаю, это джигиты хорезм-шаха ищут меня. А кто был человек, с которым я сейчас говорил?

— Это,— и хозяин продолжал шепотом, точно боясь, что туркмен вернется,— это барс Кара-Кумов, гроза караванных путей, славный разбойник Кара-Кончар, да рассудит его аллах!

Глава четвертая

ХАКИМ, ПРАВДИВО РЕШАЮЩИЙ

После остановки у кочевников Хаджи Рахим два дня шел узкой тропой через пустыню, направляясь на север к оазису в низовьях Джейхуна[1], где находились города и селенья многолюдного Хорезма. Медленно плелся осел, и равномерно шагал за ним верблюд с больным купцом, все еще не приходившим в сознание. Дервиш распевал арабские и персидские песни и всматривался вдаль, ожидая, когда же, наконец, появятся цветные купола мечетей Хорезма.

На третий день узкая тропа среди песчаных барханов обратилась в широкую дорогу и поднялась на каменистую возвышенность. Оттуда открылась цветущая радостная равнина, покрытая садами, рощами и квадратами зеленеющих полей. Всюду между деревьями виднелись домики с плоскими крышами, группы черных задымленных юрт и похожие на крепости с башенками по углам усадьбы богатых кипчакских ханов. Кое-где, точно копья, торчали острые минареты, и возле них переливались разноцветными изразцами купола мечетей. Как большие зеркала, сверкали квадраты пашен, залитые водой. По ним ходили полуголые, в отрепьях, люди с цепями на ногах.

Дервиш остановился на холме.

— Вот земля, созданная стать раем,— шептал он,— но она стала долиной мучений и слез. Пятнадцать лет назад я бежал отсюда, задыхаясь от страха, озираясь, как преступник. Кто сможет узнать теперь в обожжен-

[1] Джейхун — название реки Аму-Дарьи в XIII веке.

ном солнцем черном дервише того юношу, которого проклял сам верховный имам[1]? Вперед, Бекир, скоро мы будем ночевать у ворот столицы всех столиц, богатейшего из всех городов мира — Гурганджа, где царствует хорезм-шах Мухаммед, самый могучий, но и самый зловещий из мусульманских владык...

Дервиш снова зашагал. По дороге стали чаще встречаться двухколесные повозки, запряженные крупными длиннорогими волами, пешие путники, нарядные всадники на разукрашенных конях и почерневшие на солнце поселяне на тощих ослах; отовсюду слышалось мычанье коров, блеянье овец, крики погонщиков.

В первом же селении дервиша окружили люди с длинными белыми палками.

— Ты что за человек? Если ты дервиш бессребреник, то зачем тащишь за собой верблюда? Пойдем к хакиму[2], он прочтет тебе твой смертный приговор.

Дервиша привели во двор, окруженный высокой глиняной стеной. На террасе, устланной широким ковром, сидел, скрестив ноги, тощий прямой старик в полосатом халате. Огромная белоснежная чалма, тщательно расчесанная седая борода, строгий, пронизывающий взгляд и медлительность движений вызывали трепет у всех, кто приближался к нему, и они падали ниц. Рядом, согнувшись, сидел молодой писарь с тростниковым пером в руке, ожидая приказаний.

— Кто ты? — спросил хаким.

— Я грешный сын моей почтенной матери, по имени Паджи Рахим аль Багдади, ученик святых багдадских шейхов[3]. Я хожу по длинным дорогам и тщетно ищу следов праведников, скрытых холодным мраком могилы.

Старик недоверчиво поднял бровь и уставился на дервиша.

— А кто этот больной на верблюде? Почему он без чалмы? Правоверный ли он мусульманин, или иноверец? Мне говорят, что ты его изранил, ограбил и распродал все его достояние? Верно ли это?

Дервиш поднял руки к небу.

---

[1] Имам — настоятель мусульманской мечети.

[2] Хаким — правитель округа. Первоначальное значение: ученый, законовед.

[3] Шейх — глава мусульманской религиозной общины.

— Ты, всевидящее небо, одна моя защита! Дивлюсь я на сплетника, который ничем, кроме лживых слухов, не дышит! Что ему до моих трудов и печалей!

Хаким многозначительно поднял кверху указательный палец и прошептал:

— Расскажи мне правдиво, что ты знаешь об этом больном?

Тогда дервиш рассказал о встрече с разграбленным караваном и о своих стараниях спасти жизнь раненого.

Старик провел рукой по серебристой бороде и сказал:

— Может быть, этот раненый очень большой человек и рука его достает до самого солнца? Я сам осмотрю больного.— Просунув босые ноги в туфли, он спустился с террасы и прошел к верблюду. Его окружили жители селения, стараясь перекричать друг друга.

— Мы знаем этого больного человека. Это богатый купец из Гурганджа, Махмуд-Ялвач. Вот и на верблюде выжжено его тавро. Караваны Махмуд-Ялвача в двести-триста верблюдов ходят в Тавриз и в Булгар[1] и до священного Багдада.

Хаким, выслушав жителей, помолчал, пожевал губами и важно провозгласил свое решение, а писарь записал его.

«Так как знающие и заслуживающие доверия люди заявляют, что больной — это достойнейший купец Махмуд-Ялвач из Гурганджа, то я приказываю снять его осторожно с верблюда, положить в моем доме и призвать лекаря-табиба, чтобы он старательно излечил его целебными травами. Дервиш, сделавший доброе дело своей заботой о раненом правоверном, может идти дальше, и его должен вознаградить спасенный купец. Так как верблюд не может принадлежать дервишу, то он останется у меня, пока не излечится его хозяин. За произнесение судебного приговора и приложение печати оставить при моем управлении черного осла, принадлежащего дервишу».

— Записал? — обратился хаким к писцу.

Тот прошептал:

— Истинно сказал мой господин!

Правитель добавил:

---

[1] Тавриз — большой город в северном Иране. Булгар — в X — XIV веках богатый торговый и промышленный город, столица волжских булгар, расположенная при впадении Камы в Волгу.

— Ученый дервиш, возьми от моих скудных средств один дирхем[1].

Хаджи Рахим взял медную монету, потер ею лоб и приложил к губам. Держа ее в зажатой ладони, он сказал:

— Твоя мудрость велика, о хаким, правдиво решающий. Ты освободил меня от забот о раненом, о верблюде и об осле, на котором мне не придется ездить, но которого мне зато и не придется кормить. Я же, ничтожнейший из погибающих, подобен легковесной монете, что скользит из щедрой руки дающего в деревянную чашку слепого. И если твоя щедрость так же чиста, как серебро твоей бороды, то эта медная монета дирхем обратится в золотой динар[2].

Хаджи Рахим раскрыл ладонь. На ней блестела золотая монета — динар.

— Истинно говорю тебе, почтенный начальник, что та земля, на которую ступит твоя нога, никогда не увидит неурожая.

Хаджи Рахим снова зажал ладонь и стоял неподвижный. А правитель и все окружающие безмолвно глядели то друг на друга, то на сжатый кулак дервиша, и рты их раскрылись.

— Я дал ему медный черный дирхем. Это я хорошо помню. Но все вы только что увидели в его руке золотой динар,— сказал начальник. И с быстротой, которой никто не ожидал от всегда важного старика, хаким бросился к дервишу и вцепился в его руку.

— Отдай золотой динар! Им ты должен оплатить судебные расходы!

Хаджи Рахим раскрыл ладонь, и начальник схватил монету, но это опять был медный дирхем. Важный хаким подул себе на плечи и торжественно поднялся на террасу.

Хаджи Рахим подошел к ослу, снял свой мешок, перекинул через плечо и, не оглядываясь, направился дальше к Гурганджу, выкрикивая во весь голос призыв дервишей:

— Я-гу-у! Я-хак! Ля илляхи илля-гу-у![3]

[1] Дирхем — серебряная монета стоимостью около 20 копеек, черный медный дирхем — около 2 копеек.

[2] Динар — золотая монета, приблизительно 10 рублей.

[3] Этот обычный арабский призыв дервишей означает: „Да, это он справедливый, нет другого аллаха, кроме него!"

Глава пятая

ЗАВЕТНАЯ КАЛИТКА

«Все осталось таким же, как много лет назад,— думал Хаджи Рахим, прислонившись к высокому глиняному забору пустынного переулка Гурганджа.— Те же домики с плоскими крышами среди абрикосовых и тутовых деревьев, так же на бирюзовом небе вьются стаями белые голуби, а еще выше над ними с жалобным стоном медленно кружат бурые коршуны... Так же над забором свесились белые ветви цветущей акации и под ними притаилась та же маленькая заветная калитка. На ее серых выветренных досках еще заметны круги искусно вырезанного узора. Когда-то из этой калитки выходила девушка в розовой одежде и оранжевом покрывале. Где она? Что с ней стало?»

Калитка открылась, и вышла девушка-подросток в длинной розовой одежде с шафрановым покрывалом. В руке она держала лопату. Слегка выдающиеся скулы и чуть скошенные глаза, покрой одежды и узел шафранного платка сказали бы знающему, что эта девушка из тюркского племени. Напевая песенку, она расчистила отводную канавку в свой сад, и вода повернула в пробитое отверстие под глиняным забором.

Вдруг девушка быстро выпрямилась и, прикрывая глаза узкой смуглой рукой, посмотрела в конец улицы.

Там кто-то пел высоким переливчатым голосом:

Наступит ночь, из глаз уходит сон,
Любуюсь до зари на звездный небосклон.
И если молодой луны увижу рог,
Я вспоминаю серп ее бровей.
То не судьба ль моя? Не мой ли рок?
Загадку разгадать хочу грядущих дней...

В глубине переулка показался молодой всадник в темно-зеленом чекмене[1], туго стянутом пестрым поясом. Сдвинув на правую бровь баранью шапку, он медленно

---

[1] Чекмень — нарядная мужская одежда (кафтан, казакин).

ехал на плясавшем караковом жеребце. Всадник хлестнул коня и с места бросился вскачь. Поравнявшись с девушкой, он разом осадил коня.

Девушка бросила лопату и вбежала во двор, захлопнув калитку. Всадник передвинул шапку на затылок и медленно поехал дальше по переулку.

Калитка приоткрылась, и девушка выглянула. Робко посмотрев по сторонам, она подняла лопату и снова скрылась.

Бородатый, почерневший от зноя дервиш в остроконечном колпаке с белой повязкой хаджи и в разноцветном плаще, громко, как слепой, ударяя длинным посохом, перешел дорогу. Оглянувшись, он осторожно снял лоскут розовой материи, зацепившийся за калитку, и спрятал за пазуху.

— Да,— бормотал он,— все здесь осталось по-прежнему: то же дерево — только оно стало еще выше и гуще, та же калитка — она лишь потемнела и покосилась... И девушка похожа на ту, кого я любил в шестнадцать лет, но это не она. А где та, которая стояла здесь много лет назад с корзинкой абрикосов и сама смуглая и сладостная, как абрикос?! Все осталось то же, даже вон там, над старой башней, как и раньше, кружат ястреба. Только Хаджи Рахим не тот...

Дервиш постучал посохом в калитку. За старой карагачовой[1] дверцей послышался старческий кашель. На пороге появился старик, сухой и сгорбленный, в белоснежной чалме.

— Ягу́-у! Я-ха́к!— запел дервиш.

Старик, всматриваясь слезящимися красными глазами, пошарил в складках свернутого из материи пояса и вытащил старый кожаный кошель. Он порылся в нем бескровными восковыми пальцами и достал черную тонкую монету.

— Аллахум селля! — воскликнул дервиш, прижимая монету ко лбу и губам.— Кто живет в этом доме? За кого я могу вознести молитвы единственному?

— Я живу в этом доме, но принадлежит он не мне, а кузнецу Кары-Максуму. На главном базаре все знают

---

[1] Карагач — огромное многоветвистое тенистое дерево, очень распространенное в Средней Азии. Из него получаются широкие доски особой прочности.

обширную кузницу и оружейную мастерскую Кары-Максума. Служителям веры он в подаяниях не отказывает.

— А каким именем судьба одарила тебя, делатель чудес?

— Не называй меня высоким словом «делатель чудес». Я старый шахский летописец Мирза-Юсуф и могу только добавить стихами поэта:

Я прожил жизнь, как вьючная скотина,
Я — раб своих детей и пленник у семьи.
На пальцах я сочту все, что имею, —
Мой бедный дом и сотни тысяч бед!
А выйти из беды надежды нет!..[1]

— Нет, нет! Ты все же делатель чудес,— сказал дервиш.— Ты пожертвовал черный дирхем, и так как твое подаяние исходило из благородного порыва сердца, дирхем сразу обратился в полноценный динар из чистого золота.

Старик наклонился к темной, похожей на птичью лапу ладони дервиша, на которой лежал золотой динар с выпуклой надписью.

— В моей долгой жизни я никогда не видал чудес, о которых говорят священные книги. Или ты, дервиш, способен делать чудеса, или же ты, как фокусник на базаре, хочешь посмеяться над полуслепым стариком.

— Но ты можешь испытать этот динар. Пошли твоего слугу на базар, и он принесет тебе целую корзину и жареного кебаба[2], и вареной лапши, и меду, и сладких дынь. Может быть, ты даже уделишь тогда от этого изобилия бедному путнику, пришедшему сюда прямо из далекого Багдада?

— Так ты пришел из славного Багдада? В таком случае заходи в мой дом и расскажи о том, что ты там видел, а я испытаю силу твоего удивительного динара.

---

[1] Из стихотворения Кесаи (IX в.).

[2] Кебаб — блюдо из мелко рубленного мяса, поджаренного на вертелах.

Глава шестая

ШАХСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ

...Он направился ко мне, несмотря на далекое расстояние наших жилищ, долгий путь и ужасы дороги.

(Ибн-Хазм, XI в.)

Шаркая желтыми замшевыми сапогами, старик направился через двор и поднялся на террасу.

— Проходи за мной, путник!

Дервиш вошел за стариком в комнату с кирпичным полом и разостланными вдоль стен узкими ковриками. На полках в нише стояли два серебряных кувшина и стеклянная иракская ваза. Купол комнаты, искусно составленный из переплетенных раскрашенных бревен, имел в середине отверстие для выхода дыма. Посреди комнаты в квадратном углублении чадила жаровня с углями. Вдоль задней стены стояли три раскрытых, окованных железом сундука, и в них виднелись переплетенные в желтую кожу большие книги.

Дервиш сложил около двери посох и другие свои вещи. Сбросив туфли, он прошел к старику, преклонил колени и опустился на пятки.

— Бент-Занкиджа!— дребезжащим голосом крикнул старик.

Вошел мальчик в длинном до пят полосатом халате и голубой чалме. Скрестив руки на животе, он склонился, ожидая приказания.

— Возьми этот золотой динар. Передай его старому Саклабу и объясни ему так: «Пойди, дед Саклаб, на базар, в тот ряд, где сидят индусы-менялы перед ящиками с серебряными и золотыми монетами. Эти же менялы продают волчки и кости для игры. Выбери самого седобородого и попроси оценить эту монету: настоящий ли это полновесный золотой динар?» Если меняла-индус скажет, что в динаре нет обмана, то пусть он его разменяет на серебряные дирхемы. Получив серебро, пусть Саклаб пойдет в тот ряд, где путники могут насладиться едою, и купит то, что сейчас тебе перечислит этот почтенный искатель истины.

— Что должен слуга купить? — обратился мальчик к дервишу.

Тот смотрел на мальчика. Нежные черты его лица показались странно знакомыми. Где он его видел? Дервиш сказал:

— Пусть слуга возьмет с собой корзину и купит все то, что он купил бы для брата, которого не видел много лет. Пусть слуга сам выбирает.

Старик поманил к себе мальчика и сказал ему на ухо:

— Пусть Саклаб, вернувшись с базара, не входит сюда, как обычно, оборванцем, а сперва наденет мой старый халат. А ты, отдав ему динар, возвращайся сюда и захвати с собой чернильницу с калямом[1] и бумагу. Сейчас ты будешь записывать его речь.

Мальчик скрылся и вскоре вернулся с бумагой и прибором для письма.

— Скажи мне, путник, сперва твое имя, откуда ты родом и как ты попал в славный Багдад?

— Меня зовут Хаджи Рахим аль Багдади. Родом же я из маленького селения близ Басры. Я готов отвечать тебе на все вопросы, но прежде позволь мне коснуться чего-то другого, о чем беспокоится мое сердце.

— Ну, говори, — сказал старик.

— В Багдаде я учился в большом медресе[2] у знаменитейших ученых. Среди студентов, которые вместе со мной искали света у этих факелов знания, был один юноша, всегда скорбный и молчаливый, отличавшийся страстным прилежанием. Когда я ему сказал, что хочу надеть «пояс скитания» и, взяв «посох странствования», отправиться в славный Гургандж, благородную Бухару и прекрасный Самарканд, этот юноша обратился ко мне с такими словами: «Хаджи Рахим аль Багдади, если ты попадешь в богатый город хорезм-шахов Гургандж, то пройди в третью улицу, пересекающую главный путь от базара к Западным воротам, найди там дом кузнеца и торговца оружием Кары-Максума и узнай, живы ли там мои почтенные родители. Расскажи им все, что я делаю в Багдаде. Когда же ты вернешься в Багдад, то ты поведаешь мне все, что о них узнаешь». Я обещал ему это и отправился в путь. Но ветер непредвиденности и гроза испытаний бросали меня в разные стороны вселенной. Я шел под палящими лучами солнца Индии, проходил

---

[1] Калям — остро отточенный камыш, служивший вместо пера.

[2] Медресе — высшее духовное учебное заведение.

далекие пустыни Татарии[1], доходил до Великой стены, охраняющей царство китайцев от набегов татар; я посетил берег ревущего океана, пробирался через крутые снеговые горы Тянь-Шаня и всюду находил мусульман[2]. Так прошло много лет, пока я, наконец, попал в Гургандж, на эту улицу, которую мне указал мой багдадский друг. Я нашел и дом, и калитку под белоснежным деревом акации, и, наконец, я беседую с тобою, делатель чудес, который, вероятно, помнит юношу, обитавшего здесь, в этом дворе, и ушедшего пятнадцать лет назад из Гурганджа?

— Как звали этого юношу? — спросил старик сурово.

— Там, в высоком дворце знаний, он назывался Абу-Джафар аль Хорезмѝ (из Хорезма).

— Как ты осмелился произнести это имя, несчастный! — закричал старый мирза (писарь), и пеной покрылись губы его. — Знаешь ли ты, что он величайший грешник? Несмотря на свои юные годы, он покрыл позором и себя и своих родителей и чуть было не бросил в пучину бедствий всех родичей.

— Но ведь он был очень юн? Что такое мог он сделать? Убил ли он кого-нибудь, или покушался на знатного бека?

— Этот ужасный Абу-Джафар, к прискорбию, с юных лет отличался большими способностями и прилежанием. Он учился вместе с другими учениками у наших лучших учителей, стараясь постигнуть и чтение, и красоты изящного письма, и глубокий смысл великой книги Корана. Он преуспевал во всем и стал удачно складывать стихи, подражая Фирдоуси, и Рудеги, и Абу-Саиду. Но стихи его были не на поучение другим, а только для соблазна легковерных...

Старик продолжал шепотом:

---

[1] Татария — так в описываемое время называлась территория нынешней Монголии и Западного Китая, населенная многими кочевыми племенами тюркского происхождения, носившими общее название татар.

[2] Выходцы из Средней Азии (мусульмане) согды и после потомки их таджики, отличные ремесленники и предприимчивые купцы, с древнейших времен распространились по великому торговому пути из Средней Азии до Китая, где всюду были их торговые и ремесленные поселки.

— Этот несчастный юноша начал вольнодумствовать. Он позволял себе спорить с седобородыми улемами[1] и имамами, ввергая в смущение других простодушных слушателей. Наконец, когда имам заметил: «Ты идешь не по дороге в рай, а в огненную пропасть ада», — Абу-Джафар ему дерзко ответил: «Ступай от меня и не зови меня в рай! Когда ты проповедуешь о четках, о местах молитвы и о воздержании, я думаю, не все ли равно — идти ли в мечеть Мухаммеда, или монастырь Исы[2], где звонят в колокола, или в синагогу Моисея. Везде я искал, но не находил бога, бога нет, его выдумали те, кто торгует его именем. Мой свет, мой проводник — Абу Али ибн-Сина»[3]. Тогда святые имамы прокляли его и приказали схватить. Они хотели на площади города отрезать его ядовитый язык и обе руки, чтобы он не мог больше сочинять свои растленные стихи. Но Абу-Джафар со змеиной ловкостью исчез. Сперва думали, что его отец из жалости где-либо скрывает преступного сына. Поэтому сам хорезм-шах Мухаммед, узнав об этом деле от имамов, приказал схватить отца, бросить его в клоповник зиндан[4] и надеть цепь с надписью: «Навеки и до смерти». А если отец умрет, то вместо него шах приказал посадить ближайшего родственника, пока Абу-Джафар добровольно не вернется.

— И отец до сих пор в тюрьме? — тихо спросил дервиш. Его расширенные глаза сверкали, а лицо стало серым, как у мертвеца.

— Отец умер, не выдержав сырости, темноты и страшных клещей и клопов подвала. Исполняя приказ хорезм-шаха, палачи схватили младшего его сына Тугана, надели на него ту же цепь и бросили в тот же подвал.

— Какое преступление! — прошептал дервиш.

---

[1] Улем — мусульманский преподаватель в богословском учебном заведении.

[2] Иса — Христос.

[3] Абу Али ибн-Сина — выдающийся ученый XI века, родившийся в Бухаре. Имя его в Европе переделано в Авиценна. За неверие и требование свободы разума был брошен в Испагани в тюрьму, где и умер. Он оставил много книг по естественным наукам, медицине, алхимии и являлся на мусульманском Востоке одним из самых отважных борцов за свободу разума. Его медицинская энциклопедия „Канон“, переведенная на латинский язык, была главным руководством европейских врачей в средние века.

[4] Зиндан — подземная тырьма.

— Мне очень жаль этого мальчика Тугана, — продолжал старик. — Я много заботился о нем. Не желая, чтобы Туган пошел по следам его испорченного старшего брата, я старался просветить его. Туган учился у меня чтению и письму, но его больше тянуло к мастерству и воинским забавам, и я отдал его в обучение кузнецу Қары-Максуму, который показывал, как изготовлять отличное оружие. Теперь заменяет мне Тугана маленькая сирота, дочь рабыни, Бент-Занкиджа. Она оказалась очень способной к чтению, письму и запоминанию разных стихов и песен. С годами глаза мои стали слепнуть, и все передо мною двоится, и я вижу вместо одного сразу три месяца. Бент-Занкиджа стала моим помощником, писцом. Она записывает мои беседы и переписывает книги. Вот она сидит перед тобой с калямом в руке.

Тогда дервиш понял, что переписчик в голубой чалме — это девушка, недавно выходившая с лопатой из калитки.

Дервиш пристально посмотрел на нее и опустил глаза, не смея спросить о другой девушке, которую он видел здесь же, когда ему было шестнадцать лет. Отгоняя от себя волнение, дервиш воскликнул:

— Разве ты не делатель чудес? Ты обучил девочку тонкостям чтения и письма, после этого она имеет право закручивать вокруг головы тюрбан тем узлом, каким щеголяют одни мирзы. Я вижу, что в твоем доме все полно заботами о знании.

Старик переплел тонкие пальцы и уставился пристальным взглядом на дервиша.

— Теперь расскажи о себе, долго ли еще ты намерен скитаться?

Дервиш тряхнул взлохмаченной головой и впился в старика черными пламенными глазами.

— Мой отец — голод, погнавший меня через пустыни. Моя мать — нужда, выплакавшая глаза от скорби, не имея молока в груди для новорожденного. Мой учитель — страх перед мечом палача. Но я слышу голос: «Не горюй, дервиш, ты всегда творил то, что тебя достойно».

Старый мирза покачал головой.

— Ты украшен знаниями, и тебя может охотно взять к себе писцом всякий судья или правитель округа. И я тоже сейчас же мог бы тебя взять переписчиком книг в шахскую библиотеку. Там имеются единственные редкие

книги, никому не известные даже по названию, и их следует переписать, чтобы они не пропали для человечества. Зачем тебе бродить по дорогам? Неужели тебя привлекают скитания, и пыль, и грязь, и камни под ногами?

Дервиш заговорил глухо:

— Мне говорят: «Зачем ты не украсишь свой приют пестрыми коврами?» Но, «когда пронесся призывный крик героев, что делать с песнею певца?» «Когда конь несется в битву, как я могу прилечь среди цветущих роз?»[1]

Старик, полный изумления, развел руками.

— О каких войнах ты говоришь? Кто может грозить султану великолепному, самому сильному из всех мусульманских владык? Только тогда запылают огни чужих боевых лагерей, когда он сам захочет воевать...

— Грозный огонь движется с востока, и он сожжет все.

Старик покачал головой.

— О, нет! Пока хорезм-шах вложил меч в ножны, все будет тихо и в долинах Мавераннагра и на всех границах царства Хорезма.

В комнату бесшумно вошел старый невольник с тяжелой цепью на ногах, подхваченной ремешком у пояса. Он принес корзину с разнообразной едой, купленной на удивительный динар.

На изможденное тело высокого старика был накинут короткий полосатый халат. Длинные полуседые волосы его ниспадали на плечи. Разостлав на ковре шелковый платок, он положил лепешки, миндальные пирожки, расставил чашечки с медом, фисташками, миндалем, изюмом, засахаренными ломтями дыни и другими сладостями.

— Позволишь ли ты поговорить с этим старым рабом?

— Говори, почтенный путник.

— Откуда ты родом, отец? — спросил у раба дервиш.

— Издалека, из земли русской. Я жил у своего отца, рыбака, на берегу большой реки Волги, а по-здешнему ее называют Итиль. Меня еще мальчишкой захватили джигиты соседнего с нами суздальского князя. Князь по-нашему все равно что ваш хан или бек. Князья наши

---

[1] Из стихов Ибрагима Монтесера (X в.).

между собой воюют, и кто кого побьет, тот у побитого князя заберет в плен и мужиков, и баб, и девок, и детей. Затем князь всех продаст, как баранов, в чужеземную сторону. Так и меня и сестренку князь продал купцам булгарским, те отвезли в свой торговый город Биляр на реке Каме, а оттуда всех пленных и меня с ними погнали через пустыню сюда, в Гургандж. А куда продали сестренку — не знаю. Давно это было. Вот и волосы у меня повисли белыми космами, как у старого козла, а все хотелось бы увидеть родной кишлак на высоком яру реки. Я научился говорить по-туркменски и по-персидски. Если бы не другие наши пленные, я бы совсем забыл нашу родную речь. С земляками иногда встретишься на базаре и словом своим перекинешься. Много их здесь ходит, звеня цепями.

— Как же тебя зовут? — спросил дервиш.

— Здесь меня зовут Саклаб, а наши пленные кличут по-прежнему: «дед Славка». Прости меня за смелое слово, — старик поклонился дервишу до земли, — я услышал, что ты ходишь по дальним странам и, как святой, можешь делать из медных дирхемов золотые динары. Так для тебя шуточное дело выкупить меня у моего хозяина. Выкупи меня, и стану я тебе служить верно и честно. Ведь ты, может быть, и в нашу сторону, к русским, пойдешь, тогда и меня возьмешь с собой.

— Ты хочешь сманить моего раба? — сказал, нахмурившись, хозяин.

— Где мне думать о рабе, — сказал дервиш. — Я сам живу бедняком и питаюсь пригоршней пшена, если его подаст щедрая рука.

— Верно, здесь, на далекой чужбине, мне придется сложить голову,— пробормотал, вздохнув Саклаб и громко сказал: — Просим милости попробовать нашего дастархана![1] — Осторожно ступая по ковру, он поднес медный таз и узорчатый кувшин с водой.

Мирза-Юсуф и дервиш омыли над тазом руки, вытерли их расшитым полотенцем и молча приступили к еде. Когда дервиш перепробовал от всех блюд, он произнес учтивые слова благодарности и попросил позволения удалиться.

---

[1] Дастархан — угощение. Также — нарядная скатерть, расстилаемая для пиршества, происходящего на земле.

На пустынной улице он долго стоял в тени дерева и смотрел на старую калитку.

«Мне не придется больше увидеть этот дом, где добрый старик когда-то учил меня держать тростниковое перо и писать первые буквы. Я не пожалел для него моего единственного золотого динара, чтобы только подольше побыть с ним и слышать его родной и близкий мне голос... А теперь снова в путь!»

Мирза-Юсуф долго смотрел на дверь, за которой скрылся странный гость. Вошла Бент-Занкиджа и сказала:

— Мой добрый дедушка Мирза-Юсуф! В сердце моем змейкой вьется мысль, что этот дервиш Хаджи Рахим аль Багдади очень похож на убежавшего нашего вольнодумца Абу-Джафара, только он оброс бородой, почернел от зноя, и тебе трудно в нем узнать прежнего мальчика...

— Молчи, или несчастье обрушится на наш дом! Разве я бы стал разговаривать с безбожником, проклятым святыми имамами? Никогда больше не говори мне об этом мимолетном госте. Мы живем в такое время, когда к каждой щели прижалось ухо злобы и подслушивает, о чем шепчут наши уста. И днем и ночью мы должны всегда помнить слова поэта: «Лишь молчание могуче — все же иное есть слабость»[1].

— Молчать даже перед друзьями? Но разве этот же великий поэт не сказал: «Замкни уста перед всеми, кроме друга»? Всю жизнь молчать — нет! Лучше смерть, но с песней и веселой шуткой!

— Замолчи, замолчи! — закричал старик. — О боже, помоги мне! Я одинок! Ночь тянется, а повесть о великом хорезм-шахе не пришла еще к концу. Я все жду от него подвига славы, а вижу только казни и не замечаю великих дел. Я боюсь, что герой окажется каменным идолом, пустым внутри, где летает золотистая моль и ползают ядовитые скорпионы... Аллах, взгляни в мою сторону и просвети меня...

---

[1] Из стихов Абу-Саида (XI в.).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МОГУЧ И ГРОЗЕН ШАХ ХОРЕЗМА

Глава первая

УТРО ВО ДВОРЦЕ

Служба царям имеет две стороны: одна — надежда на хлеб, другая — страх за свою жизнь.

(Саади, XIII в.).

В предрассветных сумерках три старых имама пробирались узкой улицей Гурганджа. Впереди шел слуга с тусклым фонарем из промасленной бумаги. Старики, подбирая длинные полы широких одежд, перепрыгивали канавки с журчавшей водой.

В темноте чувствовался то острый пряный аромат около закрытых лавок с перцем, имбирем и красками, то резкий запах кожи, когда имамы проходили мимо шорных рядов со кладами конской сбруи, седел и сапог. На площади грубый голос остановил их:

— Стойте! По какой надобности идете ночью?

— Милостью величайшего мы, духовные лица, имамы великой мечети, спешим во дворец падишаха для утренней молитвы.

— Проходите с миром!

Три имама подошли к высоким воротам дворца и остановились. Стук не поможет, да и оскорбителен. Ворота сами приотворились. Несколько всадников выехали из темноты и затем вскачь понеслись через площадь. Это гонцы с распоряжениями «величайшего и прозорливейшего защитника веры и справедливости» помчались по направлениям, не известным никому, кроме пославшего их.

Старики, переступая с камня на камень, пробрались через большую лужу и вошли в ворота. По широкому двору во всех направлениях ходили шахские воины. Двое часовых узнали в прибывших священнослужителей и посторонились, давая дорогу. Три старика миновали несколько двориков. Заспанные сторожа открывали тяжелые ворота, громыхая железными ключами.

Наконец показалась створчатая дверь. По сторонам ее, опираясь на копья, застыли два воина в железных кольчугах и шлемах.

Подошедший слуга, высоко подняв глиняный светильник с коптящим фитилем, сказал:

— Хранитель веры еще не выходил.

— Мы подождем,— ответили три старика и, скинув туфли, ступили на ковер, опустились на колени и раскрыли перед собой большие книги в кожаных переплетах с медными застежками.

— Вчера четыре мятежных хана прислали заложниками своих малолетних сыновей. Шах устроил пиршество. Зажарили двенадцать баранов, — сказал один имам.

— Что-то сегодня он еще придумает? — прошептал второй.

— Самое главное — во всем с ним соглашаться и не спорить,— вздохнул третий.

Хорезм-шаху Мухаммеду снился сон: он стоит в степи на холме, и кругом, сколько можно видеть, столпились тысячи и тысячи людей. Небо горит закатными бронзовыми лучами. Солнце, еще ослепляющее, быстро опускается в однообразную песчаную равнину.

— Да живет, да здравствует падишах!— раскатами доносятся крики из отдаленных рядов. Люди медленно склоняют спины, и за белыми чалмами прячутся их лица.

Вся толпа опускается на колени перед повелителем, видны халаты, похожие на волны вечно беспокойного Хорезмского моря[1].

— Да здравствует падишах!— звучат, как эхо, последние отдаленные крики, и все замолкает. Солнце скрывается, и степь тонет в синих сумерках и молчании. В потуха-

[1] Хорезмским морем в XIII веке называлось Аральское море.

ющем свете шах видит, как нагнувшиеся спины ползут к нему, взбираясь по склону холма.

— Довольно, назад!— приказывает шах. Но спины приближаютя со всех сторон, бесчисленные спины в полосатых халатах, перевязанных оранжевыми поясами. Шаху кажется, что у всех за пазухой скрыты отточенные ножи. Люди хотят зарезать своего повелителя. Он бросается вперед и ударяет ногой ближайшего, халат взвивается и отлетает, как птица,— под ним никого нет. Шах откидывает ногой другие халаты, и под ними тоже пустота.

«Но среди них есть один! Он спрятался, чтобы подобраться и ударить ножом в мое сердце, сердце, которое живет и бьется только для счастья и величия славного рода хорезм-шахов».

— Довольно! Шах приказывает вам: уходите!— Голос звучит глухо, чуть слышно,— и все исчезает. Степь расстилается кругом, пустынная, серая и немая. Жесткие стебли травы, как царапины на омертвевшем небе. Теперь шах один, совершенно один в пустыне, без коня. А где-то здесь, совсем близко, за одним из серых холмов, в лиловой впадине притаился тот единственный, который должен его зарезать... Все хотят его смерти, но только один решился прикончить его жизнь. Кто же он?

Вдали эхом звучит крик толпы:

— Да живет Джелаль эд-Дин! Слава храброму сыну и наследнику хорезм-шаха Джелаль эд Дину!

«Забыв меня, они уже готовы целовать руки моего сына? Надо покончить с этим, довольно! Я раздавлю того, кто встанет на моем пути,— пусть это будет багдадский халиф или мой непокорный сын! Довольно!..»

Еще в полусне шах услышал возле себя шорох и почувствовал, как что-то холодное коснулось его лица. Страх и страстная жажда жизни заставили его разом напрячь все силы и вскочить. Шах раскрыл глаза и стал тревожно всматриваться в темные углы комнаты.

От большого очага в стене[1] веяло теплом раскаленных углей. Около него сидел кто-то. Это дикая степная девушка, которую привезли вчера. Она в страхе отодвинулась, закрываясь руками.

---

[1] В Средней Азии в XII веке не знали печей и разводили огонь либо посредине комнаты, имея вытяжное отверстие в потолке, либо в очаге в стене.

— Кто ты?

— Аллах велик! Я Гюль-Джамал, туркменка из пустыни. Вчера вечером тебя сонного под руки привели сюда, и ты как лег, так сразу и заснул. Я боялась тебя, ты так страшно хрипел и стонал во сне, точно умирал. Это тебя душили ночные «дивы». Они летают в темноте над юртами и через верхнее отверстие пробираются внутрь, чтобы терзать тех, у кого на сердце убийство.

— А что у тебя было в руке?— И шах сжал ее маленькие руки.

— Мне больно! Оставь меня!

— Покажи, что было в руке?

— У меня нет и не было ничего. Хочешь, я спою тебе нашу степную песню о соловье, который влюбился в розу? Или расскажу сказку о персидском царевиче, увидевшем в зеркале лицо китайской княжны?

— Не надо сказок ни про розу, ни про царевича... А!.. Вот я нашел ножны от кинжала. Зачем ты пришла к твоему падишаху с ножом?

— Оставь меня! Старики учат: «Не бей коня, потеряешь друга»...

Гюль-Джамал выскользнула и отбежала.

— Вай-уляй! Ты задушишь меня! Я тебя боюсь.

Она бросилась в низкую створчатую дверь и натолкнулась на двух служанок, которые подслушивали.

Шах, тяжело дыша, подошел к очагу. В его выпуклых, как у быка, глазах дрожали красные огоньки. Он постучал камышовой палочкой по медной чаше. Из створчатой двери показался старый слуга с козьей бородкой и упал перед шахом на ладони.

— Эту девушку вечером доставить в ковровую комнату. Здесь ли векиль и великий визирь[1]?

— Все ждут тебя, светлейший, также «господин новостей»[2] и три имама.

— А хан Джелаль эд-Дин еще не приехал?

— Опоры престола еще нет.

— Пусть дожидаются. Ко мне в бассейную приведи брадобрея покрасить бороду и банщиков размять спину.

---

[1] Векиль — смотритель дворца; великий визирь (или везир) — начальник государственной канцелярии и всех чиновников.

[2] Господин новостей — начальник государственной почты.

Хорезм-шах вышел в соседнюю комнату. Старый слуга, высохший и сгорбленный, со слезящимися красными глазами, стал собирать подушки и ватные одеяла и складывать их в нише стены. На ковре что-то блеснуло. Старик наклонился и поднял остро отточенный кинжал с ручкой из слоновой кости.

— Это туркменский нож... О, эти туркменки! Их гнева надо опасаться, как укуса ядовитого паука каракурта. Передать сейчас векилю или спрятать? А кто меня торопит?

Шах затянул туже шнурок шелковых просторных шаровар, опутал дородное чрево полосатым шарфом, засунул за пояс нож в серебряных ножнах, набросил на плечи длинную, крытую парчой соболью шубу. Из ниши в стене шах осторожно достал искусно скрученную белую чалму и привычным жестом надвинул ее на длинные полуседые кудри.

Сдерживая дыхание, шах прислушался возле двери, сжимая холодную рукоятку ножа.

«Осторожный всегда готов отразить нападение. В темноте извилистых переходов дворца внезапно может поразить рука измаилита[1], подосланного моим заклятым врагом, халифом багдадским...»

— Ты здесь, векиль?— спросил он вполголоса.

— Я давно жду моего повелителя.

Шах отодвинул деревянный засов и приоткрыл дверь. Тускло озаренные двумя масляными светильниками, склонив низко спины, стояли фигуры приближенных сановников.

Всунув босые ноги в жесткие, остывшие за ночь туфли, Мухаммед прошел в следующую комнату. Там ждали слуги. Один держал глиняный светильник, другой — серебряный таз, третий — кувшин с изогнутым узким горлышком. Они помогли шаху совершить омовение около водоема, где вода стекала в отверстие в каменном полу. Четвертый слуга подал на вытянутых руках длинное, расшитое шелками полотенце и надел на пухлые ноги повелителя шерстяные узорчатые носки.

Пока хорезм-шах занимался одеванием, векиль сообщал последние новости:

---

[1] Измаилиты — шиитская секта убийц, душителей, очень могущественная в XIII веке, впоследствии разгромленная монголами.

— Очень холодно на дворе. Все покрылось белым инеем... Три имама пришли во дворец и ждут повелений... Также ожидает начальник палачей Джихан-Пехлеван... Вчера вечером из Булгара прибыл большой караван в триста верблюдов с партией булгарских сафьяновых сапог и с сотней пленных урусов. Около двухсот рабов умерло в пути, хотя почти каждый день их кормили просяной кашей с кунжутным маслом. Перед этим другой караван был разграблен туркменскими разбойниками. Вероятно, это дело рук Кара-Кончара.

— Я разгромлю туркменские кочевья! Но больше всего меня лишают спокойствия паломники из Багдада. Не видно ли дервишей-арабов из Багдада? Все они лазутчики багдадского халифа, все они хотят мне зла.

— Какие негодные люди могут хотеть зла великому защитнику веры?

— Такими стали мусульмане.

Окончив одевание, шах направился своим обычным путем — сперва коридорами, затем витой каменной лестницей. Векиль и евнух с факелом шли впереди и раскрывали двери. Шах поднялся на верхушку каменной дворцовой башни.

Глава вторая

«НУБА» ИСКЕНДЕРУ ВЕЛИКОМУ

На ровной площадке, вдоль стены с бойницами, полукругом стояли двадцать семь юных ханов — сыновей владетелей Гура, Газны, Балха, Бамияна, Термеза и других областей. Этих юношей и мальчиков шах держал под строгим надзором при своем дворе заложниками, чтобы их отцы, феодальные ханы, не вздумали поднять меч восстания. У всех юношей были в руках барабаны и бубны с погремушками.

Тут же находились музыканты с длинными трубами, гобоями и медными тарелками. В стороне стояло несколько главных военачальников хорезмийского войска.

При появлении шаха все закричали:

— Да здравствует много лет непобедимый падишах, защитник веры, гроза язычников!

Шах обвел всех угрюмым взглядом.

— А где Тимур-Мелик?

— Я здесь, государь.

Высокий, всегда веселый Тимур-Мелик, неизменный спутник Мухаммеда в его походах, вышел вперед, ведя за руки двух мальчиков: один был самый младший сын шаха от последней жены, кипчакской ханши, другой — его внук от сына Джелаль эд-Дина и туркменки. Тимур-Мелик поставил мальчиков около шаха. Тот склонился к своему сыну и ласково ущипнул его за щеку. А внука сурово спросил:

— Где хан Джелаль эд-Дин?

— Отец уехал с соколами на охоту,— сказал мальчик. Его черные глаза из-под белой чалмы смотрели настороженно.

— Тимур-Мелик! Послать всадников по трем направлениям и разыскать хана Джелаль эд-Дина! Туркмены продолжают нападать на караваны. Они могут напасть и на моего сына.

— Будет сделано, благословенный!

Сверху, точно с облака, прозвучал тонкий, похожий на детский, голос:

— Блажен, кто бодрствует! Счастлив, кто не спит!

Высокий минарет, точно свеча, вознесенная к небу, засветился на самой верхушке розовым лучом выглянувшего из-за далеких гор солнца. Все здания города еще были погружены в туманные сумерки.

Старший из молодых ханов подал хорезм-шаху барабан. Мухаммед воскликнул:

— Слава великому Искендеру[1]! Слава завоевателю мира! Искендер прошел через все земли Ирана до берегов Джейхуна и Зеравшана[2]. Искендер для нас пример, он наш учитель! Воздадим ему славу, трижды сыграем громкую «нубу»[3].

Загремели бубны и барабаны. Зазвенели медные тарелки. Сипло заревели длинные трубы, и запищали сопелки. Трижды все подымали звон и грохот в честь храб-

---

[1] Искендер Великий — Александр Македонский.

[2] Зеравшан — „золотая река“, вытекающая с Гиссарского хребта к югу от Самарканда. Ее водами искуственно орошаются самаркандские и бухарские посевы.

[3] Нуба — парадное музыкальное чествование (военная серенада) Александра Македонского, которое было введено хорезм-шахом Мухаммедом во дворцах правителей округов.

рого македонца. Когда все затихли и гулкое эхо еще отдавалось в высоких башнях дворца, Тимур-Мелик воскликнул:

— Мы воздали должную славу великому румийцу[1] Искендеру Двурогому. Мир праху его! Но он по молодости лет исполнил только половину того, что ему предстояло сделать. Теперь у нас есть новый Искендер, великий Мухаммед-воин, Мухаммед-полководец, Мухаммед — создатель великой империи Хорезма! Да продлит аллах царствование могучего повелителя стран ислама, шаха Мухаммеда Алла эд-Дина! Исполним в честь нашего великого шаха троекратную «нубу»!

В тихом воздухе вновь загремели бубны, тарелки, барабаны и свирепо заревели длинные трубы.

Мухаммед стоял у бойницы суровый, грозный и задумчивый, расправив широкие плечи; и казалось, великие мысли бродят под его белоснежной чалмой.

— Мир вам! Идите!— сказал хорезм-шах.

Все поочередно, сложив руки на животе, подбегали к нему мелкими шажками; коснувшись губами полы шахской шубы, пятились обратно и исчезали в темном отверстии лестницы.

Последним уходил Тимур-Мелик, держа за руки обоих мальчиков.

— Дада[2] мне обещал привести живого джейрана, — говорил внук шаха.

— А мне падишах подарит охотничьего барса... чтобы он съел твоего джейрана и тебя, змееныш!..

Шах облокотился на выступ бойницы. Внизу в беспорядке громоздились плоские крыши. Дворец состоял из многих низких построек, связанных переходами в одно большое, неправильно разросшееся здание. Его окружала высокая старая стена с пузатыми сторожевыми башнями. Неподвижные часовые с копьями резко выделялись на светлеющем небе.

Шах долго смотрел вдаль, на просыпающийся огромный город, затянутый дымом, подымавшимся над плоски-

---

[1] Румиец (руми) — грек.
[2] Дада́ — ласкательное от слова „отец", „батюшка".

ми домиками. Затем глаза его остановились на одном из дворцовых двориков, где под старым высоким тополем белела юрта. В ней притаилась новая жемчужина гарема, смуглая туркменка Гюль-Джамал, убежавшая от него утром. Она не захотела помириться с темными покоями дворца и потребовала себе юрту, чтобы жить так, как привыкла в степи, как живут простые туркменки, пропахшие дымом. Она не желает переселиться в гарем, к другим «розам Эдема». Она все еще не понимает, как она должна себя держать! Недаром ее так ненавидит царица-мать Туркан-Хатун.

— Надменная девчонка! Подняла руку на своего владыку! Посмотрю, как она будет извиваться и визжать, когда в ковровую комнату к ней войдет мой любимый барс!..

Снизу, от подножья башни, донеслись крики. В утренней тишине слова лились ясно и отчетливо:

— Слушайте, правоверные! Шах Мухаммед отвернулся от законов ислама и принял ересь алидов-шафиитов[1]. Он ласкает еретиков-персов и окружил себя язычниками-кипчаками. Отец его, шах Текеш, был честный туркмен, а Мухаммед плюет на туркмен. Не верьте ему!

— Кто это там воет? Векиль, что ты не смотришь за порядком?

Векиль склонился перед шахом низко, точно прося прощения.

— Это в подвале башни кричит дервиш, шейх Медж эд-Дин. Его не устрашают ни оковы, ни мрак тюрьмы. К нему особенно благосклонна твоя мудрейшая мать Туркан-Хатун. Но он произносит бесстыдные речи против своего падишаха. Вчера все дервиши города собрались в поле и поклялись пройти толпой к тюрьме, чтобы освободить из подвала этого безумного шейха Медж эд-Дина.

Мухаммед потряс векиля за плечи.

— Ротозей! Скорее скажи начальнику палачей Джихан-Пехлевану, что я поручаю этого бунтовщика его креп-

---

[1] Мусульманство разделяется на две главные секты—сунитскую, исповедуемую турками-османами, и шиитскую (или шафиитскую), главными поклонниками которой являются персы (иранцы).

ким рукам... И чтоб он поторопился, пока не прибежали и не освободили его безумные дервиши.

Хорезм-шах спустился с башни и прошел в приемную. Стены ее были затянуты красным сукном. Здесь падишаха ожидали три седобородых имама. Сбросив туфли у дверей, шах прошел на середину комнаты и опустился на ковер. Ноги он просунул под шелковое ватное одеяло, прикрывавшее теплое отверстие в полу, где находилась жаровня с горячими углями.

— Подходите, садитесь, мои учителя!

Три имама, стоявшие на коленях на краю ковра, приблизились, шепча арабские выражения благодарности, и уселись рядом, скрыв также ноги под одеялом.

— Начинайте,— сказал шах.— Объясните, прав ли я, сильнейший повелитель земель ислама, требуя, чтобы халиф багдадский подчинялся мне? А также объясните, что я должен делать, если халиф мне не покоряется?

Имамы развернули принесенные с собой большие старинные книги и поочередно нараспев стали выкрикивать тексты из Корана, доказывая, что хорезм-шах Мухаммед — высшая власть на земле после аллаха, что он всегда прав и каждое его приказание, каждое слово — свято...

В комнате было темно. Слабый свет проникал в решетчатое круглое окно, прорезанное в стене у самого потолка. Масляный светильник на бронзовой подставке разливал дрожащий свет. Имамы нараспев читали, не глядя в текст, арабские фразы.

Позади шаха стоял важный «расстилатель скатерти», главный распорядитель шахской еды. Одним словом или движением брови он давал приказание бесшумно скользившим по ковру слугам. Второй сановник —«подающий»—принимал серебряные блюда от главного повара. Из дверей выглядывали лица сановников, толпившихся в ожидании шахской милости.

Черный невольник, с серебряным кольцом в носу, поставил широкий низкий столик над одеялом. «Расстилатель скатерти» ловким движением набросил на столик шелковую скатерть — дастархан. «Подающий» опустил перед шахом серебряный поднос с чашками горячего чая, приправленного солью и бараньим жиром. На скатерть он положил стопку тонких подрумяненных лепешек с за-

печенными кусочками сала и поставил ковшики с растопленным коровьим маслом, сметаной и медом.

Слушая речи имамов, шах пил одну чашку за другой, заедая лепешками. Разогретый жаровней и чаем, падишах облокотился на подставленные вовремя подушки и захрапел. Это было знаком, что государь доволен объяснениями ученых имамов. Все бесшумно удалились. Исчез стол с дастарханом, скрылись сановники и слуги. Только черный невольник присел на корточках возле двери, ожидая, когда проснется великий правитель исламских земель.

Глава третья

КНЯЗЬ ГНЕВА

В Гургандже все знали высокую мрачную «Башню вечного забвения» рядом с шахским дворцом на главной площади.

На низкой, окованной железом двери висел большой замок. Ключ болтался на шее у сторожа, который сидел тут же на ступеньке, прислонив короткое заржавленное копье к кирпичной стене. На земле перед сторожем лежал обрывок ковра, где прохожие клали свои подаяния: деревянную миску с кислым молоком, лепешки, пучок лука, горсть медных денег... Сторож иногда разрешал более щедрым подойти поближе к башне и поговорить с заключенными.

Внизу башни чернело несколько круглых дыр с решетками. Из подвала доносились глухие крики. Когда слышались шаги прохожих, крики в подвале усиливались, из отверстий высовывались костлявые руки, хватавшие воздух. Простой поселянин в полосатом халате с выцветшим голубым лоскутом вокруг головы и мулла в огромной белоснежной чалме, бросив монету сторожу, безмолвно подходили к отверстию стены и подавали куски хлеба протянутым сквозь решетку тощим грязным рукам. Тогда крики усиливались и слышны были проклятия тех, кто не мог дотянуться до окна.

— Подайте лишенным света!

— Пожертвуйте старую рубашку! Заели клещи.

— Ойе! О-о! Ты наступил на мои глаза!

Со стороны переулка донесся гул толпы. На площадь вышли дервиши в высоких колпаках, с длинными посохами. Они выкрикивали хором молитвы; за ними бежали любопытные. Дервиши бросились к двери тюрьмы и принялись стучать в нее камнями и посохами, стараясь сбить замок. Некоторые заглядывали в отдушины подвала и кричали:

— Шейх Медж эд-Дин Багдади́! Жив ли ты? Мы пришли вознести хвалу тебе, мученику веры и правды! Сейчас мы освободим тебя!

Из глубины подземелья донесся протяжный крик, и все, прислушиваясь, затихли.

— Да проклянет аллах жестоких ханов, притесняющих народ! Да поразит он молнией гнева того, кто подымает меч на халифа! Да погибнут все палачи и грабители!

Оттесненный дервишами, сторож побежал во дворец. Оттуда уже мчались кипчакские всадники. Они плетьми разогнали толпу, и дервиши с криками разбежались по площади.

Наверху, над въездными воротами дворца, между бойницами, показались несколько человек. Один, высокий, в оранжевом полосатом халате, стоял впереди. Остальные молча сложив руки на животе, почтительно ожидали его приказаний. Когда хорезм-шах показывался над воротами дворца — это был плохой знак: предстояла чья-то казнь.

Из ворот парами вышли «джандары»— палачи шаха, осанистые, мускулистые, в синих рубашках с засученными до плеч рукавами, в широких желтых шароварах, расшитых красными узорами. Держа на плече большие харасанские мечи, они цепью растянулись вокруг площади, отодвинув напиравшую толпу. Последним шел главный палач, «князь гнева» Махмуд Джихан-Пехлеван («силач вселенной»), высокий, сутулый, тощий, с растопыренными руками — знаменитый душитель. Халат его был засунут внутрь желтых замшевых шаровар и перетянут широким ремнем. Через плечо висел ковровый мешок. В нем он поднесет шаху голову самого важного казненного.

Посреди площади темнел квадратный ров, высился помост и близ него стояли четыре столба с перекладинами. Два полуголых раба, звеня цепями, приволокли

большую ивовую корзину и поставили рядом с помостом.

Сторож тюрьмы отпер окованную железом низкую дверь. Главный палач с несколькими помощниками спустился в подземелье. Оттуда раздались неистовые выкрики, сменившиеся полной тишиной. Палачи вывели из подвала пятнадцать заключенных. Все они были прикованы правой ногой к одной общей цепи.

Вывалянные в грязи, едва прикрытые лохмотьями, с отросшими в долгом заключении всклокоченными волосами, осужденные уцепились друг за друга и, жмурясь от яркого солнца, поплелись через площадь. Дверь в тюрьму захлопнулась. Снова повис тяжелый замок, и из подземелья понеслись непрерывные крики.

Стража шагала по сторонам скованных смертников. Один из них, дряхлый старик с копной спутанных волос, споткнулся и свалился, потянув за собой двух соседних. Их подняли ударами и погнали дальше к месту казни. На помосте их пригнули, опустив на колени. Один палач хватал обреченного за волосы, а главный джандар, держа меч обеими руками, одним ударом отсекал голову, показывал ее затихшей толпе и бросал в корзину.

В толпе спрашивали: «Который из арестованных глава дервишей, шейх Медж эд-Дин Багдади»? Истощенные от голода и болезней узники походили друг на друга. Когда отлетела голова четырнадцатого, вой поднялся по всей площади:

— Падишах говорит! Падишах приказывает!

Все обернулись к площадке над воротами дворца. Стоявший наверху хорезм-шах размахивал пестрым платком. Это означало: «Остановить казнь! Шах прощает осужденного!»

Вытирая длинный меч красной тряпкой, главный палач крикнул: «Приведите кузнеца!»

Пятнадцатый из осужденных был Туган, воспитанник Мирзы-Юсуфа. Еще мальчик, он смотрел расширенными глазами, не понимая, что произошло.

— Кланяйся падишаху за высокую милость!— сказал палач и, повернув мальчика в сторону дворца, пригнул его к земле. Бывший наготове кузнец начал разбивать цепь на ноге Тугана.

— Постой! Куда ты? Я еще не кончил!..—воскликнул кузнец, но Туган, видя, что он больше не прикован к цепи

смертников, прыгнул с помоста в толпу. Сзади неслись крики, а Туган, согнувшись, пробирался между теснившимися горожанами, стараясь поскорее убежать подальше.

Площадь около тюремной башни опустела. Сторож стоял у двери, опираясь на заржавленное копье.

Вдоль стены пробиралась девочка, завернутая до глаз в длинный платок. Она подошла к отверстию внизу башни и осторожно позвала:

— Туган! Оружейник Туган!

В отверстия просунулись истощенные руки, хриплый голос ответил:

— Твой Туган уже потерял голову! Дай нам поесть, чтобы мы его помянули молитвой.

Девочка припала к отдушине и с отчаянием закричала:

— Туган, откликнись, жив ли ты?

Новый вопль донесся из подземелья:

— Отдай нам то, что ты принесла! Твоему Тугану уже ничего не нужно! Он теперь наслаждается пловом вместе с пророком в садах райских...

Девочка передала просунутым в отдушину рукам хлеб и дыню и подошла к сторожу.

— Скажи мне, Назар-бобо[1]: правда ли, что мальчик Туган умер?

— Наверно, умер. Ведь его повели вместе с другими на казнь... — Сторож показал рукой на площадь.

Подошел старый дервиш, сунул в руку сторожа несколько монет и стал шептать на ухо:

— Почему среди казненных не было нашего святого шейха Медж эд-Дина Багдади? Отложена казнь или хорезм-шах простил его?

Сторож пряча деньги в складки крученого пояса, пробормотал:

— Государь разгневался на шейха за его проклятия и приказал поскорее казнить, пока его не освободили дервиши.

— Но он еще жив?..

— Нет! Когда из подземелья выводили осужденных, туда спустился главный палач Джихан-Пехлеван и сам задушил святого шейха...

---

[1] Бобо — дедушка.

Глава четвертая

ПРИШИТАЯ ТЕНЬ

Торопитесь обрадовать добрым словом встречного: быть может, больше не придется встретиться.

(Восточная пословица)

Выбравшись из толпы, Туган попал в глухую улицу, где тянулись сплошные глиняные стены. Улица привела его к берегам канала.

Мутная темная вода медленно текла среди насыпанных высоких берегов. Длинные неуклюжие лодки тихо подвигались, нагруженные тюками, хворостом, сеном и сбившимися в кучу баранами.

«Уехать бы в такой лодке далеко, в чужую страну... Но кто меня пустит туда, такого грязного, покрытого ранами, в полуистлевшей рубашке!»

Недалеко от берега желтела песчаная отмель. Туган расположился на ней, — выполоскал свою одежду, мылся, грелся на солнце, отдыхал, погруженный в свои думы.

«Куда деваться смертнику, выпущенному из тюрьмы? Кто возьмет на работу? Город тесен, а народу много, и всякий хочет заработать чашку плова...— Туган посмотрел на ногу, где продолжало висеть тяжелое железное кольцо с выбитой надписью: «Навеки и до смерти».— Мой старый Юсуф-Мирза не захочет и разговаривать с каторжником, вышедшим из тюрьмы; одна только Бент-Занкиджа, быть может, пожалеет. Но разве он смеет показаться перед ней покрытый язвами, как прокаженный?..

Все же мне придется вернуться к моему хозяину Кары-Максуму. Он позволит расклепать это железное кольцо».

Туган стал пробираться длинной улицей, где по обе стороны тянулись лавки и продавцы сидели на выступах, покрытых коврами. Товары висели на раскрытых створках дверей и лежали на полках вдоль стен.

Улица, завешенная сверху циновками, была в полумраке. Лучи ослепительного солнца падали косыми полосами, освещая то пару желтых сапог, расшитых розовыми и зелеными шелками, то круглый железный щит с чеканенной серебром надписью из Корана, то полосатые материи, которые торговцы разворачивали перед кочев-

ником в малахае, обшитом волчьим мехом, или перед группой женщин в ярких, пестрых одеждах.

Кузница хозяина Қары-Максума в кузнечном ряду была крайней. Отовсюду несся грохот молотков, лязг железных листов. Здесь кузнецы выделывали оружие: кривые сабли, короткие ножи, наконечники копий.

Рабы — персы и урусы — работали в одних шароварах, в кожаных, прожженных передниках. Нагнувшись над наковальней, они выбивали молоточками искусные узоры на медных тазах. Другие с хриплыми вздохами колотили тяжелой балдой по раскаленной полосе железа. Вымазанные сажей мальчики стояли около мехов, раздувая в горнах угли, и бегали с деревянными ведрами за водой.

Хозяин Қары-Максум, толстый и широкоплечий с выкрашенным красной краской концом седой бороды, поругивая рабочих, сидел на глиняной завалинке, покрытой обрывком ковра, и отвечал на приветствия прохожих. Возле него двое рабов — один молодой, с выжженным тавром на лбу (за то, что пытался бежать), другой старый, с равнодушным закоптелым лицом — равномерно били небольшими молотками по пучку железной проволоки. Они делали самую ценную работу: не накаливая клинка на углях, вырабатывали «холодным способом» знаменитую узорчатую дамасскую сталь — «джаухар».

— Ты чего сюда пришел? Заворачивай обратно! — крикнул хозяин. — Не думаешь ли ты, что я возьму к себе в мастерскую каторжника, побывавшего в зиндане?

— Разреши мне взять молоток, я сам разобью железное кольцо...

— Чтобы ты пачкал своими преступными руками мои молотки! Уходи, пока я не прижег тебя щипцами!

Туган отошел, полный гнева из-за незаслуженной обиды. Мальчик готов был пойти куда глаза глядят. Рассеянным взглядом он уставился на дервиша, присевшего у стены. Луч солнца, пробившись между циновками навеса, ярко осветил его пестрый плащ, сшитый из лоскутков всех цветов.

Дервиш, бормоча вполголоса священные изречения, нашивал большой иглой розовый лоскут поверх выцветших синих, рыжих и зеленых заплат.

Туган стоял, раскачиваясь от обиды и отчаяния. Черная тень его прыгала, падая на колени дервиша.

— Видишь, мальчик,— сказал дервиш,— я пришил новую заплату к моему плащу, а на заплату падала твоя тень. Вместе с заплатой я пришил твою тень. Теперь ты крепко привязан ко мне и будешь, как тень, ходить за мной.

Мальчик бросился к дервишу и присел около него.

— Ты говоришь правду или смеешься? Я буду служить тебе и делать все, что ты прикажешь, только не отталкивай меня!

Дервиш покачал головой.

— Я слышал, как этот надменный хозяин прогонял тебя. О чем печалишься? Разве мир стал тесен? Будь моим проводником! Пойдем вместе отсюда в «благородную Бухару». Никогда не оставайся там, откуда тебя гонят, и иди с доверчивым взором к тем, кто тебя зовет... Теперь ты пришит к плащу дервиша, и началась пора твоих новых скитаний. Иди за мной, мой младший брат.

Постукивая посохом, дервиш пошел вперед, а за ним, хромая, плелся изможденный Туган. Миновав несколько кузниц, дервиш остановился на углу улицы. Там была площадка, где закоптелый бродячий кузнец возился около ручного горна. Он был похож на живой скелет, обтянутый кожей. Но тонкие руки привычными приемами работали молотком и клещами на небольшой переносной наковальне, и один за другим равномерно и быстро падали в деревянную миску с водой изготовленные кузнецом черные мелкие гвозди.

— Эй, почтенный уста[1]! Сумеешь ли ты расклепать это железное кольцо и не поранить мальчика?

— Если ты мне дашь два черных дирхема, то я это сделаю,— сказал кузнец, наклонившись к кольцу.— Хорошее, прочное железо ставит падишах на цепи в своих тюрьмах. Если ты мне дашь в придачу еще серебряный дирхем, то я тебе из этого железа изготовлю отличный нож.

Дервиш достал из-за пояса кошель и показал старику серебряную монету.

— Пусть будет так, как ты говоришь... Но видишь ли

---

[1] Уста — мастер.

на кольце надпись: «Навеки и до смерти»? Так ты сделай такой нож, чтобы эта надпись на нем сохранилась.

— Будет тебе такой нож,— пробормотал старик и толкнул Тугана.— Ставь ногу на наковальню!..— Шепотом добавил:— «Навеки и до смерти» дерись с шахом и его палачами!..

Глава пятая

ЩЕДРОСТЬ

Постукивая посохом, дервиш Хаджи Рахим проходил по узким улицам огромного центрального базара Гурганджа.

Здесь были ряды медной посуды, тазов, подносов и кувшинов, начищенных, блистающих, как огонь, украшенных искусно выбитыми узорами. Были ряды с медными резными фонарями для свечей и глиняными мисками, тарелками и чашками. Были ряды тонкой китайской посуды, белой и голубой, а также стеклянной иракской, издающей чистый звон.

Особые ряды благоухали редкими бальзамами, как целебными, так и придающими аромат. Там же продавались ценные лекарства, такие, как тангутский ревень, касторовое и розовое масла, мыльный порошок «гасуль», растертый из солончаковых трав —целебный одновременно для кожи, для десен и для желудка. Здесь можно было найти ценную землю, смешанную с благовониями, употребляемую для мытья в банях, и зеленую персидскую глинку, мгновенно удаляющую волосы, бухарское укрепляющее волосы масло, которым мажут голову, и тибетский мускус, и индийскую амбру, и темные шарики гашиша, дающего дурман.

Пробираясь среди пестрой толпы, которая заливала базар шумным потоком, Хаджи Рахим останавливался у лавок, как бы ожидая подаяний, но внимательно всматривался в каждого продавца, отыскивая кого-то.

Когда он попал в ряды, где выставлены были груды материй и сукон, то важные купцы, сидевшие скрестив ноги, бросали ему медные монеты и говорили:

— Проходи с миром дальше!

Они боялись, чтобы черная рука дервиша не прикоснулась к серебристой шелковой ткани «сим чуж» или к

драгоценной золотистой парче, подносимой в знак почета могущественным и знатным бекам.

В этом ряду Хаджи Рахим увидел человека, похожего на того, кого он искал. Этот человек сидел среди других купцов, обложенный шелковыми подушками. Исхудавшее лицо его, бледное, как самаркандская бумага, с ввалившимися черными глазами, говорило о перенесенной болезни. Сидевшие по сторонам купцы обращались к нему с особой почтительностью и наперебой предлагали миндальные пирожные, пряники, варенные в меду орехи и фисташки. Купец был в дорогой светло-серой шерстяной одежде и шелковом пестром тюрбане. Он держал китайскую голубую чашку с чаем. На указательном пальце его синела большая бирюза, приносящая здоровье.

Дервиш остановился подле лавки. Купцы бросили в его миску для подаяний несколько монет, но дервиш продолжал стоять молча,

— Проходи с миром!— сказали купцы.— Тебе уже дано.

Наконец больной купец перевел на него свой взор. Черные глаза его удивленно раскрылись.

— Что ты от меня хочешь?— сказал он.

— Говорят, что ты человек сильный и много видел на своем веку, проходя с караванами по вселенной,— сказал Хаджи Рахим.— Не можешь ли ты мне ответить на один вопрос?

— Если ты хочешь, чтобы я объяснил тебе священные книги, то есть люди, больше меня знающие, ученые улемы и святые имамы. А я купец, умею только считать и отмерять сукна.

— Довольно, святой дервиш! Проходи с миром!— закричали купцы.— Мы же тебе положили от нашего достояния.— И они бросили в «кяшкуль»[1] еще миндальных пирожных и орехов.

— Нет, я жду твоего ответа, потому что мой вопрос будет касаться тебя, почтенный купец.

— Говори!

— Если бы у тебя был друг, верный, преданный, который с тобой делил и горе, и тяжелую дорогу, и го-

---

[1] Кяшкуль — миска для подаяний в виде лодочки, изготовляемая обычно из кокосового ореха.

лодал вместе, и переносил жару и снежную бурю... ценил бы ты его?

— Как же такого не ценить?— сказал купец.— Говори дальше.

Тогда дервиш сказал, обращаясь ко всем:

— Да будет светел круг ваш, радостно утро и сладок напиток! Взгляните на того, кто был и богат, и приветлив, и полон довольства, у кого был счастливый дом и цветущий сад, и всегдашняя чаша пиршества. Но я не мог отклонить от себя плети гневной судьбы, нападок бедствий и злобных искр зависти. И гнал меня бич черных несчастий, пока не опустела рука моя, не стал просторен мой двор, не высох сад и не рассеялись друзья пира. И все изменилось. Я питался тоской, мой живот ввалился от голода, и не приходил сон, румянивший бледное лицо. Но остался у меня один друг. Он не покидал меня в скитаниях, когда ущелье было моим жалким жилищем, камень — моим ложем и босая нога моя ступала на колючий терн. Друг прошел со мной вместе в славный город Багдад, в священную обитель молящихся — Мекку. Все время он облегчал мои силы, нес мою сумку и согревал меня холодной ночью. Но медлил и не приходил день счастливой судьбы. Внезапный гром разлучил меня с моим другом, когда я достиг богатой равнины Хорезма, и я теперь вечный брат нищеты и не имею крова для ночлега.

Больной купец спросил:

— Но почему тебя разлучили с твоим другом? Ведь, если он побывал на родине пророка, он может носить белую повязку, знак паломника — хаджи. Кто же осмелился обидеть и его и тебя?

— Причиной разлуки — один купец.

— Расскажи мне о нем.

— Хоть я и последний из несчастных, но я нашел в пути еще более несчастного — купца, израненного разбойниками и брошенного без помощи. Я сделал, что мог, перевязал его раны, хотел довезти до Гурганджа... и сохранил ему золотого сокола...

Внимательно слушавший купец вздрогнул и прервал дервиша:

— Не продолжай! Мы все уже знаем, что сталось с купцом. Ведь этот купец перед тобой. Я давно хотел разыскать тебя, чтобы отблагодарить. Но кто же твой друг? Может быть, я могу извлечь и его из застенка бедствий?

— Ты один только можешь вернуть мне друга. Он не смеет носить белую повязку и называться хаджи, потому что у него, как у шайтана, привешен хвост. Это мой осел. Жадный правитель округа, у которого ты остался лечиться, отобрал моего осла. Если ты мне поможешь достать другого, то сбудется все, чего я желаю.

— Ты получишь твоего осла. Я откупил его у хакима, и он здесь, во дворе. Слышишь, не он ли кричит и приветствует тебя? Но этого мало. Теперь ты можешь выбрать в этой лавке что только захочешь: лучшие одежды, и сафьяновые сапоги, и материи — бери все, что только тебе понадобится.

— Я дервиш! У меня есть грубый шерстяной плащ, и этого с меня довольно. Но я берусь рукой за полу твоей щедрости только для того, чтобы ты одел мою совсем голую тень. Тень всюду следует за мной и не имеет ничего, чем прикрыть свое исхудавшее тело.

Купцы засмеялись.

— Ты все шутишь, дервиш! Как же можно одеть твою тень?

— Да вот она стоит перед вами! — И дервиш показал рукой на нищего мальчика Тугана, прислонившегося к стене.

Больной купец ударил в ладоши.

— Гассан, — сказал он подошедшему слуге. — Поведи этого мальчика в лавку, где продается готовая одежда, и одень его так, как ты одел бы путника, отправляющегося в дальнюю дорогу.

— Все ему дать?

— Ты его оденешь «сор-та-пай» (с головы до ног) и дашь ему все: чекмень, рубашку, шаровары, носки, сапоги, пояс и тюрбан. А ты, почтенный «джихан-гешт» (скиталец вселенной), приходи сегодня вечером ко мне. Гассан расскажет тебе, как найти мой дом.

Слуга провел дервиша и смущенного Тугана в лавку, где висели разные одежды: мужские, женские и детские. И хотя слуга Гассан предлагал выбрать все самое лучшее, дервиш указал только на то, что прочно и удобно в дороге. Когда Туган вышел из лавки, одетый, как сын гурганджского жителя, с закрученной вокруг головы синей чалмой, Гассан передал дервишу кожаный кошелек и сказал:

— Мой хозяин, почтенный Махмуд-Ялвач, приказал

передать тебе также эти пять золотых динаров, чтобы ты ни в чем не нуждался в дороге. Кроме того, во дворе хозяина тебя ждет твой осел с седлом. Ты можешь взять его в любое время. Вероятно, ты оказал большую услугу моему хозяину? Он редко бывает щедрым.

Вечером Хаджи Рахим посетил купца Махмуд-Ялвача. Тот ждал его в красивой беседке, укрывшейся среди большого сада. Когда они выпили чашку золотистого чая и слуга удалился, купец шепотом спросил:

— О каком золотом соколе ты говорил сегодня?

Дервиш достал из складок своего пояса золотую пластинку с вырезанным на ней соколом и передал Махмуд-Ялвачу. Тот порывисто схватил ее и спрятал за пазухой.

— Запомни мои слова,— сказал он.— Что бы ни случилось, хотя бы произошел взрыв вселенной, если ты услышишь обо мне, можешь смело прийти в мой дом. Я всегда помогу тебе. Что ты будешь делать в Гургандже?

— Завтра я ухожу отсюда в Бухару. Я боюсь оставаться здесь, где над головой всегда занесен меч, не разбирающий, прав или не прав тот, на кого он упадет. Нет, лучше посох странника и далекая дорога.

Глава шестая

ЗАГОВОР ЦАРИЦЫ ТУРКАН-ХАТУН

> Под главенством такой умной женщины, как Туркан-Хатун, влияние военной (кипчакской) аристократии скоро пошатнуло авторитет престола. Кипчаки могли беспрепятственно опустошать занятые ими земли, хотя бы они явились туда в качестве освободителей, и делать имя своего государя предметом ненависти населения.
>
> *(Акад. В. Бартольд)*

Створчатые ворота Арк[1] раскрылись, и пара за парой стали выезжать на откормленных жеребцах всадники в белых бараньих шапках, красных полосатых кафтанах и с блистающими золотом кривыми саблями.

---

[1] Арк — высокая арка, разукрашенная цветными изразцами, служившая парадным входом во дворец.

Мухаммед, шах Хорезма, дородный и величественный, в белом шелковом тюрбане с алмазными сверкающими нитями, угрюмо сидел на широкогрудом гнедом коне с богатой золотой сбруей. Малиновый парчовый халат шаха, пояс и сабля, усыпанные драгоценными каменьями, ослепительно блестели на солнце.

Позади властителя Хорезма следовали два молодых всадника. На вороном туркменском жеребце с серебряным ошейником ловко сидел смуглый удалец. Это был сын туркменки, наследник шаха Джелаль эд-Дин. Рядом с ним на пегом иноходце с длинной черной гривой, заплетенной в мелкие косички, ехал мальчик в парчовом халатике — самый младший и любимый сын шаха, от кипчакской княжны.

Далее следовали важные сановники Хорезма, гарцевавшие на конях, покрытых алыми чепраками.

Конвойная тысяча шаха разделилась. Одна часть, двигаясь впереди через главную улицу базара, разгоняла плетьми толпившихся любопытных. Другая половина шахских джигитов замыкала процессию.

Все встречные падали на колени, склоняясь головой до земли. Они не имели права взглянуть вблизи на властителя величайшей страны ислама. Купцы, услыхав потрясающий хриплый рев длинных кожаных труб и грохот барабанов, поспешно вытаскивали из лавок ковры и расстилали их прямо в грязь по пути следования шаха.

Шах Мухаммед привык к восхвалениям и крикам преданности. Его равнодушный взгляд скользил по бесчисленным полосатым спинам, склонившимся к копытам его гнедого коня. Ничего нельзя было прочесть на его опухшем лице. Белизна чалмы особенно ярко оттеняла его большую черную бороду.

Перед въездными воротами дворца шахини-матери Туркан-Хатун, по обе стороны пути стояли отборные кипчакские воины в знаменитых хорезмских, непроницаемых для стрел кольчугах, в шлемах со спущенными на переносицу стрелками, с длинными гибкими копьями в руках.

— Да живет и царствует шах Мухаммед непобедимый!— гремели восклицания воинов, подхваченные толпой; люди сбегались из переулков и карабкались на крыши и глиняные стены.

Мухаммеда поразило, что, против обыкновения, кипчакских воинов было слишком много, в несколько раз больше, чем вся его охрана. Для чего их собрали? Нет ли здесь ловушки? Не повернуть ли, пока не поздно, обратно? Нет, к чему подозрения! Разве может родная мать устраивать западню своему сыну? Разве он после смерти отца, шаха Текеша, не оставил матери всю силу власти, равную его собственной? Разве кипчакские воины из ее рода Канглы не участвовали во всех его походах и, возвращаясь в кочевья, не привозили с собой обильную добычу, о которой не мечтали их отцы? Вперед!

Мухаммед стегнул плетью задержавшегося перед воротами коня и двумя прыжками влетел во внутренний двор.

Кипчакские старики в праздничных халатах взяли под уздцы коня. Хорезм-шах соскочил с седла на разостланную бархатную дорожку. Прямой и сильный, несмотря на свои годы, он поднялся на ступени террасы с тонкими резными колонками и, пройдя мимо склоненных спин, вступил в прохладные покои дворца. Перед ним вырос негр с золотым кольцом в носу.

— Царица цариц идет тебе навстречу. Салям твоему величию!— Негр раздвинул занавес и крикнул высоким голосом:— Величие мира! Хранитель веры! Меч ислама!

Шах сделал несколько шагов вперед. В полумраке комнаты с отполированными деревянными стенами и решетчатыми окнами светилась золотой парчой маленькая фигурка. По обе стороны полукругом застыли на коленях двадцать знатнейших кипчакских ханов. Мухаммед, сложив руки на груди, склонился, мелкими шажками быстро подошел к матери и прошептал:

— Салям, Туркан-Хатун, свет добродетели, образец справедливости!

Складки парчи зашевелились. Круглый тюрбан с султаном из страусовых перьев почти коснулся пола, потом опять поднялся.

— Бедная, несчастная вдова, твоя мать, приветствует величайшего повелителя вселенной. Сделай мне почет и радость, сядь рядом со мной.

Мухаммед выпрямился, поднял глаза и увидел перед собой маленькое лицо, густо покрытое белилами и румянами, черные колючие глазки, в которых дрожали крас-

ные огоньки. Туркан-Хатун, подобрав под себя ноги, сидела на восьмигранном золотом троне, похожем на поднос: Мухаммед, как правитель страны, должен бы сесть рядом с матерью, но на троне не было места. Все было занято ее парчовым платьем, и шах опустился рядом на ковер. Этого только и ждала Туркан-Хатун, желавшая показать своим кипчакам, что хорезм-шах сидит ниже ее.

Мухаммед, подняв ладони, произнес молитву и провел концами пальцев по бороде. Все сидевшие шепотом повторили молитву.

Туркан-Хатун заговорила вкрадчивым, нежным голоском, тряся головой, и ворох парчи при этом равномерно шевелился, и перья на тюрбане дрожали:

— Я позвала тебя, мой величайший, мой возлюбленный сын, чтобы вместе обсудить важные дела. Они касаются счастья и благополучия нашего прославленного рода хорезм-шахов и судьбы преданных тебе кипчакских ханов. Надо оберегать наш трон, нашу власть и наших друзей!

В комнате было тихо. Только сквозь прорези решетчатых окон снаружи доносились отдаленные перекаты криков: «Да живет хорезм-шах!»

— Я слушаю тебя, премудрая моя мать!

— До моей скромной хижины долетели слухи, будто ты готов к новым походам в отдаленные страны. Ты опять на своем великолепном коне будешь проноситься по равнинам битв. Но кто может раньше срока прочесть предначертания всемогущего, написанные в его «Книге судеб»? Если ты погибнешь мучеником за правую веру на поле сражения и унесешься, как молния, прямо в райские сады, то здесь без твоей могучей руки могут произойти беспорядки,— да оградит нас от них аллах! А так как наш гордый внук Джелаль эд-Дин предпочитает перешептываться с туркменами, готовясь вырезать всех нас, кипчаков, то надо подумать о том, не следует ли вместо Джелаль эд-Дина заблаговременно назначить другое лицо управлять страной Хорезма?

— Мудрые слова! Драгоценные, как алмазы! — воскликнули кипчакские ханы.

— Поэтому, — продолжала царица, — посоветовавшись вот с этими самыми знатными ханами родного нам кипчакского народа, я решила, дорогой мой сын, пере-

дать тебе единодушную просьбу всех кипчаков, чтобы ты назначил наследником престола твоего младшего мальчика, Кутб ад-Дина Озлаг-шаха, сына твоей любимой жены, ханши кипчакской, а Джелаль эд-Дина отошли управлять самыми отдаленными землями — он постоянная угроза и тебе и всем нам!

Все затихли, ожидая, что скажет шах Мухаммед. Он молчал, задумчиво накручивая на дрожащий палец завиток шелковистой бороды.

— Если же ты откажешься, то все кипчаки немедленно уйдут из Хорезма в свои степи, и я, как последняя нищая, пущусь в скитания вместе с ними...

Видя, что Мухаммед все еще колеблется, Туркан-Хатун повернула голову. За ее плечами стоял молодой управляющий ее поместьями Мухаммед бен-Салих, бывший гулям (старший слуга), возвеличенный ею за красоту. Он понял жест маленькой ручки, вышел из комнаты и сейчас же вернулся, ведя за руку семилетнего мальчика, одетого в парчовый халатик.

— Вот ваш новый наследник престола,— воскликнула властным, резким голосом Туркан-Хатун.— Объявляю кипчакским ханам, бекам, воинам и простому народу, что хорезм-шах согласен видеть в нем опору трона.

Все ханы вскочили, подхватили мальчика на руки и несколько раз подняли кверху.

— Да живет, да здравствует наш единокровный кипчакский султан!

Мухаммед встал, принял на руки сына и посадил его рядом с его бабушкой Туркан-Хатун.

— Слушайте беки,— сказал Мухаммед.— Как вы видите, я исполнил ваше желание. Теперь вы исполните мою волю. Мой старый враг, Насир, халиф багдадский, опять начал устраивать заговоры против меня и подстрекать к восстаниям подвластные мне народы. До тех пор не будет спокойствия в Хорезме, пока злодей Насир не будет свергнут. Тогда халифом станет нами назначенный и преданный нам священнослужитель. Поэтому я не остановлюсь до тех пор, пока не разгромлю войска халифа и не воткну острие моего копья в священную землю Багдада.

Старший из кипчаков, подслеповатый высохший старичок с узкой седой бородкой, сказал:

— Мы все как один направим наших коней туда, куда укажет твоя могучая рука. Но нам нужно сперва успокоить наши кочевья, помочь испуганным родичам. Из кипчакской степи прискакали гонцы. Говорят, будто с востока на наши земли нахлынули неведомые люди, дикие язычники, не слыхавшие о святой вере ислама. Они явились со стадами, верблюдами и повозками. Они заняли наши пастбища, прогоняют с места наши кочевья. Надо поспешить в нашу степь, перебить этих язычников, забрать их стада, а женщин и детей раздать в рабство нашим воинам.

— Веди войско в наши степи!— кричали ханы.

Писец-мирза с калямом в руке подошел к хорезм-шаху и опустился перед ним на колени, протягивая исписанный лист бумаги.

— Что это такое?— спросил Мухаммед.

— Высочайший указ о передаче наследования любимейшему твоему младшему сыну Кутб ад-Дину Озлаг-шаху. Временно, до совершеннолетия его, правительницей Хорезма и опекуншей молодого наследника будет его бабушка, твоя мать, шахиня Туркан-Хатун. А воспитателем наследника и великим визирем Хорезма назначается управляющий усадьбами царицы Мухаммед бен-Салих.

— А ты, мой великий сын, непобедимый хорезм-шах Мухаммед, пока мы будем управлять, сможешь ходить с войском по всей вселенной и воевать, с кем захочешь,— сказала Туркан-Хатун.

Мухаммед подписал указ не читая и передал тростниковое перо своей матери. Она взяла калям и крупными буквами старательно написала:

„ТУРКАН-ХАТУН, ВЛАДЫЧИЦА ВСЕЛЕННОЙ,
ЦАРИЦА ВСЕХ ЖЕНЩИН МИРА"

Шах Мухаммед оглянулся, отыскивая своего старшего сына, Джелаль эд-Дина. Он боялся встретиться с ним взорами. Но его не было. Векиль прошептал на ухо хорезм-шаху:

— Хан Джелаль эд-Дин, увидев столько кипчакских воинов, сказал: «Я не баран, чтобы идти на кипчакскую бойню», и, свернув в сторону, умчался, как ветер.

Глава седьмая

ПЛЕННИЦА ГАРЕМА

На плечах векиля лежала трудная забота о «хорошем расположении духа» трехсот жен хорезм-шаха. В его обязанности входило также следить за их поведением и в случае тревожных признаков легкомыслия докладывать об этом самому владыке Хорезма.

Получив от шаха Мухаммеда приказ выяснить думы, вздохи и слезы девушки, привезенной из туркменской степи, векиль призвал гадалку Илан-Торч («Чешуя змеи»), опытную в распутывании хитросплетений женского лукавства. Она же была и ворожея, и знахарка, и рассказчица веселых и страшных сказок.

Выслушав туманную речь векиля, «Чешуя змеи» поняла, что его беспокоят три вопроса: нет ли в степи лихого джигита, о котором вздыхает молодая Гюль-Джамал, ведет ли она тайные переговоры с вольнолюбивыми туркменами, и был ли у нее кинжал в ту ночь, которую она провела у шаха.

— Все поняла,— сказала «Чешуя змеи», подставляя ладони.

Векиль насыпал ей несколько монет.

— Но среди монет я не вижу ни одной золотой?

— Принеси важные новости, получишь золотую...

Старая ворожея, худая и смуглая, с большими серебряными кольцами в ушах, вошла в калитку двора новой жемчужины гарема и остановилась. Прищуренными черными глазами она окинула небольшой дворик, окруженный высокими стенами. Как обычно во дворах других шахинь, с одной стороны тянулась одноэтажная длинная постройка без окон с террасой, на которую выходило пять раскрытых створчатых дверей. Посреди двора протекал ручеек и впадал в круглый бассейн. По сторонам пышно цвели две куртины роз. В глубине, у стены, под высоким развесистым тополем одиноко стояла нарядная туркменская юрта, обтянутая белыми войлоками и цветными веревками.

Оправляя полосатый плащ, Илан-Торч направилась к бассейну. Небольшая, очень смуглая девушка с продолговатыми черными глазами сидела на каменной ступеньке. Она брала из голубой кашгарской чашечки крупинки вареного риса и бросала их крошечным серебря-

ным карасям. Илан-Торч упала на каменные плиты и, целуя край малиновой рубашки, начала низким певучим голосом:

— Салям тебе, ненаглядная «Улыбка цветка»! Дай поцеловать твои светящиеся руки, коснуться твоей тени!

Ворожея уселась около девушки. Слова нежности, восхищения и лести неслись непрерывным, привычным потоком, а сама она думала: «За что падишах полюбил ее? Она маленькая, смуглая, как абрикос, нет в ней пышности и дородства других красавиц шахского гарема! Поистине причуды наших владык безграничны!»

— Что говорят сейчас в степи? — прервала ее Гюль-Джамал.

— Недавно один степной хан прислал за мной верблюда, чтобы я вылечила его от тоски по любимой девушке. Все там тебя вспоминают, все называют счастливицей. «Хорезм-шах, говорят, больше всех жен любит нашу туркменскую красавицу, надел на все ее пальцы перстни с каменьями, из которых летят голубые искры, поставил белую юрту с персидскими коврами и каждый день посылает ей из своей кухни жареных фазанов и уток, начиненных фисташками...»

— Я только называюсь женой падишаха, но я триста первая жена! Я бы лучше хотела быть женой простого джигита. В степи мне завидуют, а я тоскую по ветру, который проносит по Кара-Кумам запах полыни и вереска. Здесь же болит голова от постоянного чада шахской кухни. Зачем мне белая юрта, если я ничего не вижу, кроме этой серой стены, сторожевой башни с часовым и старого тополя? Один раз я хотела влезть на вершину дерева, чтобы увидеть голубую даль степей, но евнухи стащили меня. Потом они срезали даже веревки от качелей. Скажи, разве это счастье?

— О, если бы у меня была сотая доля того, что есть у тебя, я бы стала счастливой. Но мне никто не даст утки с фисташками!

— Девушки, — крикнула Гюль-Джамал, — приготовьте дастархан! А ты, женщина, погадай мне.

Две рабыни побежали к белой юрте. Подошла старая туркменка с красной повязкой на голове, обшитой серебряными монетами, и опустилась на землю. Пристальным взглядом она следила за ворожеей.

«Чешуя змеи» разостлала на каменной плите шафра-

новый платок и выбросила из красного мешочка горсти белых и черных бобов. Тонкой костяной палочкой она проводила круги по рассыпанным бобам и говорила непонятные слова на языке кочевого племени люли[1]. Расширяя горящие черные глаза и поводя голубыми белками, она начала объяснять хриплым шепотом:

— Вот что говорят бобы, как меня старые люди учили. Есть в степи джигит, хотя и молодой, а большой батыр. Тигра встретит — не боится, стрелу в него пустит. Десять разбойников встретит — первый на них бросается и всех рубит. Этот джигит по тебе мучается, не спит ночи, все слушает любовные песни певца-бахши и смотрит на небо... «Ее глаза, говорит, как эти звезды». Я вижу, что ты вздыхаешь. Разве я верно говорю?

Гюль-Джамал вздрогнула. Зазвенели золотые и серебряные монеты, нашитые на рубашке. Она взяла одну монету и хотела ее оторвать, но монета не поддавалась.

— Эне-джан, принеси ножницы!

Илан-Торч прошептала вкрадчиво:

— А где твой маленький ножик с белой ручкой? Как степная девушка, ты всегда его носила за поясом.

Тень тревоги скользнула по лицу Гюль-Джамал. Старая туркменка степенно встала и принесла из юрты большие ножницы для стрижки ниток при тканье ковра. Гюль-Джамал срезала с рубашки тоненькую золотую монету и сжала ее в смуглой руке.

— Ты сейчас сочинила сказку про скучающего джигита. Почему ты не говоришь его имени?

— Бобы мне не говорят этого. Только сердце твое подскажет имя безумно любящего.

— Кипчаки меня насильно увезли сюда, в гарем падишаха, когда в степи много джигитов спорили из-за меня. Но разве нас, девушек, спрашивают старики, к кому влечет наше сердце?

— Эта пестрая сорока все спутала,— сердито прервала старая туркменка.— У жены падишаха может быть на сердце только одно имя — нашего властелина, Мухаммеда хорезм-шаха, прекрасного, как Рустем[2], и храброго, как Искендер. И каждая женщина во дворце

---

[1] Люли — одно из кочевых племен Афганистана.
[2] Рустем — герой иранского народного эпоса.

живет только для него и только о нем думает. Не слушай эту лукавую женщину, Гюль-Джамал!

В калитку вошел толстый евнух в огромной белой чалме и поманил гадалку. Она побежала к всесильному сторожу гарема и пошепталась с ним. Вернувшись, она упала на плиту и, касаясь пальцами края одежды Гюль-Джамал, сказала:

— Прости меня, негодную. Сейчас мать нового наследного принца Озлаг-шаха потребовала меня к себе для гадания. Нет времени посидеть спокойно...— Она еще раз поцеловала полученную золотую монету и, следуя за евнухом, скрылась за калиткой.

Глава восьмая

„ГОНЕЦ СКОРБИ" МОЖЕТ ПРИНЕСТИ РАДОСТЬ

Хорезм-шах занимался делами государства в одном из самых отдаленных покоев. «И стены имеют уши», но их не могло быть в этой комнате без окон, затянутой коврами и похожей на колодец, где только наверху, в отверстии потолка, ночью светилась звезда. Здесь шах не боялся беседовать с глазу на глаз с главным палачом или выслушивать от векиля дворца о новых проделках его скучающих многочисленных жен. Здесь шах давал шепотом приказы: тайно удавить неосторожного хана, говорившего на пирушке дерзкие слова про своего повелителя, или отправить всадников с закутанными лицами в усадьбу старого скупого бека, давно не привозившего ему блюда золотых монет. Не раз после тайной беседы шаха в ковровой комнате с высокой башни на рассвете падал с отчаянным криком неизвестный и разбивался о камни. Не раз при тусклом свете полумесяца палачи бросали с лодки в темные воды стремительного Джейхуна извивающихся в мешках людей, неугодных шаху. Затем над широким простором реки проносилась песня:

Весной в твоих садах распевают соловьи,
В цветниках свешиваются алые розы.

А гребцы подхватывали припев:

О прекрасный Хорезм!

В тот вечер Мухаммед сидел мрачный, неразговорчивый, а векиль дворца докладывал ему, какие лица посетили днем его сына, хана Джелаль эд-Дина:

— Приезжали на прекрасных длинноногих жеребцах три туркмена. Один из них прятал лицо, закрываясь шалью. Заметили, что он молод, строен и глаза его остры, как у ястреба.

— Почему же ты не задержал его?

— Поблизости в роще его ожидал целый отряд, десятка четыре отчаянных туркменских молодцов. Однако на базаре в чайхане Мердана, куда обычно заезжают туркмены, мой человек слышал, как не раз повторяли имя Кара-Кончара...

— Кара-Кончар, гроза караванов!

— Верно, хазрет[1]. Но можно ли допустить, чтобы наследный хан...

— Он больше не наследник.

— Устами шаха говорит аллах! Но все же трудно допустить, чтобы даже простой бек унизился до беседы с разбойником караванных дорог...

— Чего не услышишь в наше тревожное время!

— Не находит ли государь, что если бы Джелаль эд-Дин уехал подальше, например, на поклонение гробу пророка в священную Мекку, то прекратились бы его перешептывания с туркменами?

— Я назначил его правителем отдаленной Газны на границе с Индией. Но и там он соберет вокруг себя мятежных ханов и будет их уговаривать идти походом на Китай. А затем Хорезм развалится, как рассеченный ножом арбуз. Нет, пусть Джелаль эд-Дин будет здесь, под моей полой, чтобы я мог всегда его прощупать.

— Мудрое решение!

— Однако слушай ты, векиль, виляющий хвостом! Если я еще раз услышу, что разбойник Кара-Кончар свободно разъезжает по Гурганджу, как по своему кочевью, то твоя голова с потухшими глазами будет посажена на кол перед дворцом Джелаль эд-Дина...

— Да сохранит нас аллах от этого!— бормотал векиль, пятясь к двери.

Вошел старый евнух.

---

[1] Хазрет — государь.

— Согласно приказанию величайшего, хатун Гюль-Джамал прибыла в твои покои и ожидает твоих повелений.

Шах как бы нехотя поднялся.

— Ты ее приведешь сюда, в ковровую комнату...

Шах вышел в коридор, нагнувшись, шагнул в узкую дверь и стал подыматься по винтовой лесенке. В маленькой каморке он припал к деревянной узорчатой решетке узкого окна и стал наблюдать, что произойдет в ковровой комнате.

Старый безбородый евнух с согнутой спиной и широкими бедрами, затянутыми кашмирской шалью, отпер украшенную резьбой дверь. В руке он держал серебряный подсвечник с четырьмя оплывшими свечами.

Оглянувшись на маленькую фигурку, окутанную пестрой тканью, он сочувственно вздохнул.

— Ну, пойдем дальше!— пропищал он тонким голосом.

Он откинул тяжелый занавес и поднял высоко подсвечник. Гюль-Джамал проскользнула, изгибаясь, точно ожидая сверху удара, оставила у двери туфли и сделала два шага вперед.

Узкая комната, затянутая красными бухарскими коврами, казалась игрушечной. Потолок уходил высоко в темноту.

Евнух вышел. Повернулся со звоном ключ в двери. Высоко в стене засветилось полукруглое окно с затейливой узорчатой решеткой — там, вероятно, евнух поставил свечу. На противоположной стене темнело такое же узорчатое окно. Не подглядывает ли из него кто-либо?

Гюль-Джамал слышала дворцовые сплетни о какой-то ковровой комнате. Женщины гарема рассказывали, будто в ней палач Джихан-Пехлеван душит жен, уличенных в неверности, а хорезм-шах наблюдает через узорчатое окошко наверху в стене. Не в эту ли ковровую комнату она попала?

Гюль-Джамал обошла комнату. На полу лежало несколько небольших ковров, обычно расстилаемых для молитвы. «Вероятно, в такой ковер заворачивают обреченную женщину, когда ее уносят ночью из дворца?»

Набросав в угол цветных шелковых подушек, Гюль-Джамал опустилась на них, настороженная, вздрагивая от каждого шороха.

Вдруг зашевелился ковер, свисающий с двери, и показалась из-под него звериная голова. В тусклом сумраке круглые глаза мерцали зелеными искрами.

Гюль-Джамал вскочила, прижалась к стене. Желтый в черных пятнах зверь бесшумно вполз в комнату и лег, положив морду на лапы. Длинный хвост, извиваясь, ударял по полу.

«Барс!— подумала Гюль-Джамал.— Охотничий барс-людоед! Но туркменки без борьбы не сдаются!» Опустившись на колени, она схватила за край разостланный ковер. Барс, урча, стал подползать.

— Вай-уляй! Помогите!— закричала Гюль-Джамал и приподняла ковер. Сильный прыжок зверя опрокинул ее.

Она сжалась, прячась под ковром. Барс, ударяя лапами, старался разодрать толстую ткань.

— Помощи! Последний мой день пришел!— кричала Гюль-Джамал. Она слышала сильный стук в дверь и споривише голоса. Крики людей и рычанье зверя усилились... Потом шум затих... Кто-то откинул ковер...

Длинный худой джигит в черной бараньей шапке, с разодранной от виска до подбородка щекой стоял около девушки, вытирая о край ковра меч-кончар. Старый евнух, вцепившись в рукав джигита, старался оттащить его.

— Как ты смел войти сюда, в запретные покои? Что ты наделал, несчастный? Как ты смел зарубить любимого барса падишаха? Повелитель посадит тебя на кол!

— Отстань, безбородый! Или я тебе тоже отсеку голову.

Гюль-Джамал приподнялась, но снова бессильно упала на подушки. Барс лежал посреди комнаты и как будто держал лапами свою отрубленную голову. Тело его еще вздрагивало.

— Ты жива, хатун?

— А ты сильно ранен, смелый джигит? Кровь течет по твоему лицу.

— Э, пустое! Шрам поперек лица — украшение воина.

В комнату вбежал начальник охраны Тимур-Мелик. В дверях толпились несколько воинов.

— Кто ты? Как ты попал во дворец? Как ты смел побить часовых? Отдай оружие!

Джигит не торопясь вложил меч в ножны и спокойно ответил:

— А кто ты? Не начальник ли стражи Тимур-Мелик? Салям тебе! Мне нужно видеть хорезм-шаха по крайне важному для него делу. Плохие вести из Самарканда.

— Кто этот дерзкий человек?— прогремел властный голос. В ковровую комнату вступил широкими шагами хорезм-шах, положив ладонь на рукоять кинжала.

— Салям тебе, великий шах!— сказал джигит, сложив руки на груди и слегка склоняясь. Затем он резко выпрямился.— Ты здесь занят шутками и пугаешь степными кошками слабых женщин, а во вселенной происходят важные дела. На караванном пути я встретил гонца из Самарканда. Он загнал коня и бежал дальше пеший, пока не свалился. Он, как безумный, твердил: «В Самарканде восстание. Всех кипчаков убивают и развешивают по деревьям, как бараньи туши в мясных лавках». Во главе восставших твой зять, султан Осман, правитель Самарканда. Он хотел зарезать и твою дочь, но она с сотней отчаянных джигитов заперлась в крепости и отбивается день и ночь. Вот письмо от твоей дочери...

Хорезм-шах вырвал из рук джигита красный пакет и вскрыл его концом кинжала.

— Я им покажу восстание!— бормотал он, стараясь в тусклом свете прочесть письмо.— Самарканд всегда был гнездом бунтовщиков. Слушай, Тимур-Мелик! Немедленно созвать кипчакские отряды! Я выступаю в Самарканд. Там не хватит тополей и веревок, чтобы перевешать всех, кто осмелился поднять руку на тень аллаха на земле... Эту женщину отнести в ее белую юрту и позвать к ней лекаря... Джигит, как звать тебя?

— Э, что спрашивать! Так, один маленький джигит в великой пустыне!

— Ты принес мне «черную весть», а по древнему обычаю я должен «гонца скорби» предать смерти. Но помимо этого ты зарубил моего любимого барса. Какую казнь тебе назначить — не знаю...

— Я это знаю, государь!— воскликнул Тимур-Мелик.— Позволь мне сказать.

— Говори, храбрый Тимур-Мелик, и объяви это от моего имени дерзкому джигиту.

— В военных делах упустить день и даже час — зна-

чит упустить победу. Джигит выказал великое усердие и привез важное и хорошее для твоего величества письмо. В нем говорится, что твоя дочь жива и храбро отбивает нападения врагов, точно она сама воин. Ты, мой великий падишах, теперь помчишься в Самарканд и еще успеешь спасти твою храбрую дочь от гибели. За такую услугу шах прощает джигиту девять раз девять его преступлений. А взамен убитого барса хорезм-шах получает другого, еще более яростного барса — вот этого самого отчаянного джигита, и назначает его сотником ста всадников-туркмен, которых джигит приведет с собой. Они вступят в твой отряд личной охраны...

Хорезм-шах стоял изумленный и накручивал на палец с алмазным перстнем завиток своей черной бороды.

— Сокол с пути не сворачивает, хорезм-шах двух разных слов не говорит,— с достоинством сказал джигит.— Куда прикажешь отнести туркменскую девушку?

Джигит наклонился и бережно поднял лежавшую Гюль-Джамал. На пороге он на мгновение остановился и, высокий, худой и хмурый, сказал, обращаясь к хорезм-шаху, точно равный к равному:

— Салям тебе от Кара-Кончара, грозы твоих караванов!— и, гордый, пошел дальше.

Шах смотрел на Тимур-Мелика и не знал, гневаться на него или благодарить. Тимур-Мелик громко смеялся.

— Какой, однако, лихой удалец! А ты, государь, еще говорил, что на туркмен нельзя положиться. Да с войском таких джигитов ты покоришь вселенную.

Прошло несколько дней. Когда в ночном мраке тонкий серп полумесяца повис над минаретом, несколько бесшумных теней проскользнуло мимо дворца в переулок и остановилось в том месте, где свешивались над стеной ветви старого тополя.

Волосяная лестница с крюком была закинута на гребень стены. Одна тень взобралась наверх. Над белой юртой вился дымок, щели светились. На крик совы из юрты вышла закутанная женщина.

В темноте послышались слова:

— Все туркмены — братья! Салям! Здорова ли хатун Гюль-Джамал?

— Я служанка ее. Горе нам! Хорезм-шах уже три дня как уехал с войском усмирять восставший Самар-

канд. За дворцом теперь следит острый глаз свирепой старухи, ханши-матери Туркан-Хатун. Она приказала перевести нашу «Улыбку цветка» в каменную башню дворца и удвоила стражу. Она сказала, что Гюль-Джамал останется в башне до смерти.

— Ты проберись к ней. Вот золотой динар для евнуха, а вот еще два для стражи. Передай хатун Гюль-Джамал: пусть она скажет ханше-матери, что хочет произнести молитвы у могилы святого шейха, что находится за городом на большой дороге. Туркан-Хатун не посмеет ей отказать в молитвах, а когда она выедет из города, там Кара-Кончар сделает что надо.

Тень снова взобралась на гребень стены и скрылась во мраке.

Служанка шептала:

— Нет в мире злобнее и хитрее Туркан-Хатун! Если она захочет кого-нибудь сжить со света, кто может бороться с ней?

Глава девятая

В САДУ ОПАЛЬНОГО НАСЛЕДНИКА

Вот конь, и вот мое оружие! Они заменят мне пир в саду.

(Ибрагим Монтесер, X в.)

Тимур-Мелик был опытный воин, видевший немало сражений. Он не боялся опасности. Не раз сабля врага взвивалась над ним, копье пробивало его щит, стрелы впивались в кольчугу; барс терзал его, настигал тигр, смерть реяла над ним, застилая глаза черным облаком. Что еще может испугать его? Поэтому, не боясь гнева хорезм-шаха, Тимур-Мелик отправился в загородный сад Тиллялы, чтобы посетить его владельца, опального сына хорезм-шаха Джелаль эд-Дина.

Он застал молодого хана в глубине густого сада. Джелаль эд-Дин в раздумье одиноко сидел на ковре. Он легко поднялся и пошел навстречу гостю.

— Салям тебе, храбрый Тимур-Мелик! Я пригласил к себе нескольких друзей, но большинство уже прислали свои «огорчения», сообщив, что по болезни приехать не могут. Только три кочевника из степи да ты, Тимур-

Мелик, не побоялись посетить опального владетеля далекой Газны, которую мне, конечно, никогда не придется увидеть.

— Воля шаха священна,— сказал Тимур-Мелик, опускаясь на ковер.

— Разве я виноват,— продолжал задумчиво Джелаль эд-Дин,— что я родился от туркменки, а все кипчаки хотят иметь наследником кипчака? Пусть будет кипчак, но пусть мне отец позволит уехать простым джигитом на границу, где постоянные стычки. Я люблю горячего коня, светлую саблю да степной ветер и не хочу валяться на ковре, слушая песни и сказки стариков.

— Но ведь война у нас кругом,— сказал Тимур-Мелик.— Кипчакские беки просят хорезм-шаха двинуться с войском в их степи. Туда пришел с востока неведомый народ, он отбирает нашу землю, сгоняет кипчакский скот с хороших пастбищ...

— Лучше бы отец выгнал из Хорезма всех кипчаков и стал править без них,— заметил Джелаль эд-Дин.— Кипчаки изнежились и развратились. В тяжелую минуту кипчаки предадут моего отца.

— Почему ты так думаешь?— спросил Тимур-Мелик.

— Когда шах не доверяет народу Хорезма и отдает защиту власти и порядка иноземцам-кипчакам, то он похож на того хозяина, который поручает сторожить и стричь своих баранов степным волкам. У него скоро не окажется ни шерсти, ни баранов, да и сам он попадет на обед к волкам.

Джелаль эд-Дин взглянул на стоявшего в стороне гуляма и повел бровью. Тот подошел и наклонился.

— У нас приготовлен большой дастархан на много гостей, а их нет. Поставь заставу на дороге и спрашивай всех, кто проедет мимо. Среди них найди таких людей, которые развеселили бы мою душу, и приведи их сюда да поставь передо мною моих любимых жеребцов: если приглашенные гости не приехали, то я буду угощать моих коней и нищих с дороги...

— Ты меня звал, и я здесь!— раздался спокойный голос. Из кустов сада вышел высокий, тонкий туркмен в большой овчинной шапке. Он поклонился, сложив руки на груди.

— Я рад тебя видеть, барс пустыни Кара-Кончар. Проходи и садись с нами.

Али-Джан, десятник из крепостцы на восточной границе Хорезма, мчался с пятью джигитами по большому караванному пути. Он делал самые короткие остановки, только чтобы покормить лошадей. Али-Джан боялся, что не довезет до Гурганджа своего необыкновенного пленника.

Встречные путники останавливались, спрашивали, какого опасного разбойника схватили. Всадники скакали рядом, заглядывая в лицо связанному. Но Али-Джан бил плетью тех, кто приближался, и любопытные отлетали.

Уже проехали вброд два канала, перебрались по шаткому мосту из жердей и сучьев. Уже вдали среди тополей мелькнули голубые изразцы мечетей и минаретов Гурганджа. На перекрестке Али-Джану загородили дорогу шесть всадников в малиновых кафтанах на вороных конях с белой сбруей.

— Стойте, джигиты!

— Прочь с дороги!— крикнул Али-Джан.— Именем хранителя веры, не задерживайте едущих в диван-арз[1] по важному делу.

— Вот вас-то нам и нужно. Сын хорезм-шаха Джелаль эд-Дин приказывает вам свернуть с дороги и сейчас же явиться к нему в сад.

— Мы должны ехать, нигде не задерживаясь, прямо в Гургандж к нашему начальнику Тимур-Мелику...

Но всадники керпко держали повод коня Али-Джана.

— Сам Тимур-Мелик сейчас здесь, в саду, сидит рядом с беком, и оба слушают песни. Сворачивай! Тебе говорят! Зачем дерешься? Твой пленник не сдохнет, а Джелаль эд-Дин подарит тебе шубу, накормит пловом и даст горсть серебряных дирхемнов. Какой плов у бека! Такого плова нигде ты больше не попробуешь!..

Али-Джан почувствовал приятный запах бараньего сала и крикнул джигитам:

— Остановитесь! Сворачивайте в эту усадьбу. Здесь мы испытаем блаженство!

Джигиты с привязанным пленным свернули с дороги, миновали угрюмых часовых у высоких ворот и въехали в первый двор. В мутных сумерках шесть очагов, расположенных в ряд, пылали высокими багровыми огня-

---

[1] Диван-арз — государственная канцелярия.

ми. Возле них ходили женщины в малиновых одеждах. В красном свете костров они казались огненными.

Всадники соскочили с коней и привязали их к столбам. Пленник остался в седле. Его конь перебирал ногами, мотал головой и тянулся к другим лошадям, которым джигиты набросали охапки сена. Женщины сбежались, обступили пленного, дивясь его необычайному виду.

Он был привязан волосяными веревками к коню. Синяя длинная одежда с красными полосками, нашитыми на рукаве, и плоская войлочная шапка с загнутыми кверху полями говорили о каком-то чужом племени. От висков, как два рога буйвола, спускались на плечи свернутые узлом две черные косы. Дикими казались скошенные глаза, неподвижно уставившиеся в одну точку. В толпе шептали:

— Да это мертвец!

— Нет, еще дышит. Все язычники живучи.

— Следуй за мной!— сказал Али-Джану слуга.— Тащи с собой и этого урода.

Али-Джан отвязал коня с пленным и осторожно повел его по дорожке через тенистый сад, где молодые персиковые деревья чередовались с темно-зеленой непроницаемой листвой высоких карагачей.

Канавка с быстро струившейся водой, вилась вокруг небольшой беседки. Перед ней в ряд стояли двенадцать жеребцов — шесть вороных и шесть золотисто-рыжих, с лоснящейся шелковистой шерстью, с расчесанными гривами, заплетенными в них малиновыми лентами. Каждый жеребец был привязан цепью к низкому столбу. Два джигита с медными подносами обходили жеребцов и кормили их с рук ломтиками дыни.

Али-Джан был так поражен красотой коней, их огненными глазами и лебедиными шеями, что не сразу заметил группу людей, сидевших под огромным старым карагачом.

Площадка, покрытая персидским ковром, была уставлена серебряными блюдами и стеклянными иракскими вазами. На них пестрели разноцветными красками сахарные печенья[1], конфеты, свежие и сушеные фрукты и

---

[1] В то время сахар, изготовлявшийся из сахарного тростника (индийского и египетского), являлся роскошью и представлял большую ценность.

другие сладости. Несколько человек расположились полукругом. Отдельно сидел смуглый юноша в индийской чалме и черном чекмене: к нему все обращались почтительно, как к хозяину. Около площадки старались изо всех сил несколько музыкантов: одни водили смычками, другие играли на дудках, двое выбивали глухую дробь на бубнах, наполняя сад причудливыми звуками одурманивающей музыки.

— Гелюбсен, гелюбсен![1]— сказал смуглый юноша и стремительно вскочил. За ним поднялись и все сидевшие. Он подошел к неподвижному пленному. Али-Джан понял, что это сын шаха Джелаль эд-Дин.

— Ты поймал его? Где ты его нашел?

— Я его встретил в степи около Отрара. Ну и крепкий, ну и жилистый, едва скрутил!

— Кто он? Из какого племени? Что он говорил?

— Не хотел отвечать. Молчит.

— Однако жизнь убегает с его лица. Он умирает?

— Не знаю, светлейший хан. Я мчался из всех сил, чтобы живым доставить его пред очи хорезм-шаха.

— Ты уморил его скачкой. Надо его заставить говорить.

Джелаль эд-Дин похлопал в ладоши. Появился слуга.

— Позови лекаря Забана; пусть придет со всеми своими склянками и лекарствами. Скажи — человек умирает.

— Сейчас, мой хан!

Пленник начал оживать. Его глаза расширились, из раскрывшегося рта вырывались глухие звуки, и он закричал, пытаясь вырваться из веревок.

— Что он кричит?— спросил Джелаль эд-Дин.

Али-Джан объяснил:

— Он видит твоих коней и восторгается: «Хорошие кони! Красивые кони! Но здесь они не останутся. Все они попадут в табуны Чингиз-хана непобедимого. Он один будет ездить на твоих конях!»

— Почему ты понимаешь слова этого язычника?

— Я ходил раньше с караванами в Китай, я посещал татарские кочевья. Там я научился говорить на их языке.

[1] Гелюбсен — подойди.

— А кто такой Чингиз-хан непобедимый? Почему он непобедимый? Как этот язычник смеет так дерзко говорить?— сердился Тимур-Мелик.— Только хорезм-шах Мухаммед —непобедимый повелитель всех народов. Зарублю этого пленника, если он будет так говорить.

— Пускай себе говорит что хочет,— прервал Джелаль эд-Дин,— а мы от него выпытаем все, что он знает об этом непобедимом вожде татар.

Из-за кустов сада послышался тонкий голос. Кто-то быстро приближался, выкрикивая скороговоркой слова:

— Да украсит аллах всех мусульман такими доблестями, какие имеются у сына повелителя правоверных пресветлейшего и храбрейшего Джелаль эд-Дина, обладателя светлого меча и прекраснейших в мире коней! И да обрушится его меч карающим громом на головы всех врагов ислама!..

Маленький человек с длинной бородой, в огромной чалме быстро шел по дорожке сада. В руках он держал кожаную сумку и большую глиняную бутыль. Разные медные приборы, ножички и склянки, привешенные на поясе, звенели при каждом его движении. Подойдя к Джелаль эд-Дину, он поклонился до земли.

— Твоя милость вырвала меня из пасти несчастий. Твои обильные щедроты привели меня к твоим дверям. Мне сейчас сказали, что я должен спасти умирающего...

Поток красноречия лекаря был прерван одним жестом руки Джелаль эд-Дина.

— Лекарь Забан! Пусть твой голос отдохнет, а ты посмотри на этого больного человека и излей на него всю премудрость твоих знаний и все лекарства твоих склянок. Постарайся, чтобы он ожил.

— Я твой слуга, я твой раб. Что от моего хана слышу, то исполняю!..

Маленький лекарь стал распоряжаться. Слуги развязали пленного и сняли его с коня, он едва стоял, раскорячив ноги, застыв в том положении, как находился в седле. Брезгливо дотрагиваясь до чужеземца и шепча молитвы, слуги, по указаниям лекаря, сняли с пленного одежду и положили его на разостланный войлок. Он лежал покорно, в забытье, с закатившимися глазами.

Лекарь, говоря заклинания, стал поливать грудь

больного прозрачным маслом и соскребывать костяной ложкой червей, как рисовые зерна, усыпавших засохшие раны.

— Уже завелись черви... Но в священной книге сказано: «Сколько аллах создал болезней, столько премудрый создал и лекарств, чтобы излечивать эти болезни».

Когда из ран потекла кровь, лекарь положил на них промасленную вату и приказал обернуть все тело тряпками.

— О светлейший хан! О мой повелитель! — сказал он, обращаясь к Джелаль эд-Дину.— Я арабский ученейший врач — «каддах», специалист по глазным болезням[1] и удалению бельма, изучивший книги румийца Гиппократа, выправляющий вывихи, отгоняющий смерть. Я твой раб и слуга и завишу от твоей милости. Прикажи подать кувшин старого вина, чтобы я мог приготовить лекарство. После моего лечения больной заговорит и будет говорить день или два, а потом умрет или выздоровеет, как на то будет воля аллаха...

Получив вино и смешав его с разными порошками, лекарь то сам пил снадобье, то поил им больного, который очнулся и стал говорить.

С лихорадочно разгоревшимся лицом пленный сначала пел и выкрикивал непонятные слова, потом стал говорить плавно, размеренной речью, точно произнося стихи. Али-Джан внимательно прислушивался и переводил.

— Прекрасная, радостная моя родина, и нет ее лучше,— говорил пленник, устремив горящие глаза вдаль.— Тридцать три песчаных равнины раскинулись от края и до края между розовыми хребтами. Прославленный в скачках конь не сможет проскакать вокруг них. В высокой тучной траве с ревом идут дикие звери, проносятся антилопы семидесяти мастей, поют звонкоголосые птицы. В бирюзовом небе пролетают белые лебеди и гуси... Всем есть место в степях моей родины, нет только места моему бедному кочевью. Сильные племена с их

---

[1] Медицина у арабских ученых в то время стояла очень высоко. „В течение всех средних веков европейские медики не издали ни одного трактата по офтальмологии (изучение глаза), равного арабским. Только в начале XVIII века мы замечаем прогресс, начинающий опережать арабские произведения". (Акад. И. Ю. Крачковский.)

жадными ханами отобрали у нас зеленые пастбища, где теперь бродят чужие табуны жирных коней и стада быков и овец... А для моего бедного, слабого кочевья остались только щебнистые гоби и скалистые ущелья. Там стада зачахли, поредели, кони исхудали и шатаются от слабости. Во всем виноваты надменные ханы и их главный каган Чингиз-хан, краснобородый, непобедимый, уводящий народ монголов в другие страны для грабежа вселенной...

— Какого Чингиз-хана он вспоминает?— сказал Джелаль эд-Дин.

Али-Джан перевел вопрос. Пленный воскликнул:

— Кто не знает Темучина Чингиз-хана! Я ушел от него. Он не прощает тем, кто осмеливается стоять перед ним, не согнув рабски спину! Он мстит непокорным, он преследует тех, кто когда-либо боролся с ним, и вырезывает весь род его до последнего младенца.

— Кто ж ты? Почему ты так смело говоришь против Чингиз-хана?

— Я вольный мерген[1] Гуркан-багатур. Я сам себе хан, сам себе нукер-дружинник[2], и я бросил войско Чингиз-хана, потому что этот кислолицый старик приказал переломить хребты моему отцу и брату, потому что краснобородый каган забирает самых прекрасных девушек и делает их своими рабынями, потому что он не терпит на всей земле никакой другой воли, кроме его каганской воли. Я уеду до конца вселенной, где живут одни звери и такие же свободные охотники, как я, и буду жить там, куда не доберутся нукеры злобного Чингиз-хана.

— Где же теперь Чингиз-хан? Что он готовит?— спросил Джелаль эд-Дин.

— Теперь царство Чингиз-хана похоже на озеро, переполненное водой, которое едва сдерживается плотиной. Чингиз-хан стоит наготове, а все его воины отточили мечи и ждут только приказа обрушиться на западные страны. Они примчатся сюда разграбить ваши земли.

— Мы оставим этого молодца жить здесь, с нами,—

---

[1] Мерген — охотник.
[2] Нукер — воин из личной дружины хана.

сказал Тимур-Мелик.— Он женится на туркменке, поставит свою юрту в кочевье бесстрашного Кара-Кончара и будет свободным мергеном-охотником бродить по Кара-Кумам.

— Но кто такой Чингиз-хан?— спросил Джелаль эд-Дин.— Меня беспокоят эти речи. Надо все разузнать о нем.

— Прости меня, светлейший хан,— сказал, вставая, Тимур-Мелик.— Я должен поехать в диван-арз вместе с этим пленным. Я все выпытаю у него об этом наглеце Чингиз-хане.

— Прости и меня, светлейший хозяин,— сказал Али-Джан.— Мои джигиты насытились твоим сладким дастарханом, а кони получили обильный корм. Теперь душа наша радуется, испытав блаженство. Разреши и нам тронуться дальше и отвезти этого окаянного язычника в Гургандж, в крепость.

— Хош! (Ладно!) — ответил Джелаль эд-Дин.— Гулям, выдай джигиту новую баранью шубу.

Али-Джан низко поклонился и сказал:

— Птице — полет, гостям — салям, хозяину — почет, а джигиту — дорога!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

БИТВА ПРИ РЕКЕ ИРГИЗЕ

Глава первая

ПОХОД В КИПЧАКСКУЮ СТЕПЬ

Афросиаб воскликнул: „Я иду в поход!
Покрасьте хенной хвост[1] моего коня!"

(Из древней персидской песни)

Хорезм-шах Мухаммед примчался из Гурганджа в Самарканд, полный ярости. Он решил беспощадно отомстить своему зятю Осману и жителям, которые осмелились поднять меч против своего шаха.

Мухаммед осадил город, объявив, что за неповиновение вырежет всех до последнего младенца и перебьет даже иностранцев. Долго бились самаркандцы, загородив бревнами узкие улицы, наконец хан Осман явился к хорезм-шаху с просьбой о помиловании города. Осман предстал перед Мухаммедом, держа в руках меч и кусок белой ткани для савана, выражая этим полную покорность и готовность быть казненным этим мечом. Хорезм-шах смягчился при виде зятя Османа, упавшего перед ним лицом на землю, и согласился простить его. Когда город сдался, к шаху вернулась его дочь Хан-Султан, которая храбро защищалась в крепости, осажденной мятежниками. Она не захотела простить мужа и потребовала его смерти. Ночью Осман был казнен. Перебили также и всех его родственников вместе с детьми, так что

---

[1] Хенна — красная краска, которой на востоке красили ладони, седеющие бороды, а в походе — хвост коня.

прекратился древний род Караханидов[1], правителей Самарканда.

Кипчакские ханы, прибывшие вместе с хорезм-шахом, свирепо расправлялись с населением Самарканда. Они уничтожили более десяти тысяч жителей и хотели продолжать резню и грабеж города, но вмешалась хотя и жестокая, но осторожная шахиня-мать Туркан-Хатун и уговорила кипчакских ханов прекратить бойню.

После этого Самарканд сделался столицей хорезм-шаха. Он приступил к постройке большого дворца.

Кипчакские ханы потребовали от хорезм-шаха, чтобы он повел свое войско в их степи разгромить прибывшее из восточных пустынь татарское племя меркитов[2], потеснивших кипчакские кочевья. Шах отговаривался государственными заботами и постройкой дворца. Тогда его мать, Туркан-Хатун, обратилась к нему с той же просьбой.

Как старая орлица на вершине скалы в недоступном гнезде оберегает своих голошеих детенышей, впиваясь зорким оком далеко в степь, так и Туркан-Хатун, коварнейшая и осторожнейшая из женщин, оберегала престол шахский от опасных мятежей всегда недовольного населения, от измен и предательства коварных ханов и их тайных покушений. В минуту опасности она направляла из своего мрачного недоступного дворца в Гургандже преданные ей кипчакские отряды, чтобы растерзать всякого, кто осмелился поднять руку на величие ее сына, хорезм-шаха непобедимого. Поэтому мог ли хорезм-шах не внять призыву осторожной матери?

Ранней весной следующего года Мухаммед прибыл в Гургандж и оттуда во главе большого конного войска двинулся в поход. Десять отрядов выступали из города в течение десяти дней. В каждом отряде насчитывалось по шести тысяч всадников. Запасные навьюченные кони

[1] Караханиды — тюркская династия, воцарившаяся в Самарканде в X веке, когда в Среднюю Азию вторглись тюркские племена и овладели возделанными землями между Сыр-Дарьей и Аму-Дарьей. Эпоха владычества династии Караханидов была для Мавераннагра эпохой культурного регресса и ханских притеснений, в результате которых народные волнения вспыхивали неоднократно. (Акад. В. Бартольд.)

[2] Татары — общее название многих кочевых племен тюркского происхождения, покоренных Чингиз-ханом. Меркиты — одно из этих племен.

везли ячмень, пшено, рис, масло и бурдюки с кумысом.

Хорезм-шах любил блеск войны, гул и грохот боевых барабанов, хриплый вой боевых труб, призывающих в поход. Впереди десятков тысяч всадников скакал широкогрудый гнедой конь, взмахивая выкрашенным в алый цвет хвостом. На коне блистала золотая сбруя, горели самоцветные камни и на ногах звенели серебряные бубенцы. Кто в Хорезме не знал гнедого коня с чернобородым всадником в белоснежном тюрбане, увитом алмазными нитями!

Этот всадник — защита ислама, столп правоверия, гроза язычников — посылал молнии своей воли и гнева самому халифу багдадскому Насиру, потомку пророка. Этот всадник — хорезм-шах Алла эд-Дин Мухаммед, раздвинувший пределы своего царства до тех пустынь, куда не заходил сам Искендер-Руми,— непобедимый завоеватель вселенной.

Войско растянулось на десять дней пути. Каждая колонна в несколько тысяч коней на месте стоянок выпивала всю воду в колодцах. Только через сутки там снова накапливалась вода.

В первом отряде скакали разведчики. Хорезм-шах ехал со вторым отрядом. С ним шли быстроходные верблюды, навьюченные палатками, котлами и обильными запасами царской кухни.

В последнем, десятом, отряде вместе с туркменами, всегда беспокойными и непокорными, ехал опальный сын шаха Джелаль эд-Дин. Туркмены враждовали с кипчаками, не прощая им их заносчивости и жадности. Туркмены разводили костры широкими кругами и вечерами устраивали вокруг них военные пляски; они извивались хороводами, распевая военные песни и взмахивая над головами кривыми сверкающими саблями.

Путь шел берегом Хорезмского моря. Переправившись через реку Сейхун[1], отряды вышли к узкому заливу Сары-Чаганак. Здесь шах сделал остановку. Он ожидал известий от посланных вперед разведчиков, а тем временем сам с охотничьими соколами проехал вдаль берегов бирюзового моря и вернулся на стоянку со связками подбитых уток и журавлей.

---

[1] Сейхун — название реки Сыр-Дарьи в XIII веке.

Разведчики донесли, что табуны меркитов были замечены к северу, на низовьях реки Иргиз, при впадении ее в озеро Челкар. Хорезм-шах подождал, пока подтянулись все отряды, призвал их начальников и на совещании разъяснил план наступления. Все войско пойдет тремя частями. Сам шах будет находиться в средней, которая послужит для последнего, решающего удара. Левым крылом будет начальствовать хан кипчакский Тургай, а правое крыло поведет Джелаль эд-Дин, сын хорезм-шаха,— Мухаммед хотел испытать, как проявит себя в бою непокорный и самоуверенный сын.

На стоянку прискакал гонец из Гурганджа и привез сверток от Туркан-Хатун, матери шаха. Векиль и мирза проследовали за шахом в его палатку. Мухаммед распорол кинжалом сверток. Внутри был мешочек из малинового шелка. Приложив мешочек ко лбу и губам, хорезм-шах вскрыл его. Там было письмо, написанное большими буквами на узком бумажном свитке[1].

«Величайшему, благословенному защитнику веры и справедливости, Алла эд-Дину Мухаммеду, хорезм-шаху,— да хранит аллах твое царствование! — салям!

Все имамы во всех мечетях ежедневно пять раз возносят молитвы творцу всевышнему, властному над всем, да продлит он твое царствование и дарует тебе победу над врагами! Да будет так!

На базаре поймали дервиша, подосланного халифом багдадским. Дервиш проповедовал доверчивым простакам, что аллах покарает нашего любимого шаха за то, что он будто бы перенял от персов их нечестивую веру, и в наказание за это в Хорезм примчится языческий народ яджуджей и маджуджей[2] и разрушит наше царство. Болтливого дервиша схватил начальник палачей Джихан-Пехлеван и после пытки каленым железом повесил его на базарной площади, отрезав ему язык.

---

[1] В это время Самарканд славился выделкой бумаги, которая вывозилась и в другие страны.

[2] Яджуджи и маджуджи — название неизвестного народа, часто встречающееся в восточных сказках.

Увидев эту казнь, устрашатся тысячи. Остальное все благополучно. Тишина и благоденствие в твоем государстве да продлятся на много лет!

ТУРКАН-ХАТУН — ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ЖЕНЩИН ВСЕГО МИРА».

Рано утром отряды выступили ускоренным шагом и в два перехода дошли до реки Иргиза.

Степь зеленела свежими весенними побегами. Желтые и лиловые касатики и красные тюльпаны весело рассыпались по пескам равнины, обычно выжженной и мертвой. Солнце то грело ослепительными лучами, то пряталось за дождевые облака.

Река Иргиз была еще покрыта непрочным рыхлым льдом. Вода разливалась поверх льда, темные промоины и полыньи не давали войскам переправиться на другой берег.

Хорезм-шах приказал отрядам переждать, укрывшись в лощинах за камышами, иначе меркиты могут заметить их и уйти дальше в степные равнины.

Два дня войско отдыхало, не разводя костров. Во вторую ночь на небе появился непонятный свет. Небо, багровое, как раскаленные угли, не захотело окутаться мраком, и звезды не показывались. Казалось, вечерняя заря продолжалась до утренней зари[1]. Шейх-уль-ислам[2] сопровождавший войско, объяснил это знамением аллаха, предсказывающего сияние великой славы, которая ожидает хорезм-шаха Мухаммеда.

Когда река освободилась ото льда, разведчики нашли броды, и все отряды переправились на другой берег.

Пустынная степь, кое-где покрытая холмами, тянулась безмолвная и загадочная. Руководясь едва заметными тропами, отряды уходили на восток. Они держались более скученно, уже готовясь к скорому бою.

В одной долине, среди каменистых гряд, виднелись черные юрты. Они, видимо, были брошены при поспешном бегстве. Войлок, женские одежды и старые ковры валялись вдоль дороги. Тут же лежал человек с двумя

---

[1] Об этом атмосферном явлении, похожем на северное сияние, говорят все летописцы того времени.

[2] Шейх-уль-ислам — глава мусульманского духовенства.

черными косами над ушами и желтым узкоглазым лицом. Его выцветшая, длинная до пят, синяя одежда была иссечена. Дальше валялась двухколесная арба, упавшая набок.

Разведчики, поднявшись на холмы, знаками указывали в сторону. Войско повернулось, разворачиваясь полукругом.

Всадники перешли на рысь и снова сдержали коней. Перед ними расстилалась серая равнина, как будто усеянная темными тряпками. Конь, оседланный, но без всадника, бродил по равнине.

— Поле битвы! — сказали воины.— С помощью аллаха вечного окончена их жизнь.

— Кто же помог их прикончить? Кто вырвал из наших рук добычу? Где их стада, их кони, верблюды?

Отряды направились через поле, усеянное трупами. Издали тряпками казались тела, изрубленные мечами, пробитые стрелами и копьями. Они лежали и одиночками и десятками. С некоторых была снята одежда и обувь.

Всадники рассыпались по полю, подбирая кто оброненный меч, кто круглый щит или копье.

Хорезм-шах ехал по полю задумчивый, накручивая на палец завиток черной бороды. Его приближенные тихо переговаривались.

— Битва здесь шла упорная. Полегло несколько тысяч меркитов. Никому из них не давали пощады, раненых добивали...

Примчался всадник и крикнул:

— Я нашел живого меркита. Он может говорить!

Хорезм-шах пустил коня вскачь. За ним помчалась свита.

Меркит сидел у подножия холма. Возле него на корточках присели кипчаки и расспрашивали его. Голова у меркита была выбрита ото лба до затылка и залита кровью.

Хорезм-шах осадил коня.

— Что он говорит? Какого он племени? Кто их перебил?

Меркит со стоном и плачем стал рассказывать:

— Наш народ был великий народ, а его уже нет! Звался он меркиты. Наш хан был Тукту-хан... Он бежал вместе с сыном, Холту-ханом, знаменитым охотни-

ком: никто вернее и дальше его не пускал стрелы. Оба хана говорили простым воинам: «Бегите вместе с нами от гнева краснобородого Чингиз-хана; он решил с корнем вырвать племя меркитов... На западе, позади соленых озер до самого моря протянулись Кипчакские степи, там найдется место и для нас. Мы увидим много травы, любимой быками, и густые камыши; там стада наши снова станут тучнеть и размножаться. Кипчаки не откажут нам в милости и позволят нам есть с ними из одного котла и пить из одного бурдюка...» Так говорили ханы. Что нам осталось делать? Позади нас была смерть, впереди — приволье и радость. А за нами гнались два злобных пса, уставив носы в наш след. Этих псов натравливал старший сын краснобородого Джучи-хан, и зовут этих псов: Субудай и Тохучар-нойон[1]... Мы бежали скоро, как могли... Мы хотели, чтобы следы наших коней затерялись в щебнистых гоби и в красных песках. Но кони отощали, копыта их потрескались, и не было больше у них прежней прыти... Как разъяренные, напали монголы[2] на нас. Нам некуда было спастись, когда на нас обрушились двадцать тысяч монгольских всадников. Река Иргиз разлилась, по ней плыли льдины, кони вязли в набухшей земле... Нет больше великого народа меркитов! Одни пали на этом поле, изрубленные монголами, других они угнали в плен... Смеется рыжий Чингиз-хан, сидя на горе войлоков в своей желтой юрте! Погибла древняя слава меркитов! Осталась живой только одна изменница из рода меркитов, молодая ханша, красавица Кулан! Чингиз-хан сделал ее своей последней женой...

Кипчаки стали кричать:

— Веди нас на этих разбойников! Мы с ними расправимся! Они недалеко! Они не могут быстро гнать быков и пленных. Мы отобьем у них добычу...

— Мы скоро их нагоним! — сказал хорезм-шах и приказал трубачам сзывать рассыпавшихся по полю всадников, сдиравших одежду с изрубленных меркитов.

---

[1] **Субудай-багатур и Тохучар-нойон** — выдающиеся монгольские полководцы, впоследствии участники битвы при Калке.

[2] **Монголы** — тюркское племя, к которому принадлежал Чингиз-хан.

Глава вторая

БИТВА С НЕВЕДОМЫМ ПЛЕМЕНЕМ

— Знаешь ли ты, батюшка, что сказал Заль богатырю Рустему:
„Врага нельзя считать ничтожным и беспомощным“.

(Из древней персидской песни)

Войско шло всю ночь. Сделали только две короткие остановки, чтобы подкормить коней.

Под утро степь затянулась туманом. Отдельные отряды потеряли друг друга. Тонкими заунывными голосами, подражая вою волков и шакалов, перекликались разведчики.

Свежий ветер погнал разорванные клубы тумана. На золотистой полосе неба у горизонта показались гребни холмов. Под ними мерцали бесчисленные огоньки костров, и все яснее становились группы всадников, верблюдов и груженых телег на огромных высоких колесах.

Это был лагерь неизвестного племени. Там уже заметили приближение войска хорезм-шаха. Вынырнув из тающих клочьев тумана, показались тридцать всадников. Они держались тремя отдельными десятками. Первые косые лучи солнца осветили их синюю длинную одежду, железную броню и железные шлемы. Они сидели на небольших толстоногих и длинногривых конях. Вместе с передним десятком ехал на высоком туркменском жеребце белобородый мусульманин в белом тюрбане и малиновой шубе, расшитой желтыми цветами. Рядом со стариком ехал всадник, держа копье с белым конским хвостом на конце.

— Салям вам,— крикнул старик,— я тоже мусульманин! Дайте мне поговорить с вашим главным полководцем, да хранит его аллах!

— У нас в войске много полководцев, а начальствует один, гроза вселенной, меч ислама, хорезм-шах Алла эд-Дин Мухаммед.

Старик сошел с коня. Сложив руки на груди, слегка согнувшись, он подошел к тому месту, где на своем великолепном коне блистал шах Хорезма, окруженный безмолвными нарядными ханами.

— Повелитель монгольского войска, великий нойон[1] Джучи-хан, сын Чингиз-хана, владыки восточных стран, приказал мне, его переводчику, приветствовать могучего владыку западных стран, Алла эд-Дина Мухаммеда, да продлит аллах твое царствование на сто двадцать лет! Он говорит тебе: салям!

— Салям!— сказал шах.

— Хан Джучи спрашивает, почему храброе войско шаха направляется по следам монгольского войска, двигаясь так поспешно всю ночь.

Старик ждал ответа. Но шах, поглаживая черную бороду, пристально вглядывался грозным взором в монгольского посла и молчал.

— Хан Джучи приказал еще сказать, что его отец, непобедимый владыка Чингиз-хан, повелел своим полководцам Субудаю и Тохучару наказать мятежных меркитов, убежавших от воли ханской. Истребив их, монгольские войска уйдут обратно, в родные степи...

Старик помолчал несколько мгновений, впиваясь взглядом в невозмутимое суровое лицо шаха, затем продолжал:

— Чингиз-хан, повелитель всех народов, обитающих в войлочных юртах, всем нам повелел обращаться дружески с мусульманскими войсками, если с ними придется встретиться. В знак дружбы хан Джучи предлагает выдать войскам шахского величества часть захваченной добычи и пленных меркитов как рабов.

Тогда шах ударил плетью коня. Гнедой конь заплясал, сдерживаемый сильной рукой Мухаммеда. И шах сказал знаменитые слова, которые тут же записал в «Походную тетрадь подвигов и битв и изречений шаха» его придворный летописец Мирза-Юсуф:

— Скажи твоему начальнику: если Чингиз-хан не велел тебе со мною сражаться, так мне аллах приказывает другое — напасть на ваши войска! Я хочу заслужить милость всемогущего аллаха, истребив вас, поганых язычников!..

Переводчик, пораженный, окаменел, обдумывая слова хорезм-шаха, но Мухаммед уже направил коня к спешно строившемуся в боевой порядок войску.

Переводчик вернулся к монгольским всадникам, сел

[1] Нойон — князь.

на коня, и вся группа монголов поехала в сторону своих войск. Несколько шагов они ехали медленно, затем, пригнувшись к гривам, во всю конскую прыть помчались к своему лагерю.

Битва закипела.

Едва старик мусульманин доскакал до лагеря монголов, оттуда отделились несколько отрядов, медленно напраляясь навстречу войскам хорезм-шаха, и остановились на отлогих холмах.

Хорезм-шах отдал приказ ханам:

— Войско разбить на три части: правое, левое крыло и середина. Оба крыла должны охватить лагерь монголов, чтобы никто оттуда не ускользнул. Середина, где нахожусь я, будет запасной силой. Я двину ее туда, где понадобится подмога и решительный удар. Прямо на нас враги не бросятся. А если бросятся, тем лучше: они завязнут в топком солончаковом болоте.

Шах поднялся на вершину холма. Далеко раскинулась степь — место будущего боя. Шах сошел с коня и опустился на ковер. Дастарханджи разостлал вышитый шелками платок, расставил подносы с лепешками, изюмом, сушеной дыней. Он налил в чаши кумыс и раздал молодым бекам, которые сопровождали в походе хорезм-шаха, учась военному делу.

Быстроходные верблюды с провизией опустились на колени. Дастарханджи распоряжался, доставая вместе со слугами золотые кувшины, блюда и самые изысканные кушанья, чтобы подкрепить истощенные походом силы хорезм-шаха.

Правым крылом командовал нелюбимый сын хорезм-шаха Джелаль эд-Дин. Вороной жеребец вскачь вынес его на вершину бархана. Молодой хан всматривался в равнину боя, прикрывая от солнца маленькой рукой узкие черные глаза.

— Позови Кара-Кончара! — крикнул он джигиту.

Коренастый молодой туркмен в красном кафтане вскачь пустился с холма и вернулся вместе с сухопарым всадником в черной бараньей шапке и черном плаще.

Кара-Кончар подъехал к Джелаль эд-Дину и, склонившись к нему, внимательно вслушивался в его слова. Хан объяснил план будущей битвы. Ястребиное лицо Кара-Кончара не выражало никакого волнения, только в карих круглых, как у совы, глазах вспыхивали веселые искры.

— Видишь этот солончак?— говорил Джелаль эд-Дин.— В нем для нас и гибель и удача. Татар не так много. Нас в три раза больше. Но не в количестве дело. Могу ли я довериться нашим воинам? От умиравшего меркита я выведал, что монголов всего тысяч двадцать. Значит, если против нашего крыла пойдет половина, то это будет только десять тысяч. У нас же одних туркмен шесть тысяч да кара-китаев пять тысяч. Но кара-китаи покорились падишаху из нужды и голода. Они отправились в поход не воевать, а погреть руки у чужих костров. Я их пущу вперед застрельщиками. Они охотно пойдут, чтобы поскорее добраться до татарских обозов. Но тот же меркит назвал татар «взбесившимися тиграми». В битве татары, конечно, опрокинут кара-китаев и бросятся на нас. Тут их надо встретить со всей яростью, ударить им в бок и загнать в топкий солончак. Там они завязнут, и мы их изрубим. После этого мы бросимся спасать моего отца. Придется сегодня падишаху забыть сладостный покой души и жареных уток. Эй, джигиты, скачите к туркменским ханам и скажите, что сегодня в бой их поведет Кара-Кончар, барс Кара-Кумов.

Шесть джигитов помчались во все концы туркменских отрядов, рассыпавшихся по холмам. Когда войско услышало имя Кара-Кончара, все встрепенулись и загудели. Кто не слыхал имени Кара-Кончара, грозы Хорасана и Астрабада! Никто не подозревал в молчаливом черном всаднике на долговязом рыжем коне бесстрашного и неуловимого джигита каракумских равнин.

Кара-Кончар подскакал к туркменам, вызвал нескольких всадников и, вкратце изложив план боя, увел три тысячи всадников за холм, где он должен был, притаясь, поджидать татар.

Джелаль эд-Дин на вороном жеребце вихрем подлетел к кара-китаям. В войлочных малахаях, на маленьких мохнатых конях, они ожидали беспорядочной толпой, ощетинившись короткими копьями.

— Удальцы кара-китаи!— крикнул им Джелаль эд-Дин.— Вы горные барсы, вы храбрейшие в бою! Вот перед вами лагерь трусливых бродяг. Они, как ночные воры, разграбили нашу богатую добычу. Она принадлежит только нам, хозяевам этой степи. Нападайте на них и берите в лагерь все, что хотите!

Кара-китаи зашевелились и на рысях двинулись к лагерю татар. Пыль заклубилась над ними, и, по мере того как всадники ускоряли скачку, их дикие вопли усиливались, перейдя в сплошной рев.

Хорезм-шах Мухаммед, отвернув длинные полы собольей шубы, удобно уселся на ковре и грыз крепкими белыми зубами ножку дикой утки. Другую ножку объедал шейх-уль-ислам, единственный из шахской свиты, удостоившийся чести сидеть на маленьком ковре против падишаха. Даже участник всех его походов Тимур-Мелик, любимец шаха, «рукоятка его меча и щит его спокойствия», и тот стоял, скрестив руки на животе, и слушал глубокомысленную беседу Мухаммеда с белобородым главою духовенства, пожелавшим сопутствовать шаху в походе, чтобы все время молиться аллаху о даровании ему победы.

Хорезм-шах шутил, изредка посматривая в сторону неприятеля, собиравшегося в степи отдельными отрядами. В тихом утреннем воздухе отчетливо было видно, как стремительно проносились всадники между отдельными частями, как поблескивали их круглые металлические щиты.

Одна группа монгольских удальцов вылетела вперед. Они столкнулись с кипчакскими джигитами... Высоко взлетали и падали сверкающие мечи! Один воин упал, лошадь с седлом, сбившимся под брюхо, неловкими прыжками понеслась по степи, вскидывая задними ногами.

Затем началось наступление. Несколько конных отрядов кипчаков помчались по желтой равнине.

Шах положил утку и крикнул:

— Беки, наступайте! Аллах вам подмога!

По приказу шаха кипчакские отряды стали вытягиваться, как изгибающиеся руки, чтобы обхватить монго-

лов. Но монголы и не пытались выскользнуть из смыкающегося кольца.

От лагеря отделился первый отряд монголов. Тысяча сомкнутых всадников, по сто человек в ряд, устремилась на маленьких лохматых лошадях, покрытых железными и кожаными панцирями. Они неминуемо должны были прорвать нестройную, колеблющуюся линию кипчаков, растянувшихся широко по степи.

— Кху-кху-кху-кху!— слышался звериный рев монголов.

От лагеря оторвалась вторая тысяча и покатилась по степи. На солнце вспыхивали ярким блеском стальные шлемы, металлические щиты и изогнутые мечи.

Шах с вершины холма видел, как от общей массы монгольских войск отрывался отряд за отрядом и неудержимо несся вперед с хриплыми криками «кху!»

Кипчаки заметались. Крайний отряд повернул к лагерю грабить монгольские обозы. Но от лагеря отделилась еще одна тысяча и так же легко и ровно понеслась в сторону и перерезала путь кипчакам. Оба отряда сцепились.

Облако пыли окутало место боя. Оттуда стали вырываться отдельные кипчакские всадники и, прижавшись к шее коня, уносились в степь.

— Подобного этому я не видел никогда!— воскликнул, вставая, шах. Он тревожно наматывал на палец конец бороды, впиваясь глазами в даль.

Четыре отряда монголов, один за другим, в стройном порядке взяли направление на середину развернутых войск шаха, на тот холм, где находились Мухаммед и его свита.

Все ближе слышались взрывы монгольских возгласов «кху-кху-кху!»

Кто сможет остановить эту лавину? Мухаммед оглянулся. Тимур-Мелика рядом с ним уже не было. Вскочив на коня, он помчался в сторону битвы.

Лучшие, испытанные кипчакские отряды бросились навстречу монголам. Те задержались лишь на несколько мгновений, чтобы прорубить себе проход, и понеслись дальше, к холму, где стоял Мухаммед.

— Коня! — заревел шах.— Коня! И, не дожидаясь, пока его услышат, он проворно сбежал к подножию холма, где два конюха держали под уздцы гнедого жеребца с красным хвостом.

Шах вскочил на него и ринулся в степь. За ним устремились его приближенные, звеня доспехами, сбруей и бубенцами.

На холме остался смятый ковер с медными блюдами, золотыми чашками и рассыпавшимися сладостями. Ветер трепал конец пестрого шелкового дастархана. Только один из приближенных шаха не успел скрыться. Это был седобородый шейх-уль-ислам. Он свалился с коня, когда вся свита вскачь помчалась за Мухаммедом. Имам взобрался на холм, поправил ковер и опустился на колени. Порывшись в складках кисеи своего белоснежного тюрбана, он вытащил овальную золотую пластинку.

Когда к холму подскакали монголы, трое начальников и старый переводчик поднялись на его вершину. Один был молодой, с угрюмым лицом, черными глазами и узкой черной бородой. Конец ее был заплетен косичкой и закинут за левое ухо. Второй был старый, грузный и толстый монгол со скрюченной правой рукой. Лицо его было пересечено наискось багровым шрамом, отчего один глаз был зажмурен, а другой, выпученный, пытливо вглядывался во все окружающее. Третий был высокий, сухопарый, весь покрытый стальными латами. Это были старший сын Чингиз-хана Джучи и два уже прославившихся в Китае полководца—одноглазый Субудай-багатур и сухопарый Тохучар-нойон. Имам продолжал оставаться в молитвенной сосредоточенности, делая поклоны до земли. «Он — служитель бога»,— сказал переводчик. Имам встал, сложил руки на груди и, согнув спину, мелкими шажками подошел к одному из монголов.

— Уже три года я верный слуга повелителя вселенной Чингиз-хана,— смиренно сказал он и протянул монголу золотую пластинку.— Каждый месяц я посылал с караванами письма к начальнику первого монгольского поста на большом пути в Китай. Теперь я прошу взять меня на службу к себе в монгольское войско. Я не хочу возвращаться в Хорезм...

Переводчик перевел слова имама. Джучи-хан небрежно взял золотую пластинку...

— Маленькая пайцза с кречетом...— заметил он, продолжая внимательно наблюдать за степью, где по всем направлениям скакали всадники. Он вернул золотую пластинку шейх-уль-исламу и сказал:

— Нет! Ты нам нужен, пока ты греешься у сердца твоего государя. Поезжай обратно к твоему доверчивому шаху и посылай нам снова преданные письма.

И монголы тут же забыли об имаме. Схватка приближалась к холму. Туркмены Джелаль эд-Дина опрокинули монголов левого крыла, часть изрубили, остальных теснили в болото.

Все три монгольских начальника вскачь спустились с холма.

Бой продолжался до вечера. Туркмены и кара-китаи, перебросившись на левое крыло, атаковали монголов. Они бились отдельными отрядами. Монголы то рассыпались и, убегая, бросались в сторону, то внезапно поворачивали коней и стремительно нападали на преследовавших туркмен, чтобы снова после этого обратиться в бегство. С наступлением сумерек монголы разом умчались в свой лагерь.

Хорезм-шах вернулся на холм и провел там тревожную ночь. Вокруг улеглись кипчакские воины возле своих коней, привязав их арканами.

Вдали багровыми вспышками трепетало небо, отражая пламя монгольских костров. Огни пылали всю ночь. «Монголы готовятся к утреннему бою»,— говорили кипчаки. Со всех концов степи доносились стоны и призывы о помощи,— половина кипчакского войска ранеными и убитыми полегла в этой битве.

Джелаль эд-Дин убеждал хорезм-шаха:

— Отступать теперь, когда монголы не могли ничего поделать с нашим войском,— это погубить свою славу. Они сейчас укрепляются в лагере... Значит, нужно сейчас, этой ночью, подкрасться, напасть внезапно и их прикончить.

— Завтра я буду продолжать битву,— сказал Мухаммед, кутаясь в соболью шубу.

Когда косые лучи солнца побежали по степи и от холмов потянулись длинные тени, войско хорезм-шаха, снова выстроившись тремя частями, двинулось на монголов.

Но в их лагере, позади дымных костров, было пусто: в нем не оказалось ни одного монгольского воина. Валя-

лись только трупы зверски изрубленных меркитов, да ковыляло несколько хромых верблюдов.

Посланный вдогонку за монголами отряд туркмен вернулся к вечеру.

— Монголы так быстро уходили на восток, что мы видели только уносившееся вдаль облако пыли.

— Они хорошие воины, я никогда еще не видывал подобных! — сказал хорезм-шах и приказал своему войску повернуть коней обратно.

— Это были передовые разведчики,— сказал шаху Джелаль эд-Дин.— Они вернутся с огромным войском. Сейчас надо идти за ними, следить, выяснить, что они готовят, и самим спешно готовиться к войне...

— Ты рассуждаешь как неопытный юноша,— ответил Мухаммед.— Монголы никогда больше не решатся напасть на меня!..

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ВРАГИ НА ГРАНИЦЕ

Глава первая

МОНГОЛЬСКОЕ ВОЙСКО ГОТОВО К НАБЕГУ

Этот царь отличался крайней жестокостью, проницательным умом и победами.

(Из персидской сказки)

В верховьях Черного Иртыша, у подножья одинокого кургана среди зеленой степи, стоял желтый шелковый шатер. Он был отобран Чингиз-ханом у китайского императора. Позади шатра стояли две большие монгольские юрты, обтянутые белыми войлоками: в одной юрте жила последняя жена Чингиз-хана, молодая Кулан (дочь убитого монголами хана меркитов) вместе с маленьким сыном Кюльканом. В другой юрте помещались семь служанок — китайских рабынь.

Перед шатром на площадке горели огни на сложенных из камней жертвенниках. Между этими огнями должны были проходить все являвшиеся на поклон к великому кагану: «Огнем, как объясняли шаманы, очищаются преступные помыслы и отгоняются приносящие несчастье и болезни злые «дивы», вьющиеся невидимо вокруг злоумышленника».

Старый главный шаман Бэки и четыре молодых шамана в остроконечных войлочных шапках и белых просторных балахонах ходили вокруг жертвенников, похлопывая ладонями по большим бубнам и встряхивая погремушками. Среди завываний они выкрикивали молитвы и подбрасывали в огонь смолистые ветки и сушеные ароматные цветы.

С одной стороны шатра стоял привязанный к золотому приколу белый жеребец по имени «Сэтэр». У него были огненные глаза и серебристая белая шерсть по черной коже. Он никогда не знал седла, и ни один человек не садился на него. Во время походов Чингиз-хана — по объяснению шаманов — на этом белоснежном коне ехал невидимый могучий бог войны Сульдэ, покровитель войска монголов, и вел их к великим победам.

По другую сторону шатра был привязан всегда оседланный широкогрудый Нейман, любимый боевой конь Чингиз-хана, саврасый, с черными ногами и хвостом и черным ремнем вдоль хребта,— потомок диких степных лошадей.

Рядом с конем Сэтэром было прикреплено высокое бамбуковое древко со свернутым белым знаменем Чингиз-хана.

Вокруг кургана расположились дозором телохранители, «тургауды», в бронях и железных шлемах; они наблюдали, чтобы ни одно живое существо не приблизилось к шатру великого кагана. Только те, кто имел особые золотые пластинки — пайцзы — с изображением головы тигра, могли миновать заставы часовых тургаудов, чтобы подойти к кургану с желтым шелковым шатром.

Поодаль, в степи, широким кольцом рассыпались черные татарские юрты и рыжие шерстяные тангутские шатры. Это был личный «курень»[1] Чингиз-хана, стоянка тысячи избранных телохранителей — всадников на белых конях. В эту охрану входили только сыновья знатнейших ханов; из них каган выбирал наиболее сметливых и преданных и назначал начальниками отрядов.

А еще дальше раскинулись другие курени: они тянулись по равнине и уходили к покрытым густым лесом горам. Между куренями в степи паслись верблюды и табуны разношерстных коней. Конюхи с гиканьем скакали, размахивая арканами, и следили, чтобы кони разных табунов не смешались или не приблизились к косякам кобылиц с жеребятами.

Прежде чем двинуться на земли мусульман, монгольский владыка отправил в Бухару, к шаху Хорезма Мухаммеду, посольство с богатыми дарами. Во главе этого

---

[1] Курень — монгольское слово „Kurlen“ — означает круг юрт с юртой начальника кочевья в центре.

посольства он поставил преданного ему мусульманина Махмуд-Ялвача, богатого купца родом из Гурганджа, раньше посылавшего караваны из Средней Азии в Китай. Ему поручено было разузнать, что делается в западных землях, какие там войска и готов ли к войне шах Хорезма. Одновременно Чингиз-хан отправил туда много тайных лазутчиков.

Глава вторая

ПОСОЛЬСТВО ВОСТОЧНОГО ВЛАДЫКИ

В складках их одежд еще сохранился аромат цветов далеких стран.

(Из персидской сказки)

Разгромленный Самарканд сделался временной столицей последнего шаха Хорезма. В ознаменование своей победы над вольнолюбивыми самаркандцами Мухаммед выстроил там высокую мечеть и приступил к постройке большого дворца. Он продолжал считать себя великим завоевателем, который, подобно Искендеру Двурогому, должен двинуться с войском преданных ему кипчаков до конца вселенной и раздвинуть границы владений хорезмшахов до Последнего моря[1], за которым начинается мрак. Он считал своим главным и опасным противником багдадского халифа Насира, не пожелавшего уступить Мухаммеду звания главы всех мусульман. Сперва надо было разгромить Насира и вонзить конец копья в священную землю Багдада перед его главной мечетью, а потом повернуть коня и двинуться на восток, чтобы завоевать отдаленный, прославленный своими богатствами Китай.

Мухаммед собрал большое войско. Развернув зеленое знамя, он направился через Иран в Багдад, столицу арабских халифов.

Однако вскоре передовая часть шахского войска, не имевшая теплых одежд, погибла в горах Ирана, захваченная снежной метелью; потеряв силы, она была вырезана нечестивыми курдами. Это несчастье остановило Мухаммеда, и он стал сомневаться в необходимости войны с халифом. «Не гнев ли это божий?»— думал он и вернулся в

---

[1] В ту пору земля считалась островом, окруженным беспредельным морем.

Бухару, где временно «поставил свой посох странствования».

Сюда осенью года Зайца (1219) прибыло большое посольство от Чингиз-хана, великого кагана монголов, татар, китайцев и других народов, обитающих на востоке. Хорезм-шах снова должен был заняться татарами.

К высоким воротам шахского дворца подъехали на пегих степных конях послы Чингиз-хана — три мусульманина из числа богатейших купцов, ежегодно посылавших караваны с товарами из Хорезма в разные концы Азии. Эти купцы родом из трех больших городов — Гурганджа, Бухары и Отрара[1] — давно находились на службе у Чингиз-хана. Такие богатые купцы обычно составляли торговые компании и принимали деньги от вкладчиков, желавших испытать счастье в торговле. Приказы их о выплате денег по торговым сделкам на огромные суммы исполнялись всюду без задержки как на отдаленном востоке, так и на крайнем западе, а платежи по ним шли быстрее, чем поступление податей в казну правителей.

Подарки хорезм-шаху Мухаммеду были привезены на сотне верблюдов и на одной ярко раскрашенной арбе, запряженной двумя длинношерстными яками. Народ стоял на улице густой толпой от загородного дворца, предоставленного для посольства, и до ворот шахского Арка. Нарядные приказчики этих купцов, одетые в одинаковые халаты из китайского шелка, снимали с верблюдов вьюки, развязывали их и переносили необычайные редкие подарки в приемную залу дворца.

Среди подарков были слитки ценных металлов невиданного цвета, рога носорогов, мешочки с мускусом, красные и розовые кораллы, резные чашечки из яшмы и нефрита, куски драгоценной материи «таргу», сотканной из шерсти белых верблюдов, подносимой только ханам; шел-

---

[1] Город Отрар — до нашествия монголов был одним из крупнейших городов Средней Азии. В 1219 году он был разрушен Чингиз-ханом, жители истреблены почти поголовно. Впоследствии он был возобновлен, и его имя встречается в истории Средней Азии, но он не мог уже достигнуть прежнего многолюдства и богатства. Теперь это огромная масса валов и бугров, под которыми погребены развалины постепенно угасавшего города. Эти развалины находятся близ станции Тимур Оренбург-Ташкентской железной дороги.

ковые материи, шитые золотом, куски тонкой и прозрачной, как паутина, ткани. Наконец приказчики внесли огромный кусок золота из китайских гор, величиной с шею верблюда. Это золото привезли на арбе, запряженной яками.

Хорезм-шах принял послов, сидя на высоком старинном троне султана Османа, последнего из рода Караханидов. Шах был в парчовой одежде, как и окружавшая его свита; он сидел задумчивый и равнодушный, с полузакрытыми веками. Взгляд его блуждал далеко, поверх голов собравшихся. Рядом с троном стоял великий визирь и теснились другие высшие сановники государства.

Три посла, поклонившись до земли, опустились на колени и рассказали причину их приезда. Старший посол, высокий и полный Махмуд-Ялвач, начал:

— Великий Чингиз-хан, повелитель всех монголов, отправил наше чрезвычайное посольство, чтобы завязать узлы дружбы, мира и доброжелательного соседства. Великий каган посылает хорезм-шаху подарки и свои приветствия и поручил нам заявить такие его слова...— Махмуд-Ялвач передал другому послу пергаментный свиток, к которому белым шнуром была прикреплена синяя восковая печать.

Второй посол, Али Ходжа ал-Бухари́, прочел:

«Я не лишен сведений ни о высокой степени твоего сана, ни о великих размерах твоего могущественного царства. Я уведомлен о том, что твое шахское величие почитается в большей части государств вселенной. Поэтому я считаю своим долгом укрепить связи дружбы с тобой, шах Хорезма, ибо ты для меня столь же дорог, как любимый сын[1] из моих сыновей...»

— Сын? Как ты сказал — сын?!— воскликнул, очнувшись, шах. Он положил ладонь на костяную рукоятку

[1] По восточным понятиям того времени, правитель одного государства мог назвать сыном только такого другого правителя, который находился к нему в подчиненной, вассальной зависимости.

кинжала за поясом и, пригнувшись, впился глазами в говорившего.

«...Равным образом ты знаешь,— продолжал невозмутимо посол,— что я покорил царство китайское, захватив его главную северную столицу, а также присоединил ту часть земель, которая лежит по соседству с твоими владениями...»

Шах покачал головой и начал наматывать на палец с алмазным перстнем черный завиток бороды.

«...Ты лучше, чем кто-либо, знаешь, что принадлежащие мне земли являются лагерями моих непобедимых воинов и полны серебряных рудников. Мои обширные земли производят в изобилии всякие продукты. Поэтому для меня нет никакой нужды отправляться за мои пределы с целью добывать себе добычу. Великий шах, если ты признаешь полезным, чтобы каждый из нас открыл свободный доступ в свои земли купцам другой страны, то это будет выгодным для нас обоих, и мы оба найдем в этом большое удовлетворение».

Все три посла молча ожидали ответа повелителя западных мусульманских стран на письмо владыки кочевого востока. Хорезм-шах продолжал сидеть неподвижно. Взглянув на великого визиря, он лениво махнул рукой, украшенной золотыми браслетами.

Великий визирь торжественно принял послание Чингиз-хана. Он поднял глаза на Мухаммеда, и тот снова махнул рукой, точно отгоняя надоедливую муху. Тогда визирь, наклонившись, тихо сказал старшему послу Махмуд-Ялвачу:

— Высочайший прием окончен. Падишах будет теперь оказывать высокую милость другим, принимая неотложных просителей.

Три посла встали и, не поворачиваясь, почтительно попятились назад к входной двери, затем вышли в следующую приемную. Здесь их нагнал визирь и шепнул Махмуд-Ялвачу:

— Жди меня в полночь!

Глава третья

НОЧНАЯ БЕСЕДА ШАХА С ПОСЛОМ

> Не говори, что силен, — нарвешься на более сильного. Не говори, что хитер, — нарвешься на более хитрого.
>
> (*Киргизская пословица*)

Ночью молчаливый слуга вывел Махмуд-Ялвача из загородного дворца, где остановились монгольские послы. Верховые кони ждали под старым платаном. В лунном свете Махмуд-Ялвач узнал среди всадников великого визиря.

— Ты последуешь за мной,— сказал он.— Садись на коня.

Они проехали темными переулками через всю затихшую Бухару и остановились около глухой стены с железной дверью. На условный стук дверь бесшумно приоткрылась. Там стоял мрачный воин в кольчуге и шлеме, и в лунном свете он казался вылитым из серебра. Махмуд-Ялвач, следуя за визирем, прошел сад с бассейнами, где дремали лебеди и в беседках над водой слышался шепот женских голосов.

Он поднялся на террасу причудливой беседки. За тяжелой занавесью оказалась маленькая комната, обитая узорчатыми тканями. В высоких серебряных подсвечниках, потрескивая, горели толстые восковые свечи. На шелковых подушках сидел шах Мухаммед в пестром халате из кашмирской шали.

— Сядь поближе!— сказал шах, выслушав приветствия гостя.— Я хочу поговорить с тобой наедине о важных для меня делах. Ты числишься моим подданным — ведь ты родом из Хорезма, из моего города Гурганджа? Ты правоверный мусульманин, а не какой-нибудь нечестивый язычник, и ты должен сейчас же мне доказать, что ты душою, разумом и делами находишься на стороне всех правоверных, а не продался врагам ислама.

— Это все верно, мой падишах! Я родом из Гурганджа,— ответил Махмуд-Ялвач, опускаясь на колени у ног Мухаммеда.— Я слушаю почтительно и с робостью слова шахского величества и рад послужить всей моей жизнью правителю земель ислама.

— Если ты будешь правдиво отвечать на все мои во-

просы, то я щедро награжу тебя. Вот залог того, что мое обещание будет исполнено.— Шах вырвал из золотого браслета большую жемчужину и протянул ее послу.— Но помни, что если ты окажешься лгуном и предателем, то уже завтра не увидишь солнца.

— Что я должен сделать? Я повинуюсь, падишах!

— Я хочу через тебя все разузнать о татарском кагане Чингиз-хане. Я хочу, чтобы ты сделался при нем моим глазом и моим ухом. Я хочу, чтобы ты присылал мне с верным человеком письма, спешно извещая, что делает Чингиз-хан, что он замыслил, куда готовит поход. Поклянись, что ты это выполнишь!

— Аллах свидетель, что я служу и буду служить тебе, мой падишах!— сказал Махмуд-Ялвач и коснулся руками бороды.

— Ты пробудешь здесь еще сутки, чтобы рассказать моему летописцу Мирзе-Юсуфу все, что ты знаешь о Чингиз-хане: откуда он явился, какие он вел войны и как он стал владыкой всех татар.

— Я это расскажу, мой государь!

— Чингиз-хан утверждает, будто он теперь повелитель могущественного Китая и что он захватил даже его столицу. Действительно ли это так, или все это пустое хвастовство?

— Клянусь, что это сама истина!— ответил Махмуд.— Дело такой великой важности не может остаться тайным. Скоро, государь, ты убедишься, что все это правда.

— Положим даже, что это так,— сказал шах.— Но ты знаешь огромные размеры моих владений и сколь многочисленны мои войска? Как же этот хвастун, язычник-скотовод, осмелился назвать меня, могучего повелителя всех мусульман, своим сыном?..— Шах схватил сильными руками посла за плечи и притянул к себе, впиваясь пристальным взглядом.— Говори сейчас, как сильна его армия?

Махмуд почувствовал скрытую ярость в речи хорезмшаха. Боясь его гнева и казни, он сложил руки на груди и отвечал с почтительной кротостью:

— По сравнению с твоими несметными победоносными войсками войско Чингиз-хана не более чем струйка дыма во мраке ночи!..

— Верно! -- воскликнул шах и оттолкнул посла.— Войска мои и бесчисленны и непобедимы! Об этом знает

вселенная, и ты хорошо мне все это объяснил... Через день ты получишь мое ответное письмо к татарскому падишаху. А тебе и твоим монгольским товарищам по торговле я дам все льготы и преимущества как для продажи и покупки товаров, так и для свободного проезда по мусульманским землям. Сейчас ты пойди с моим векилем; он проведет тебя в круглую комнату, где ждет мой летописец, старый Мирза-Юсуф.

Хорезм-шах закивал милостиво головой и несколько раз ударил в ладоши.

Глава четвертая

ЧТО ПОСОЛ РАССКАЗАЛ О ЧИНГИЗ-ХАНЕ

> Не надо говорить плохо ни про кого в его отсутствие, ибо земля может передать ему все это.
>
> *(Восточная поговорка)*

Векиль предложил монгольскому послу следовать за ним и провел его кривыми и запутанными переходами дворца в круглую комнату с высоким куполом. Около стен стояли черные сундуки, окованные железом. В узких нишах на полочках лежали запыленные бумажные свитки.

«Шахская библиотека!» — решил Махмуд-Ялвач и несколько успокоился. Он ожидал попасть в сырой подвал на допрос с пытками.

На ковре сидел сухой, согнувшийся старик с белоснежной бородой и красными, слезящимися глазами. Рядом с ним склонился над пачкой бумаг молодой писарь с миловидным, нежным лицом, похожий на девушку.

Векиль, сославшись на срочные обязанности, удалился.

Посол, высокий, дородный, в искусно закрученном тюрбане и красном шелковом халате, оставив при входе зеленые туфли, степенно подошел к старику, поднявшемуся со словами привета. После его приглашения посол опустился на колени. Оба прошептали молитву, провели ладонями по бороде и обменялись вопросами о здоровье.

Посол заговорил:

— Великий падишах приказал мне рассказать тебе все, что я знаю о татарском владыке. При нем я обычно нахожусь переводчиком, а сейчас исполняю обязанности посла...

— Я тебя с усерднейшим вниманием слушаю, наш почтенный и редкий гость. Мне мой великий падишах приказал то же самое: узнать от тебя полезные для нашей родины сведения и вписать все услышанное в дворцовую тайную книгу летописей.

Махмуд-Ялвач опустил глаза и оставался некоторое время безмолвным. «Все, что я скажу,— думал он,— через несколько дней будет известно всем дворцовым сплетникам. Как избегнуть опасности и со стороны шаха, который разгневается, если я не скажу ничего важного, и со стороны великого кагана татар, который узнает об этой ночной беседе? Лазутчики Чингиз-хана уже проникли всюду...»

Посол, сделав грустное, озабоченное лицо, начал перебирать перламутровые четки, намотанные на левую руку.

— Я расскажу про многие вещи, от которых отрекается разум,— сказал он. — Так далеки они от всего привычного. Часто я сам не верю истине этих рассказов... Но если я скажу, что все они ложь, то все же ты захочешь узнать, что это за ложь? Поэтому я буду говорить то, что я слышал. Все люди ошибаются. Если кто-нибудь станет утверждать, что он достиг непогрешимости, то с ним нечего и разговаривать!..

Махмуд-Ялвач остановился и, подняв брови, следил с удивлением, как быстро записывал его слова молодой писарь. Тростниковое перо легко бегало по листу бумаги, и слово за словом ложилось ровной строкой, начертанное красивой арабской вязью.

— Зачем этот юноша записывает все? Ведь я еще ничего не начал говорить о татарах!

— Это не юноша,— ответил летописец Мирза-Юсуф.— Это девушка Бент-Занкиджá... Я стал слепнуть, и рука у меня дрожит. Но мне стала помогать внучка. Она так легко и красиво пишет, точно лучший арабский каллиграф. Но я не уверен, что эта девушка надолго останется моей помощницей. Она уже сочиняет песни про «радость черных глаз» и про «родинку на щеке», поэтому я боюсь, что она скоро покинет меня... Тогда мне придется

сложить руки на груди и лечь лицом к «священному камню»[1]...

— Я не оставлю тебя, дедушка!— сказала она, не поднимая глаз и продолжая писать.

Старик снова обратился к послу:

— Падишах обещает тебе высокую награду за все, что ты скажешь, за все важное, что нам полезно знать. Было бы прискорбно, если бы из-за нашей беспечности страна ислама вдруг подверглась нападению сильных врагов! Ведь ты правоверный, как и все мы! Сумеешь ли ты вовремя предостеречь нас? Великая награда ожидает тебя...

— Мне ничего не нужно!— сказал посол, вздыхая.— Пусть наградой за все понесенные мною труды в скитаньях по вселенной будут молитвы за меня благочестивых правоверных, дабы в день последнего суда я проснулся в ряду воскресших праведников!

Насмешливая улыбка скользнула по устам девушки. Она вскинула недоверчивый взгляд на посла, на его упитанное тело и руки с золотыми перстнями. Посол молчал, обдумывая каждое слово.

— Да будет так!— сочувственно сказал старый летописец.

Тощий слуга-раб с длинными седыми волосами принес серебряный поднос с различными сластями и поставил перед гостем. Он налил из глиняного кувшина темнокрасного вина в серебряную чашу.

— Испробуй старого вина из дворцового подвала,— сказал летописец.— Первое, что нам важно знать,— что за народ монголы и татары? Где они живут? Сколько их? Какие они воины? Они появились на нашей границе так внезапно, точно страшные яджуджи и маджуджи, выброшенные из огненного чрева земли лукавым Иблисом[2].

Посол стал объяснять:

— И монголы и татары — степняки; живут они рядом, в восточных отдаленных странах, и неспособны к оседлой жизни. Их обширные земли представляют пустыню, трaвообильную и маловодную, пригодную коню, барану и

[1] Священный камень — большой черный метеорит, сохраняемый в религиозном центре мусульман — Мекке — и почитаемый паломниками, как будто он имеет чудодейственную силу.

[2] Иблис — дух зла, коварства и тьмы, упоминается в Коране.

верблюду, потому что этот скот потребляет много травы и мало воды...

Летописец прервал посла.

— Нам важно знать, опасны ли они для нас как войско?

— Я был бы предателем ислама и подлым лгуном, если бы сказал, что монголы и татары менее опасны для соседей, чем страшные яджуджи и маджуджи...

— Да спасет нас аллах!— воскликнул старик Мирза-Юсуф.

— Они природные воины, сто лет они враждуют друг с другом, одно племя против другого племени... Сегодня какой-нибудь татарский хан имеет тысячу лошадей, огромное стадо баранов и сотню полуголых пастухов, всегда недовольных, всегда голодных, потому что у каждого пастуха есть голодная жена и голодные дети... Когда хан видит, что его пастухам стало невтерпеж и они рычат, как звери, он им приказывает: «Идем войной на соседнее племя! Мы вернемся сытыми и богатыми!» Хан отправляется со своими пастухами в поход... А резня кончается тем, что иногда этого хана с колодкой на шее продают вместе с его скотом и пастухами по четыре дирхема за голову, а покупает их третье соседнее племя или купцы, скупщики рабов...

— Для чего ты все это рассказываешь? — укоризненно сказал летописец. — Нам важно знать не о рабах или других таких мелочах, а о войске татарского хана, об его оружии, о числе и о военных качествах его воинов!

Посол не торопясь отпил вина.

— Для того чтобы пройти к горе, — сказал он, — иногда приходится сперва обойти встречные реки, озера и солончаки...

— Почтенный гость, расскажи нам сперва не о солончаках, а о татарском падишахе.

— Хорошее, душистое вино в подвалах хорезм-шаха! — невозмутимо продолжал Махмуд-Ялвач. — Желаю царствовать ему без горя до конца жизни... Среди воинственных татарских ханов один, по имени Темучин, отличался особой удачей в битвах, жестокостью к врагам, щедростью к сторонникам и стремительностью в нападениях. Этот хан Темучин раньше видел немало бедствий. Рассказывают, что юношей Темучину пришлось быть даже рабом и с деревянной колодкой на шее исполнять са-

мые тяжелые работы в кузнице враждебного племени[1]. Но он бежал оттуда, убив своей цепью сторожа, и потом много лет провел в войнах, стремясь к власти над другими ханами... Ему было уже пятьдесят лет, когда ханы провозгласили его великим каганом и подняли на «белом войлоке почета» в надежде, что Темучин будет исполнять желания знатнейших ханов... Но Темучин подчинил всех своей воле, избрал себе новое имя — «Чингиз-хан», что значит «посланный небом», разгромил и обратил в рабство непокорные племена, а их вождей сварил живыми в котлах...

— Как это ужасно! — вздохнул летописец.— Но ты рассказываешь страшные сказки, а не говоришь о войске великого владыки татар!

Посол выпил еще чашу вина, и летописец уже посматривал на него с боязнью. «Дворцовое вино крепкое... Успеет ли посол рассказать все, что нужно хорезм-шаху, или заснет?» А тощий старый слуга опять подлил вина в серебряную чашу.

— Я именно говорю о войске, — спокойно возразил посол.— С того дня, как Чингиз-хан был объявлен великим каганом, все татары, раньше враждовавшие, стали его единым покорным войском. Он сам разделил татар на тысячи, сотни и десятки и сам назначил над ними своих тысяцких, сотников и десятских, отвергнув родовых ханов, если он им не доверял. Он также провозгласил через гонцов новый закон, что ни один кочевник не смеет враждовать с другим кочевником, грабить или обманывать другого кочевника, за каждый такой проступок последует от него одно наказание — смерть!

— А разрешает ли закон Чингиз-хана грабить и обманывать людей другого, не татарского, племени?

— Разумеется! — сказал посол. — Это даже считается у них особой доблестью: ограбить, обворовать или убить человека другого, не татарского, племени.

— Понимаю, — прошептал летописец. — А что сказали простые скотоводы? Уменьшился ли их голод?

— Чингиз-хан провозгласил, что подчиненные ему племена составляют единственный во вселенной, избран-

---

[1] В юности Чингиз-хан жил в бедности и лишениях, был захвачен в плен соседним племенем и провел три года в тяжелом рабстве.

ный небом народ, что они будут носить отныне имя «монголы», что означает «побеждающие»... Все же остальные народы на земле должны стать рабами монголов. Непокорные ему племена Чингиз-хан вычистит с равнины земли, как сорные, вредные травы, и останутся жить одни монголы.

Летописец всплеснул руками.

— Значит ли это, что татарский каган и к нашей границе пришел с требованием, чтобы правоверные ему подчинились? Но у нашего падишаха огромное войско смелых воинов, которые сражаются, как львы, под священным зеленым знаменем ислама... Ведь это безумие, это детская сказка думать, что такое доблестное мусульманское войско, такой прославленный полководец, как хорезм-шах Алла эд-Дин Мухаммед, покорятся безумному хану простых скотоводов! Священная тень самого пророка витает над нашим войском и ведет его к победам!

Посол сложил пухлые руки на грузном животе, вздохнул и закрыл глаза.

— Я же предупреждал тебя, что ты назовешь мои рассказы баснями и сказками!

— Нет, нет, почтенный гость! Говори дальше! Я слушаю тебя, хотя слишком необычно, невероятно все, что ты говоришь.

Посол выпрямился. Девушка заметила, что глаза его горели умом и бодростью, но он снова как будто устало закрыл их и вяло продолжал:

— Татарский каган видел, что жадность ханов не уменьшилась, что голод и нужда простых пастухов усилились, что татарский народ накопил силу, которую он раньше тратил бесплодно во взаимной резне... Поэтому, чтобы простые скотоводы не пошли против своих ханов, Чингиз-хан решил направить эту накопленную силу в другую сторону... Он созвал курултай (совет) знатнейших ханов и сказал им: «Вам скоро предстоит великий поход. Вы вернетесь с войны увешанные золотом, гоня табуны коней, стада скота и толпу искуснейших рабов. Я досыта накормлю беднейших пастухов, я оберну их животы драгоценным шелком, каждому дам несколько пленниц... Мы покорим богатейшую страну, и все вы вернетесь такими богачами, что у вас не хватит вьючного скота, чтобы притащить добычу к вашим юртам...» Вес-

ной, когда степь зазеленела хорошим подножным кормом, Чингиз-хан повел конное голодное войско на древний богатый Китай... Он разметал встречные китайские войска, он носился, как буря, по стране, обратил в золу и пепел тысячу китайских городов, и только через три года войны, покорив половину Китая, отягченный безмерной добычей, он вернулся в свои степные кочевья...

— Да хранит нас аллах от этого!— прошептал летописец.

— Все, что я сказал, опять кажется тебе сказкой, а между тем все это правда!

— Скажи, пожалуйста, почтенный Махмуд-Ялвач, какой с виду этот необычайный полководец Чингиз-хан?

— Он высокого роста, и хотя ему уже больше шестидесяти лет, он еще очень силен. Тяжелыми шагами и неуклюжими ухватками он похож на медведя, хитростью — на лисицу, злобой — на змею, стремительностью — на барса, неутомимостью — на верблюда, а щедростью к тем, кого он хочет наградить,— на кровожадную тигрицу, ласкающую своих тигрят. У него высокий лоб, длинная узкая борода и желтые немигающие глаза, как у кошки. Все ханы и простые воины боятся его больше пожара или грома, а если он прикажет десяти воинам напасть на тысячу врагов, то воины бросятся, не задумываясь, так как они верят, что победят,— Чингиз-хан всегда одерживает победы...

— Я прожил много лет,— сказал летописец,— и видел много славных, храбрых полководцев, но таких людей, как ты описываешь, мне встречать не приходилось... Очень похожа на сказку твоя речь... Объясни мне, если можешь, почему татарский каган, сделав богатым каждого пастуха, теперь вдруг сам оказался на нашей границе, так далеко от своей родины?

Посол допил чашу вина, снова закрыл глаза и сильно покачнулся. Летописец сделал строгие глаза и погрозил слуге, желавшему налить еще. Но посол очнулся и, видя пустую серебряную чашу, сделал слуге знак, и тот снова налил до краев темно-красного вина.

— Не удивляйся, что я пью так много! Ни ты, почтенный Мирза-Юсуф, ни твоя юная помощница не выпили ни капли, значит, мне остается одному пить за троих...

Махмуд продолжал, держа чашу в руках и слегка покачиваясь:

— Великий каган отдыхал в своих кочевьях три года. Половину войска он оставил в Китае, где народ продолжает до сих пор защищать родину. А вторую половину войска он сам повел на запад через пустыни и горы...

Летописец закрыл руками уши и застонал.

— Я предчувствую ужасное!..

Посол продолжал:

— Жадность ханов и голод простых кочевников чрезмерны. Воины жаловались, что ханы забрали себе лучшие добычи, что беднякам достались отбросы. Тогда Чингиз-хан решил увести воинов подальше, чтобы они снова не стали резать друг друга и своих ханов...

— Сколь велико теперь татарское войско?

Посол сказал сонным, вялым голосом:

— Чингиз-хан повел на запад одиннадцать туменов (корпусов). В каждом тумене — десять тысяч конных татар. Каждый всадник ведет с собой второго запасного коня, а то и двух...

— Значит, у татарского кагана всего сто десять тысяч всадников?!— воскликнул летописец.— А у нашего падишаха воинов в четыре раза больше!.. Если же он поднимет на священную войну все наши племена, то огромное войско ислама окажется совершенно неодолимым!

— Разве не то же самое я говорил его величеству, хорезм-шаху Алла эд-Дину Мухаммеду? Татарское войско перед войском падишаха Мухаммеда — царствовать ему сто двадцать лет!— все равно, что струйка дыма в темную ночь!.. Правда, по пути, во время похода на запад, к татарскому войску присоединились все степные бродяги: и уйгуры, и алтайцы, и киргизы, и кара-китаи, так что татарское войско Чингиз-хана быстро увеличилось и разбухло... Это не сказка!

Посол покачнулся, оперся руками о ковер и растянулся. Девушка подложила ему под голову зеленую сафьяновую подушку и сказала шепотом на ухо старику Мирзе-Юсуфу:

— Он хитрая лисица! Он не хочет сказать правду...

— Таковы послы! Где ты найдешь прямодушного посла?

Вошел векиль. Все долго, бесшумно сидели, выжидая и не зная, что делать со спящим послом.

Махмуд-Ялвач внезапно очнулся и разом поднялся, бормоча извинения:

— Что я вам наговорил спьяну, сам не помню! Напрасно вы все это записали. Сожгите эти записки!..

Векиль провел посла обратно узкими темными переходами дворца к глухой калитке сада, где ожидали верховые лошади. Джигиты с трудом посадили в седло качавшегося Махмуд-Ялвача. В предрассветных сумерках всадники проехали безмолвными улицами спящей Бухары и прибыли в загородный дворец шаха.

Через день, получив ответное письмо из рук шаха Мухаммеда, татарское посольство отправилось обратно на восток, в лагерь великого кагана всех татар.

Глава пятая

ВЕЛИКИЙ КАГАН СЛУШАЕТ ДОНЕСЕНИЕ

> Чингиз-хан отличался высоким ростом и крепким телосложением. Имел кошачьи глаза.
>
> *(Историк Джузджани, XIII в.)*

Три всадника быстро ехали по дорожке между татарскими юртами. Их шерстяные плащи развевались, как крылья дерущихся орлов. Двое часовых скрестили копья. Всадники сошли с коней, сбросив на белый песок запыленные плащи.

Один из прибывших, оправляя красный полосатый халат, воскликнул:

— Да будет благословенно имя кагана. Донесение особой важности!

Из ближайшей юрты уже бежали два нукера в синих шубах с красными нашивками на рукавах.

— Мы прибыли из западной страны, куда ездили послами от великого кагана. Скажи о нашем приезде. Я посол Махмуд-Ялвач.

В желтом шатре приоткрылась шелковая занавеска, и оттуда прозвучал приказ. Восемь часовых на дорожке к шатру один за другим повторили:

— Великий каган приказал: «Пусть идут».

Трое прибывших склонились; скрестив руки на груди, они направились к шатру. Слуга-китаец пропустил их;

они вошли внутрь, не поднимая головы, и опустились на ковер.

— Говори!— произнес низкий голос.

Махмуд-Ялвач поднял глаза. Он увидел строгое темное лицо с жесткой рыжей бородой. Две седые, скрученные в узлы косы падали на широкие плечи. Из-под лакированной черной шапки с огромным изумрудом пристально всматривались зеленовато-желтые глаза.

— Шах Хорезма Алла эд-Дин Мухаммед очень додоволен твоими подарками и предложением дружбы. Он охотно согласился дать всякие льготы твоим купцам. Но он разгневался...

— Что я назвал его сыном?

— Ты великий, как всегда, угадал. Шах пришел в такую ярость, что моя голова уже слабо держалась на плечах.

Глаза кагана зажмурились и протянулись узкими щелками.

— Ты уже думал, что тебе будет так?— И каган провел толстым пальцем черту по воздуху.

Этого жеста боялись все: так Чингиз-хан осуждал на казнь.

— Я успокоил гнев шаха Хорезма, и он посылает тебе салям и письмо.

— Ты успокоил его гнев? Чем?— Голос прозвучал недоверчиво. Глаза всматривались то расширяясь, то сужаясь.

Махмуд-Ялвач стал подробно рассказывать о приеме у шаха Мухаммеда и о том, как ночью к нему прибыл великий визирь и вызвал для тайной беседы. Говоря это, он положил на широкую ладонь Чингиз-хана жемчужину, полученную от хорезм-шаха, и подробно изложил все, о чем говорил с Мухаммедом.

Махмуд-Ялвач чувствовал, не подымая глаз, что каган пристально всматривается в него и старается проникнуть в его затаенные помыслы.

— Это все, что ты услышал?

— Если я что-либо забыл, прости меня, неспособного!

Послышалось сипение: каган был доволен. Он ударил тяжелой рукой по плечу Махмуд-Ялвача.

— Ты хитрый мусульманин, Махмуд. Ты неплохо сказал, будто мое войско похоже на струйку дыма во

мраке черной ночи. Пусть шах так и думает! Вечером приходите все трое ко мне на обед.

Послы вышли из шатра.

Каган встал, высокий, сутулый, в черной одежде из грубой парусины, перетянутой широким золотым поясом. Тяжело ступая большими косолапыми ступнями в белых замшевых сапогах, он прошел по шатру, приоткрыл занавеску и следил, как три посла в белых тюрбанах и пестрых халатах садились на запыленных коней и медленно отъезжали.

— Время «великого приказания» (выступления в поход) приблизилось. Я подожду «счастливой луны».

Глава шестая

БЕСПОКОЙНАЯ НОЧЬ ЧИНГИЗ-ХАНА

Чингиз-хан не любил спать на лежанках, подогреваемых длинным дымоходом, на каких спали изнеженные китайцы, или на пуховиках, обычных у мусульманских купцов. Каган любил чувствовать под своим боком твердую землю, и китайский старый слуга подстилал ему на ковре только сложенный вдвое кусок хорошо укатанного толстого войлока.

Обычно каган сразу засыпал. Он часто видел сны и заставлял шаманов или мудрого своего советника китайца Елю-Чу-Цая[1] объяснять, что эти сны предсказывают, но их объяснениям не всегда доверял, а поступал так, как считал для себя наилучшим. Проснувшись на рассвете, лежа под теплой собольей шубой, каган думал о десятках тысяч своих воинов и коней, о лучшем пути, на котором население сможет прокормить его ненасытную армию, о содержании оставленных в Монголии его

[1] В Китае во время завоевания столицы Чингиз-хану представили Елю-Чу-Цая, потомка раньше царствовавшей династии Киданей. Елю-Чу-Цай славился своим образованием, стихами, знанием китайских законов и придворных церемониалов. Суеверному Чингиз-хану он больше всего понравился как астролог и предсказатель будущего по звездам. Чингиз-хан назначил Елю-Чу-Цая своим главным советником по управлению покоренными землями, и Елю-Чу-Цай сделался выдающимся деятелем Монгольской империи. Он отличался нетребовательностью в личной жизни, честностью и умением успокаивать гнев Чингиз-хана. После смерти у Елю-Чу-Цая не нашли никакого богатства — только книги и астрономические приборы.

пятисот жен с их детьми, рабынями и слугами. Думал он еще о донесениях многочисленных лазутчиков, которых он заранее рассылал в те земли, куда готовил поход; думал и о своих сыновьях, ревнивых и завистливых друг к другу; думал о своих болях в ногах и суставах, думал и о смерти...

Каган раскрыл немигающие глаза без верхних ресниц и уставился в одну точку. Он смотрел в щель между полотнищами шатра. Синел уголок неба. Звезды уже померкли. Иногда чернела тень часового нукера, который сходил с места, потом медленно возвращался обратно.

Одна тяжелая мысль часто возвращалась к кагану. Накануне похода на запад старая толстая жена Чингизхана Буртэ сказала ему, как всегда, мудрые слова.

«Великий каган,— произнесла она, склонившись головой до земли и тяжело дыша,— ты пойдешь с войском за горы и пустыни, в неведомые страны, на страшные битвы с другими народами. Подумал ли ты о том, что вражеская стрела может пробить твое могучее сердце или меч иноземного воина разрубит твой стальной шлем? Если из-за этого случится ужасное и непоправимое (она думала, но не решалась сказать слово «смерть») и если вместо тебя на земле останется только твое священное имя, то которому из наших четырех сыновей ты прикажешь быть твоим наследником и владыкой вселенной? Объяви заранее твою волю всем, чтобы потом не возникло войны между нашими сыновьями и братоубийства».

До того дня никто не решался даже намекнуть ему о его старости, о том, что его дни, может быть, уже сочтены. Все твердили, что он великий, неизменный, незаменимый и что вселенная без него стоять не может. Одна только старая верная Буртэ осмелилась заговорить о смерти...

Или он в самом деле одряхлел? Нет, он еще покажет всем тайным завистникам, что может вскочить на неоседланного коня, поразить дикого кабана копьем на скаку и отвести руку убийцы, задушив его своими сильными пальцами. Он жестоко расправится со всеми, кто решится говорить о его слабости или старости...

Но мудрая, смелая Буртэ все-таки была права, сказав тогда о наследнике. Кого же из четырех сыновей назначит он своим преемником? Больше всех желает

смерти отца неукротимый и своевольный Джучи, старший сын. Ему теперь сорок лет, и он, наверное, жаждет вырвать у Чингиз-хана поводья царства, а отца посадить в юрту для дряхлых стариков. Поэтому он отослал сына Джучи подальше, в самый крайний угол своего царства, и приставил к нему тайных соглядатаев, чтобы они доносили о каждом вздохе и помысле Джучи...

Второй сын, Джагатай, больше хочет гибели своего брата и соперника Джучи, чем смерти отца. Пока оба ненавидят друг друга и борются, они не опасны. И он тогда же решил объявить своим наследником третьего сына, Угедэя; он мягкого и беспечного нрава, любит веселые пиры, охоту с соколами, скачки, он не станет рыть яму, чтобы столкнуть в нее отца. Таков же и младший, четвертый сын, Тули-хан. Они оба любят попойки, огонь властолюбия их не сжигает.

Поэтому, отправляясь в поход, Чингиз-хан объявил наследником престола третьего сына — Угедэя. Но этим он еще более озлобил двух старших сыновей, и ему постоянно приходится быть настороже, ожидать покушения, отравленной стрелы, пущенной из темноты, или удара копья сквозь занавеску шатра...

С тех пор обиженный Джучи находится постоянно вдали, впереди войска, во главе выделенного ему тумена. Он старается отличиться, привлечь к себе любовь воинов, он ищет славы. Он молод и силен... Хорошо быть молодым!..

Поворачиваясь с боку на бок, каган часто вспоминал слова старой толстой Буртэ и думал о своей смерти. Он думал о высоком кургане в степи, где проносятся легкие сайгаки[1] с загнутыми рожками, где высоко в небе медленно кружат орлы... В таких курганах покоятся останки великих богатырей. Самые могущественные владыки народов до сих пор всегда умирали. Но он, Чингиз-хан, могущественнее всех. Разве кто-либо до сих пор покорял такие обширные земли?.. Что такое смерть? Говорят, есть такие ученые лекари, волшебники и колдуны, которые знают камень, обращающий железо в золото. Они могут также приготовить напиток, возвращающий молодость, сварить из девяноста девяти трав драгоценное лекарство, дающее бессмертие...

---

[1] Сайгак — степной дикий козел.

Разве он, простой нукер Темучин, бывший раб с колодкой на шее, не был провозглашен на курултае[1] «посланником неба», Чингиз-ханом? Если синее небо вечно, то и он, его посланник, должен быть вечным. Пусть великий китайский советник Елю-Чу-Цай спешно, завтра же разошлет во все концы царства строгие приказы, чтобы в ставку кагана немедленно приехали самые ученые мудрецы, умеющие делать чудеса: и китайские даосы, и тибетские колдуны, и алтайские шаманы, и чтобы все они привезли с собой лекарства, дающие силу, молодость и бессмертие. За такие чудесные лекарства он, великий каган, выдаст им такую небывалую награду, какой еще не давал ни один владыка во всей вселенной...

Он долго не мог заснуть, ворочался и наконец уже стал дремать, как вдруг почувствовал легкую боль в большом пальце ноги. Что-то сильно его прищемило. Он не испугался. Он знал этот обычный у кочевников условный знак. Каган приподнял голову, но в темноте ничего не мог заметить. Он хорошо помнил этот знак: еще юношей он так же нажимал палец на ноге любимой невесты Буртэ, тогда тоненькой и юркой, как степной тушканчик. Тогда большой семьей все спали на разостланных войлоках в темной юрте ее сурового отца Дай-Сечена.

Кто сидит у его ног? Кто призывает его?

Осторожно протянул он руку и почувствовал под ладонью тонкий шелк одежды, сжавшуюся женскую фигуру, узкие плечи; на голове необычная прическа,— кто это? Он притянул ее к себе, и тихий шепот на ухо неправильной ломаной речью объяснял:

— Твоя Кюсюльтю, твоя желанная, Кулан-Хатун, приготовить умереть, твоя приходить... Твоя утешай... Твоя — солнце, Кюсюльтю — луна...

Это китаянка, служанка молодой жены Кулан-Хатун, которую он зовет «Кюсюльтю». Она бесшумно проскользнула в шатер, как мышь. Кулан призывает его.

Каган натянул просторные сапоги, выложенные внутри войлоком, осторожно прошел к выходу, стараясь не задеть двух сыновей, Угедэя и Тули, спавших рядом с ним, и вышел из шатра.

---

[1] К у р у л т а й — совет знатнейших феодалов правящего рода. Присутствовали также главные военачальники. Простые монголы на курултай не допускались.

Глава седьмая

В ЮРТЕ КУЛАН-ХАТУН

Увидишь — красавиц прекраснее нет!
Глаза у них узки, и схожи они
С глазами рассерженной рыси.

(Из монгольской песни)

Тихая ночь веяла холодом от снеговых гор. Луна скрылась за тяжелыми облаками. Кое-где тускло мерцали редкие звезды. Китаянка шла впереди, оставляя за собой нежный аромат цветущего жасмина.

Две тени поднялись с земли.

— Ха![1] Кто идет?

— «Черный Иртыш»...— прошептала китаянка.

— «Покоренная вселенная»,— ответил пароль часовой, и тени расступились.

Приближаясь к белой юрте, каган думал: «Какую новую причуду сегодня покажет Кюсюльтю? Каждый раз, когда он приходил к ней, отрываясь от бесед с военачальниками, она встречала его по-разному: то она была одета, как китаянка, в шелковой одежде, расшитой необыкновенными цветами, то лежала, охая, под собольим покрывалом, уверяя, что умирает, и просила положить его могучую руку на ее маленькое сердце, то сидела, обхватив голову руками и обливаясь слезами, слушая старую монголку, которая пела старинные монгольские песни про зеленые берега Керулена[2] и одинокое кочевье среди необозримой пустынной степи.

Китаянка подняла входную занавеску белой юрты, и каган шагнул внутрь. Посреди юрты горел костер из корней степного кустарника, и душистый дымок завитком подымался к отверстию круглой крыши. Кулан-Хатун сидела, обняв колени, уставившись неподвижными суженными глазами на прыгающие огоньки костра. Вместо обычных шелковых ковров на земле лежали три простых пестрых войлока. В стороне были собраны вьючные сумы, уже зашнурованные, готовые к дороге.

---

[1] Ха! — Стой!

[2] Керулен и Онон — притоки Аргуни, главные реки „коренной Монголии", на берегах которых прошла юность Чингизхана.

Каган остановился при входе. Веселые искры загорелись в его блестящих кошачьих глазах. «Вот она, новая причуда!»—подумал он.

Кулан-Хатун очнулась, провела ладонью по глазам с подчерненными, протянутыми до висков бровями. Она вскочила, закинула голову назад и упала ниц, обняв руками ноги кагана.

— Прости меня, великий, незаменимый, единственный во все века, что я потревожила твой сон, или твои думы, или военный совет. Но я не могу больше оставаться здесь. Отовсюду, из каждой щели грозит смерть и мне и моему маленькому сыну. Я хочу уехать нищей, с одной верной служанкой, и скитаться по степи, где меня никто не узнает.

— Но ты подожди немного, дай мне чашку китайского чая, а я посижу около тебя и послушаю, откуда и кто тебе грозит.

Каган обошел огонь и опустился на войлок. Куда делись шелковые ковры, устилавшие юрту? Где расшитые птицами и цветами занавески, висевшие раньше по стенам? Теперь — это юрта обыкновенного, простого кочевника, каким он сам был сорок лет назад.

Кулан опять собралась в комок и поглядывала на кагана злыми глазами рассерженной рыси. Рядом с ней лежал, свернувшись, ее маленький сын Кюлькан, голый, смуглый, с остриженной черной головой, с двумя косичками над ушами. Она заговорила тихо жалобным, певучим голосом:

— Я не могу надеяться ни на что, ни на какую защиту. У меня нет ни отца, ни матери, и из всех братьев остался один — он служит простым нукером, а раньше он имел бы тысячу нукеров. И мой брат тоже скоро погибнет.

— Почему он должен погибнуть?

— Все мы, меркиты, все наше несчастное племя погибло от мечей нукеров твоего сына с тигровыми глазами, неумолимого, безжалостного сына Джучи. Скоро он приедет сюда, и я буду видеть ненавистного убийцу моего отца и всего нашего рода. Зачем мне оставаться под скалой, которая готова упасть и раздавить меня? Отпусти меня! Все уже уложено для отъезда.

— Джучи-хан сюда не приедет. Он на берегах реки Иргиза готовится к новому походу. А я, еще живой,

держу на плечах управление вселенной. О какой иной защите, кроме моей, ты говоришь?

Кулан тонкими пальцами провела по глазам, вытирая катившиеся слезы.

— Твоего брата, Джемаль-Хаджи, я назначаю начальником шестой сотни моей тысячи нукеров. Завтра я скажу начальнику моей тысячи Чагану, что эта шестая сотня будет охранять и тебя, и твою юрту, и твоего маленького богатыря Кюлькана. Кто смеет бояться, находясь под защитой моей руки?

Кулан опустила глаза и сказала тихим дрожащим голосом:

— Тебе самому грозят стрелы...

— Какие стрелы? Говори, чьи стрелы?— Каган положил руку на плечо Кулан.

Она закусила губу, увернувшись, вырвалась и, вскочив, легко отбежала в сторону. Ее длинная черная коса метнулась по войлоку, как ускользавшая змея. Каган придавил ногой конец косы и повторял шепотом:

— Говори, кто готовит мне гибель?

Кулан спиной прижалась к решетке юрты.

— Великий, несравненный! Никакие народы, никакие войска не страшны тебе — ты разгромишь их, как порыв ветра уносит осенние листья. Но можешь ли ты уберечься от тайных врагов, которые сидят вместе с тобой в одном шатре, следуют за тобой и днем и ночью? Я одна тебе предана и люблю тебя, как могучую, прекрасную гору родного Алтая, покрытую сверкающим снегом. Ты один моя защита, а без тебя меня отбросят, как камешек на дороге. Разве я говорю неправду? Ведь ты все видишь, все понимаешь — и речь ветра, и стон иволги, и шипенье змеи. Ведь все верно, что я говорю?

— Все рассказывай, все, что знаешь,— хрипел каган, не выпуская косу.

Зеленые злорадные огоньки загорелись в глазах Кулан-Хатун.

— Старики в степи мудро придумали, что наследником, хранителем огня в юрте должен быть всегда самый младший из сыновей хана. Старшие сыновья подрастают и торопятся взять в руки поводья отцовского коня. Поэтому отец их выделяет и ставит им юрты подальше от своей — пусть сами ведут хозяйство. А пока младший маленький сынок подрастает, отец может спокойно пасти

свои табуны. Ты всех одарил, всех сыновей наделил улусами[1], почему же ты забыл сделать наследником твоего самого маленького сына, Кюлькана?

Каган выпустил косу, долго сопел, наконец сказал:

— Я оберегаю и мальчика и тебя... Поэтому я и не объявил его наследником. Монголы никогда не станут любить и слушаться сына меркитки.

Кулан бросилась на колени.

— А вот я не боюсь любить единственного и лучшего в мире, самого необычайного из людей, сына меркитки, тебя, мой повелитель, посланный самим небом, потому что твоя мать, великая Оелун, была не монгольского рода, а из моего племени меркитов.

Чингиз-хан, хрипя, поднялся.

— Да, ты сказала дельно! Об этом все забыли. И пусть не вспоминают... Твои слова я сохраню в моем сердце. Никуда не смей уезжать. Разложи опять ковры. После военных советов с нойонами я буду приходить к тебе, моя маленькая рысь, моя желанная, моя Кюсюльтю!

И каган, тяжело ступая, вышел из юрты.

Кулан встала и, сдвинув брови, медленно, в раздумье наматывала на руку свою длинную черную косу. Она позвала служанку. Китаянка крепко спала, прикорнув у стенки. Кулан разбудила ее ударом маленькой ноги и сказала:

— Грубиян! Чуть не сломал руку!.. Расстели опять ковры! Вплети еще пучок конского волоса в мою косу — дикарь чуть не оторвал ее! Завтра большой обед с иноземными послами. Достанешь китайское голубое платье, вышитое серебряными цветами...

Глава восьмая

КАГАН СЧИТАЕТ ПО ПАЛЬЦАМ

Каган, обдумывая то, что ему говорила «рассерженная рысь», тихо обходил курган. Перед ним снова поднялась тень. Они обменялись паролями: «Черный Иртыш!» — «Покоренная вселенная!» — Каган узнал в часовом своего старого нукера, сопровождавшего его во всех набегах.

---

[1] Улус — удел, область.

— Что услышал? Что увидел?

— Там, в далеких горах, много огней. Видишь точно ожерелье из звезд,— это костры жителей этой равнины, убежавших со своими стадами в горы. Они боятся нашего войска.

— А что между собой говорят нукеры?

— Говорят, что мы всех баранов доедаем, что кони объели всю траву и уж щиплют корни, что мечи просят крови. Поэтому говорят: великий каган мудрее нас, он все видит, все знает, скоро поведет нас туда, где всего вдоволь и нашему и конскому животу.

— Верно! Каган все видит, все знает, обо всем подумает. Побеги скорей к начальнику тысячи Чагану. Скажи, что мы приказываем сейчас же садиться на коня, взяв с собой шесть сотен.

— Сейчас побегу, мой хан!

— Постой! Скажи еще Чагану, что я буду загибать пальцы и ждать его здесь, на кургане, перед этой лужайкой.

Монгол, переваливаясь на кривых ногах, побежал вниз с холма, а каган, опустившись на пятки, неподвижна сидел, наставив большое ухо, и вслушивался в звуки, доносившиеся из темноты. Он стал про себя считать:— Раз, два, три, четыре... — и когда доходил до сотни, то загибал один палец.

Луна медленно катилась по небу, то заворачиваясь в облако, то снова выползая на темное небо, и тогда юрты нукеров, широким кольцом растянувшиеся вокруг холма, то виднелись, четкие и близкие, то уходили в тень от облака и темнели неясными пятнами.

Когда каган досчитал до двухсот и загнул второй палец, между юртами забегали тени, несколько нукеров вскачь помчались в туманную степь. По всему лагерю послышались гортанные крики:

— Тревога!

Каган продолжал неподвижно сидеть и спокойно считать третью сотню, затем четвертую... Издали послышался глухой гул, он все усиливался, и каган понимал, что это скачет табун в тысячу коней. Табун мчался все ближе и разом остановился у подножия холма. До кагана донесся острый запах лошадиного пота, и налетело облако пыли, на мгновение скрывшее весь лагерь.

Каган продолжал считать и загибать пальцы. Из та-

буна слышались визги и глухие удары лягавшихся коней. Низким хриплым голосом каган проревел:

— Чаган! Ойе, Чаган!

— Ойе, слушаю!— протяжно из темноты долетел ответ.

— Я загнул уже шесть пальцев! Зачем медлишь?

— Загни еще два, и мы все будем на конях!

Луна опять выплыла из тучи и ярким светом озарила круг между юртами, куда отовсюду бежали монголы. Одни тащили седла и потники, другие вели к своим юртам коней, третьи вскачь проносились к своим заранее назначенным местам.

Каган продолжал считать. Он загнул седьмой палец и оглянулся, услышав за собой шаги. Два нукера вели оседланного саврасого коня Чингиз-хана. Ухватившись рукой за гриву, он поднялся в седло и медленно выехал на выступ холма. Сзади него выстроились семь нукеров; один держал знамя с трепетавшими концами.

Перед каганом еще во всех направлениях передвигалась гуща коней и всадников. Но все они быстро занимали известные им места, и не успел еще Чингиз-хан загнуть восьмой палец, как перед ним уже стройно протянулись шесть рядов всадников, по сотне в каждом ряду, а впереди выстроились начальник тысячи Чаган и близ него несколько телохранителей-тургаудов.

— Чаган, ко мне!— закричал Чингиз-хан.

Чаган подскакал к холму и остановился в трех шагах от кагана.

— Ты поедешь к той горе, куда забрались все харачу (простонародье, бедные кочевники) и все длинноухие зайцы из степи. Ты пригонишь сюда весь их скот и не упустишь из рук ни одного барана. Вперед!

Чаган повернул коня и поскакал к отряду.

— За мной!

Отряд двинулся ряд за рядом, сотня за сотней, заворачивая на белевшую в лунном свете дорогу. Каган оставался неподвижным на выступе холма и продолжал высчитывать и загибать пальцы, пока последний всадник не потонул в сумеречной дали. Он загнул десятый палец.

— Подготовил ли надменный хвастун, шах Хорезма, такое войско? Мы скоро увидим это в бою под Бухарой.

Глава девятая

ПРОПАВШИЙ КАРАВАН

Чингиз-хан приказал своим мусульманским послам снарядить большой караван и отправиться якобы для продажи товаров во владения хорезм-шаха. Чингиз-хан передал им значительную часть своих собственных ценностей, награбленных им в Китае, а на вырученные деньги приказал накупить возможно больше тканей, чтобы он мог ими одарять отличившихся.

Махмуд-Ялвач отправил с караваном множество товаров, но сам отказался ехать в Хорезм. Он и два его спутника лежали в юртах, охали и уверяли, что их в Бухаре отравили. Караван состоял из пятисот верблюдов, и с ним отправились четыреста пятьдесят человек, выдававших себя за купцов и приказчиков. Во главе каравана Чингиз-хан поставил своего монгольского нукера Усуна.

Пройдя через горные отроги Тянь-Шаня, караван прибыл в пограничный мусульманский город Отрар. Там «караван-баши» Усун показал начальнику города грамоту, собственноручно подписанную шахом Мухаммедом и с его восковой печатью; в ней шах разрешал монгольским купцам «разъезжать и торговать во всех городах Хорезма свободно и без всяких сборов».

Город Отрар славился своими базарами. Сюда весной и осенью прибывали кочевники из отдаленнейших кочевий. Они пригоняли баранов и рабов, привозили просоленные кожи, шерсть, разные меха, ковры и выменивали их на материи, сапоги, оружие, топоры, ножницы, иголки и булавки, чашки, медную и глиняную посуду. Все это изготовлялось искусными мастерами и их рабами в городах Мавераннагра и Хорезма.

Прибывший караван был необычайным для базаров Отрара. Купцы разложили на коврах такие диковинные и драгоценные вещи, каких отрарцы никогда не видывали. Толпами приходили они и дивились, рассматривая металлических божков, так искусно позолоченных, что они казались вылитыми из золота, яшмовые изогнутые жезлы, «приносящие счастье», вазочки, курильницы и странные фигуры из яшмы и нефрита, чайники и чашки из тонкого китайского фарфора, мечи с золотыми рукоят-

ками и ножнами, усыпанными драгоценными каменьями. Здесь были и бобровые и чернобурые лисьи шкурки, и мужские и женские одежды из толстого шуршащего шелка, подбитые соболями; были и другие редкие и ценные предметы. В толпе говорили:

— Все эти драгоценности награблены татарами в Китае, в царских дворцах. На этих роскошных одеждах, наверное, окажутся пятна засохшей крови. Воины продали награбленные вещи за бесценок купцам, а здесь купцы хотят перепродать и нажиться.

— Почему наши войска не пойдут в Китай?— рассуждали другие.— И мы могли бы достать такие же сокровища.

— Если татарские купцы будут предлагать эти роскошные товары за полцены, то что же останется делать отрарским купцам? На наши товары никто не захочет даже смотреть.

Степные погонщики скота неодобрительно покачивали головами.

— Кому нужны такие вещи? Только ханам, бекам да на халаты судьям и великим имамам. Чтобы купить эти роскошные одежды, они теперь с нас сдерут двойные подати.

Начальником города Отрара был Инальчик Каир-хан, племянник царицы Хорезма Туркан-Хатун. Он проехал со свитой по базару, остановился около выставленных вещей монгольского каравана и принял от купцов подарки. Затем, озабоченный, он вернулся в крепость и послал хорезм-шаху донесение, в котором писал:

«Эти люди, прибывшие в Отрар в одежде купцов,— не купцы, а скорее лазутчики татарского кагана. Они держатся надменно. Один из купцов, родом индус, попробовал грубо назвать меня только по имени, не называя «ханом», и я приказал отстегать его плетьми. А остальные купцы расспрашивают покупателей о делах, которые вовсе не имеют отношения к торговле. Когда же они остаются одни с кем-либо из народа, они угрожают: «Вы не подозреваете того, что делается за вашей спиной. Скоро произойдут такие события, против которых вы не сможете бороться...»

Встревоженный таким письмом, хорезм-шах Мухаммед приказал задержать в Отраре монгольский караван. Все четыреста пятьдесят купцов и монгольский «караван-

баши» Усун исчезли бесследно в подвале крепости, а монгольские товары наместник Отрара отправил в Бухару для продажи. Вырученные деньги взял себе хорезм-шах Мухаммед.

Из всего каравана остался в живых только один погонщик. Ему удалось убежать и добраться до первого монгольского поста. Там его посадили на почтового коня с бубенчиками[1], и он помчался к Чингиз-хану со страшной вестью.

Глава десятая

ПОСЛА НЕ ДУШАТ, ПОСРЕДНИКА НЕ УБИВАЮТ

Не успел месяц увеличиться и затем снова изогнуться серпом, как от владыки татарского в Бухару прибыл новый посол Ибн-Кефредж-Богра, отец которого был некогда эмиром на службе у отца хорезм-шаха, Текеша. С ним прибыли два знатных монгола.

Перед тем как принять послов, хорезм-шах Мухаммед долго совещался со своими кипчакскими военачальниками. По их указанию он решил принять монгольских послов гордо и сурово, но все-таки выслушать их, чтобы узнать намерения Чингиз-хана.

Старший посол вошел с поднятой головой. Он уже не преклонил колен и говорил стоя, точно готовый к бою, хотя свое оружие согласно требованию векиля он оставил при входе.

— Владыка западных стран! — сказал он. — Мы явились напомнить тебе, что нашим купцам, прибывшим в Отрар из царства Чингиз-хана, ты сам выдал грамоту, подписанную твоей же рукой и скрепленную твоей печатью. В ней ты разрешил нашим купцам свободно торговать и приказывал всем относиться к ним дружественно. Но ты коварно их обманул, — они все убиты, их имущество разграблено. Если предательство само по себе является презренным делом, то оно становится еще более отвратительным, когда исходит от главы ислама.

---

[1] На главных путях своих владений Чингиз-хан устроил почтовые посты, где всегда были наготове кони и гонцы для перевозки каганских приказов. На почтового коня надевались ремни с бубенчиками, чтобы встречные давали дорогу.

Хорезм-шах закричал:

— Бесстыдник! Как ты смеешь так говорить со мной? Как ты решился обвинять меня в поступках, сделанных моим слугой?

— Великий шах! Ты, значит, утверждаешь, что наместник Отрара поступил вопреки твоему приказу? Отлично! Тогда выдай нам этого преступного слугу Инальчика Каир-хана, и наш великий каган сам сумеет как подобает его наказать. Но если ты мне ответишь «нет», то тогда готовься к войне, в которой самые доблестные сердца падут в битве и твердо направленные татарские копья попадут в цель!

Хорезм-шах задумался, слушая грозные слова. Все замерли, понимая, что сейчас решается вопрос: быть или не быть войне? Но некоторые заносчивые кипчакекие ханы закричали:

— Смерть хвастуну! Он смеет угрожать нам? Великий падишах, ведь Инальчик Каир-хан племянник твоей матери! Неужели ты отдашь его на растерзание неверным? Прикажи убить этого наглеца, или мы сами его прикончим!..

Хорезм-шах сидел бледный и серый, как мертвец. Его губы дрожали, когда он тихо сказал:

— Нет! Инальчика Каир-хана, моего верного слугу, я не отдам!

Тогда один из кипчакских ханов подошел к монгольскому послу, схватил его за бороду, одним взмахом кинжала отрезал ее и бросил ему в лицо. Посол Ибн-Кефредж-Богра был сильный и смелый человек. Но он не вступил в борьбу, а только крикнул:

— В священной книге сказано: посла не душат, посредника не убивают!

Ханы кричали:

— Ты не посол, а пыль на сапоге татарского кагана! Почему ты, мусульманин, служишь нашим врагам? Ты предатель, татарский навоз! Ты изменник родине!

Тут же кипчакские ханы набросились на посла, закололи его кинжалами, а двух его спутников-монголов избили.

В истерзанном виде они были доставлены на границу владений хорезм-шаха, где им подожгли бороды и затем отпустили пешими, отобрав коней.

Глава одиннадцатая

ЧИНГИЗ-ХАН РАССЕРДИЛСЯ

Днем каган несколько раз выходил из шатра и всматривался вдаль — он чего-то ожидал. Возвращаясь в шатер, он опускался на шелковый ковер и выслушивал, что ему объяснял его главный советник Елю-Чу-Цай, высокий, медлительный в движениях, худощавый китаец с настороженными, проницательными глазами.

— Можно завоевать вселенную, сидя на коне, но управлять ею, оставаясь в седле, невозможно. Надо немедленно назначить в каждую область начальника, он позаботится о запасах зерна, установит «судебные места» для сбора умеренных податей с населения, с наказанием смертью тех, кто не заплатит. В каждое такое «судебное место» надо назначить по два доверенных, выбранных из ученых людей; один из них будет начальник, а другой — его помощник. Для усиления доходов надо установить пошлины с купцов, налоги с вина, уксуса, соли, добычи железа, золота, серебра и за право пользования водой для орошения полей...[1]

— Это все ты говоришь дельно, — ответил Чингиз-хан.

Хранитель печати, уйгур Измаил-Ходжа, подал печать кагана. Это была нефритовая фигурка тигра, стоящего на золотом кружке, смазанном алой краской. Каган придавил печать к указу, заранее приготовленному Елю-Чу-Цаем.

В знойный полдень без ветра над степью дрожали волны горячего воздуха. Весь лагерь Чингиз-хана дремал, и даже кони, бродившие по равнине, теперь стояли неподвижно, сбившись в табуны, и равномерно покачивали головами, отгоняя вьющихся вокруг них слепней.

Издалека, точно жужжание мухи, донесся тонкий тягучий звук. Потом стал выделяться быстрый перезвон бубенцов. Чингиз-хан поднял короткий толстый палец, повернул к входу квадратное лицо и наставил большое ухо с отвисшей мочкой, в которую была вдета тяжелая золотая серьга.

— Гонец, и не один... — И он вышел из шатра.

---

[1] Рашид ад-Дин.

Уже было видно, как клубок пыли катился по дороге.

Три всадника мчались к лагерю. Они доскакали до черных юрт, где одна лошадь грохнулась на землю, а всадник перелетел через голову.

Часовые, подхватив лошадей под уздцы, провели их к заставе. Оттуда, в сопровождении часовых, двое из прибывших прошли к загородке для жеребят, где нашли Чингиз-хана.

Каган сидел на корточках перед белой кобылицей и, жмурясь, следил за тем, как серый жеребенок тыкал мордой в розовое вымя матки.

Двое прибывших были перевязаны тряпками. Их покрытые нарывами лица распухли. Они так изменились, что каган, повернувшись к ним, спросил:

— Кто вы?

— Великий каган! Мы раньше были твоими тысячниками, а теперь стали выходцами из могилы. Шах Хорезма захотел поиздеваться над нами и приказал поджечь нам бороды — честь и достоинство воина.

— А где же Ибн-Кефредж-Богра?

— За то, что он твердо сказал шаху твои приказания, те собаки, что подвывают хорезмской свинье, изрубили его на куски.

— Как?! Они изрубили моего посла! Моего храброго, верного Ибн-Кефредж-Богра?

Чингиз-хан завыл. Он схватил горсть песку и посыпал им голову. Он руками растирал лицо, по которому потекли слезы. Он бросился вперед и, грузный, тяжелый, побежал по дороге. За ним побежали все бывшие вблизи, присоединялись новые воины, пробудившиеся от крика, не понимая, отчего произошла тревога.

Каган, задыхаясь, добежал до коновязи, оторвал от прикола неоседланного коня, схватил его за загривок, навалился ему на спину и понесся по дороге прямо к голубой горе. Елю-Чу-Цай и сыновья Чингиз-хана сели на коней и помчались за ним.

Они прискакали к скалистой горе. На выступе, среди сосен, стоял каган. Его было видно издалека. Он снял шапку и повесил на шею пояс[1]. Слезы, большие и бле-

---

[1] Это означало у монголов — „всецело отдать себя на волю неба“.

стящие, текли по смуглому лицу, по которому каган размазал землю.

— Вечное небо! Ты спасаешь праведных и наказываешь виновных, — кричал каган. — Ты накажешь нечестивых мусульман! Слышите ли вы, мои храбрые багатуры: мусульмане удавили моего посла Усуна и четыреста пятьдесят усердных купцов, поехавших торговать. Мусульмане разграбили все их товары и смеются над нами. Они убили другого моего посла, храброго Ибн-Кефредж-Богра. Они опалили огнем, точно свиные туши, бороды еще двух послов и выгнали, как бродяг, отняв у них лошадей. Будем ли мы это терпеть?

— Веди нас на мусульман! — кричали татары. — Мы вырежем их города, перебьем всех с женами и детьми! Мы заберем весь их скот и всех лошадей.

— Там не бывает морозов и холодных буранов,— продолжал зычно реветь Чингиз-хан.— Там всегда лето, там растут сладкие дыни, вата и виноград. Там на лугах трижды в лето вырастает трава. Разве пристойно в такой счастливой стране жить таким преступникам, как мусульмане? Мы отнимем их земли и сровняем с землей их города. На месте разрушенных городов мы посеем ячмень, и там будут пастись наши крепкие кони и стоять только юрты с нашими преданными женами и детьми. Готовы ли вы идти на мусульманские земли?

— Укажи нам только, где они, а мы их вырежем! — кричали татары.

— Я вижу даже без шаманов, что настала «счастливая луна» и пора повести войско на запад, — громко сказал Чингиз-хан и, повернувшись, стал медленно подыматься выше на гору. За ним последовали его телохранители и кольцом окружили то место на горе, где Чингиз-хан пожелал остаться один со своими думами.

Поднявшись еще выше по склону горы, Чингиз-хан увидел на площадке над обрывом костер. Около него сидел мальчик и раздувал небольшим ручным мехом угли, на которых лежала раскаленная полоса железа. Тут же, на корточках, старый монгол поворачивал полосу клещами и держал наготове для ковки кузнечный молоток.

— Кто ты? — спросил каган.

— Я кузнец Хори, из тумена Джебэ-нойона.

— Зачем ты здесь?

— Я изготовляю закаленные иглы для стрел. Они не сгибаются от удара в железо и пробивают самую прочную броню. Разве, изготовляя такие неотразимые стрелы, я не помогаю тебе?

— Ты дельно говоришь, — заметил Чингиз-хан. — А почему ты работаешь здесь, на горе?

— Здесь, на горе, много смолистых корней, дающих жаркое пламя. Да если признаться, так отсюда, с горы, я вижу далеко степь и в той стороне наши родные кочевья.

— Что ты болтаешь? Отсюда наших кочевий не увидать. Они далеко!

— Разве степные дали не одинаковы? Я смотрю в родную сторону, и легче делается сердцу!

— А этот мальчик — твой сын?

— Был китайчонком, а теперь стал сыном. Я с тобой, великий каган, ходил в Китай и там подобрал брошенного ребенка. В седле я его и вырастил. Он стал мне помощником в кузнице.

— Где же твоя кузница?

— Она вся со мной на седле. Вот молотки, а кусок железа сойдет за наковальню. Мех я прячу в мешок и везу его на втором коне, где сидит и мой сын.

— А кони добрые, крепкие у тебя?

— Очень уж старые мои кони, сколько я с ними сделал походов! Когда мы придем в бухарские земли, там я выберу себе крепких коней да еще несколько рабов-молотобойцев...

— Будешь хорошо драться — так и целый табун коней добудешь.

— Какой я теперь воин! Я сильно изранен. Для боя я уже мало гожусь, а вот ковать ножи и наконечники стрел — это мне привычная работа. А скажи мне, великий хан, долго ли еще мы будем здесь стоять? Наш тумен Джебэ-нойона голодает и ест своих коней. Пора бы двинуться дальше...

Чингиз-хан начал сильно сопеть и отдуваться: это был плохой признак.

— Нет, сперва скажи мне, кузнец Хори: что, если весь тумен Джебэ-нойона ушел вперед и его уже двенадцать дней здесь нет? Так ты поедешь по степи его догонять и спрашивать у встречных бродяг, не видел ли кто из них Джебэ-нойона? Если все нукеры начнут

бродить вокруг лагеря, у меня тогда разбредется все войско!

Кузнец затрясся и упал ничком на землю.

— Приказываем: этого кузнеца Хори отвести в мою тысячу и посреди куреня дать ему двадцать палок по пяткам, чтоб они у него зачесались. Послать немедленно разъезды вокруг лагеря, выловить тех нукеров, которые шатаются, отбившись от своих сотен, а имена их сотников и тысячников сообщать мне, я им всем назначу наказание.

Чингиз-хан оттолкнул кузнеца, который хватал руками его большую косолапую ногу, и медленно стал подыматься по каменистой тропинке. Он остановился.

— Я буду здесь беседовать с небом об удачном походе. Поставить кругом горы стражу, чтобы никто моей беседе не помешал! — Затем каган направился дальше к вершине горы.

Глава двенадцатая

КАК НАДО ПИСАТЬ ПИСЬМО

> Чингиз-хан не знал другого языка, кроме монгольского, и не умел писать.
>
> *(Акад. В. Бартольд)*

К вечеру каган вернулся в свой шатер и созвал старших военачальников. Тут были и покрытые славой побед товарищи юных дней Чингиз-хана, сгорбленные, седые, высохшие, с отвислыми щеками, и молодые, выдвинутые проницательным каганом бойцы, горящие жаждой подвигов. Каждый имел под своим знаменем десять тысяч всадников, вполне готовых к походу.

Все сидели тесным полукругом на коврах. Один Чингиз-хан сидел выше других на золотом троне. Спинка трона была искусно сделана китайскими мастерами в виде сплетающихся «счастливых драконов», играющих с «жемчужиной», похожей на морскую медузу с длинными лапками, а ручки трона изображали двух разъяренных тигров. Это кресло, чеканенное из золота, каган захватил во дворце китайского императора и в походах возил с собой.

С правой стороны от трона находились два брата Чингиз-хана и его два младших сына: Угедэй и Тули; слева сидела последняя жена кагана, юная Кулан-Хатун, вся сверкавшая драгоценными ожерельями и золотыми браслетами, нанизанными на руки от кисти до плеча. Слуги-китайцы бесшумно скользили позади сидевших и разносили золотые блюда с едой и золотые чашки с кумысом и красным хмельным вином.

По левую руку кагана, рядом с его молодой женой, сидели два посла: один — Ашаганьбу, прибывший от могущественного тангутского царя Бурханя[1], другой — китайский полководец Мен-Хун[2], посланный сунтским императором Южного Китая, который ненавидел цзиньского императора Северного Китая и поэтому искал дружбы и союза с монголами.

На этом пиршестве Чингиз-хан поразил гостей роскошью золотой посуды, обилием и разнообразием угощений и напитков. На больших золотых блюдах подавалось жаркое: мясо молодой кобылицы, дикого оленя и степных дудаков. Это чередовалось с необычайными сладостями, приготовленными китайским поваром. Кумыс, айран, красное персидское вино и китайская водка из арбузных семечек, редкие южные фрукты, привезенные гонцами, скакавшими много дней на сменных лошадях,— все это казалось особенно необычайным в этой пустынной долине, куда заходили табуны диких лошадей и за ними шли следом тигры.

Из-за шелковой занавески шатра слышались пронзительные песни китайских певиц, звуки флейт и тростниковых свирелей. Несколько причудливо одетых танцовщиц исполняли пляски, изображая, как в степи беззаботно пасется лань, как к ней подкрадывается рысь, бросается на нее, но сама погибает от стрелы притаившегося охотника.

Чингиз-хан, довольный удачным пиром, сидел на троне, подобрав ноги, и, громко чавкая, брал куски жареного мяса с особого блюда; его держал перед ним, стоя на коленях китайский слуга. Лучшие куски мяса

---

[1] Т а н г у т с к о е ц а р с т в о — одна из областей Северо-Западного Китая.

[2] Записки Мен-Хуна о монголах и Чингиз-хане сохранились до настоящего времени.

каган совал в рот тем из гостей, которым хотел выказать милость.

Во время пира Чингиз-хан ревниво косился на тангутского посла: тот сидел рядом с женой кагана, Кулан-Хатун, и смешил ее рассказом, как он, никогда не терявший дороги в степях, первый раз попав в Китай, заблудился среди запутанных узких переулков столицы. Кулан беззаботно смеялась. Чингиз-хан, грызя баранью лопатку, сказал тангутскому послу:

— Твой владыка, царь Бурхань, обещал в предстоящем новом походе быть моей правой рукой. Теперь народ мусульман убил моих послов, и я отправляюсь за это наказать шаха Хорезма. Пора царю Бурханю явиться сюда со своими всадниками и занять место на правом крыле моего войска.

Тангутский посол, занятый разговором с красавицей Кулан-Хатун, небрежно ответил Чингиз-хану:

— Если у тебя не хватает войск для похода, так не будь каганом.

Чингиз-хан отбросил в сторону баранью лопатку, вытер жирные пальцы о белые замшевые сапоги и провел по усам полой собольей шубы. Все затихли. Задыхаясь, он захрипел, обращаясь к тангутскому послу:

— Ты говоришь от имени твоего государя. Как же ты посмел мне так дерзко отвечать? Разве мне трудно сейчас же двинуть мои могучие войска на тангутское царство? Но у меня сейчас другие заботы, и я не стану громить теперь вас, подлых, коварных, как ты, тангутов. Однако, если вечное небо сохранит меня от вражьей стрелы, то клянусь, когда я вернусь обратно, разгромив хорезм-шаха, я пойду войной на твоего неверного царя. Тогда я припомню твои слова и вам покажу, умею ли я быть каганом!.. Елю-Чу-Цай, прикажи сейчас же подать лошадей, и пусть этот тангутский щенок уползает из моего шатра.

Тангутский посол Ашаганьбу, заикаясь, ответил:

— Разве я сказал что-нибудь обидное?

Но китайские слуги подхватили его под руки и выволокли из шатра.

Чингиз-хан, нахмурившись, строго указал китайскому послу Мен-Хуну, что тот очень мало пил, и в наказание заставил его выпить подряд шесть больших чаш вина. Посол покорно пил, и все гости в это время пели в честь

китайца хвалебную песню. После шестой чаши посол упал и сразу заснул. Чингиз-хан снова стал веселым, приветливым и сказал:

— Вот мой гость напился! Значит, он мой друг и думает со мной одним сердцем. Осторожно отнесите моего друга в его шатер. Утром он также может возвращаться к себе на родину. Пусть начальники городов повсюду его задерживают подольше, дают ему вина, чаю и угощений, каких только он ни пожелает. Приказываем, чтобы в пути хорошие музыканты ему играли на флейте и бряцали на струнах. Мы желаем, чтобы наш китайский друг ни в чем не нуждался.

Когда спящего посла вынесли, Чингиз-хан обратился к Елю-Чу-Цаю:

— Написал ли ты письмо убийце моего посла, хорезм-шаху Мухаммеду?

Великий советник кагана тихо ответил:

— Когда два храбрых полководца собираются воевать, сумею ли я написать достойно? Я знаю только, как вводить порядки в завоеванных землях, и стараюсь следить, чтобы твои приказы исполнялись. Поэтому письмо написал твой более опытный писец Измаил-Ходжа Уйгур

— Где он?

Престарелый секретарь и хранитель печати кагана Измаил-Ходжа подошел к трону и опустился на колени, держа на голове пергаментный свиток.

— Читай!

Измаил-Ходжа начал читать:

«Вечное небо воздвигло меня великим каганом всех народов. За последние семь лет я совершил необычайные дела. Такого царства еще не было с древнейших времен. За непокорность государей я громлю их, приводя в ужас. Как только приходит мое войско, то и дальние страны покоряются и успокаиваются. Но почему ты не поступаешь почтительно? Одумайся! Неужели и ты хочешь испытать удар моего гнева?..»

Чингиз-хан спустил с трона ноги, бросился на Измаил-Ходжу и вырвал из его руки недочитанное послание.

— Кому ты пишешь? Достойному говорить со мной владыке или сыну желтоухой собаки? Так ли нужно говорить с врагами? Ты сам мусульманин и потому виля-

ешь хвостом перед мусульманским ханом. Ты хочешь, чтобы шах Мухаммед подумал, будто я его боюсь?

Измаил-Ходжа лежал, уткнувшись лицом в ковер, и трясся от страха. Каган схватил его за пояс, выволок из шатра и бросил у входа, толкнув ногой. Возле него появился советник Елю-Чу-Цай и тихо стал укорять:

— Взгляни на седую бороду твоего писца. Вспомни его заслуги в течение многих лет. Он учил чтению и письму детей твоих и внуков. Ты не должен так наказывать преданного слугу...

Чингиз-хан выпрямился.

— Измаил-Ходжа пишет рабские письма. Он не умеет говорить с гордостью. Пусть учит он и дальше чтению и письму моих внуков, но не берется говорить с повелителями народов.

Каган вернулся в шатер и снова взобрался с ногами на трон. Обхватив руками правое колено, он долго сидел на пятке левой ноги. Его желто-зеленые глаза то расширялись, то суживались. Возле трона появился другой писец с чистым листом пергамента. Елю-Чу-Цай подал писцу камышинку для письма. А Чингиз-хан, сощурив злые глаза, все молчал, смотря в одну точку. Затем он повернулся к ожидавшему на коленях писцу и сказал:

— Напиши так: «Ты хотел войны — ты ее получишь».

Точно очнувшись, каган выхватил из рук Елю-Чу-Цая золотую печать, смоченную синей[1] краской, и притиснул ее к письму. На пергаменте появился оттиск:

Бог на небе.
Каган — божья мощь на земле.
Повелитель скрещения планет.
Печать владыки всех людей.

И в безмолвии притихших гостей вдруг раздался боевой клич монголов, бросающихся в атаку:

— Кху-кху-кху!

Узнав голос хозяина, заржали привязанные за полотнищами шатра любимые жеребцы Чингиз-хана. Через несколько мгновений во всех концах лагеря стали перекликаться монгольские кони.

---

[1] На письме кагана к повелителям других народов печать была синего цвета, на обыкновенных документах — красного.

Елю-Чу-Цай бережно, двумя руками, принял пергамент, а Чингиз-хан сказал резко и отрывисто:

— Письмо отослать! На мусульманскую границу! Немедленно! Гонцу дать охрану! Триста всадников!..— Повернувшись к сидевшим, каган заговорил снова ласково, мурлыкающим голосом: — А мы будем продолжать наш пир и мирно беседовать. Скоро в мусульманских городах наша душа будет радоваться. Там мы повеселимся! Я уже вижу, как от лошадиного пота туманом затянутся вспаханные поля, как будут бежать испуганные люди и визжать звериным криком увлекаемые арканами женщины; там реки потекут красные, как это вино, и закоптелое небо раскалится от дыма горящих селений...

Он зажмурил глаза и, подняв толстый коротий палец, прислушивался, как по всему лагерю продолжали перекликаться жеребцы.

Сидевшие заговорили вполголоса: «Кажется, поход уже близко...» — и, как подобает большим военачальникам, степенно сдвигали золотые чаши, желая друг другу удачи, и беседовали о предстоящих великих днях.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ВТОРЖЕНИЕ НЕВИДАННОГО НАРОДА

Глава первая

КТО НЕ ЗАЩИЩАЕТСЯ — ПОГИБАЕТ

После вторжения монголов мир пришел в беспорядок, как волосы эфиопа. Люди стали подобны волкам.

(*Саади, XIII в.*)

Получив от Чингиз-хана грозное письмо в шесть слов, хорезм-шах Мухаммед приказал спешно окружить свою новую столицу Самарканд прочной стеной, несмотря на огромные ее размеры: длина стены должна была составить 12 фарсахов[1].

Шах послал сборщиков податей во все части государства для выколачивания налогов за три года вперед, хотя налоги и за текущий год были собраны с трудом.

Шах приказал также создать отряды стрелков из лука. Лучники должны были явиться на сборные места на коне со своим вооружением и с запасом еды на несколько дней.

Наконец шах повелел немедленно сжечь все селения, расположенные на правом берегу реки Сейхуна (Сыр-Дарьи) до восточной границы с кара-китаями, в стране которых появились монголы. Жителей сожженных селений шах приказал изгнать из опустошенной полосы, чтобы монголы, проходя по сожженной местности, не нашли себе там ни крова, ни пищи. Но озлобленное население выжженной полосы убежало к кара-китаям, где мужчины вступили в отряды монголов.

---

[1] Около 84 километров.

Пока прибывали войска со всех концов Хорезма, шах находился в Самарканде. Окруженный раболепной свитой, он посещал мечети, где слушал красноречивые проповеди шейх-уль-ислама. Он усердно молился на глазах многочисленных правоверных, стоявших стройными рядами на площади перед мечетью. Вместе с ними он опускался на колени и громко вслед за имамом повторял молитвы.

В начале года Дракона (1220) Мухаммед созвал чрезвычайный совет из главных военачальников, знатных беков, высших сановников и седобородых имамов.

Все ожидали мудрых и смелых решений, вселяющих бодрость и надежды, от «нового Искендера», «Мухаммеда-воина», как его стали называть со времени разгрома взбунтовавшегося Самарканда и похода в Кипчакскую степь. Усевшись тесным кругом на коврах, все, ожидая шаха, говорили о его военном опыте, о том, что он, конечно, сумеет быстро и победоносно вывести страну из беды.

Тимур-Мелик рассказывал:

— Сегодня падишах объезжал укрепления Самарканда и осматривал работы. Он долго наблюдал, как тысячи согнанных отовсюду поселян и рабов копали рвы. Земля замерзла и плохо поддавалась ударам лопаты. Шах рассердился и крикнул: «Если вы будете так медленно работать, то дикие татары, примчавшись, только побросают в городские рвы свои плети и рвы наполнятся ими доверху». Это услыхали работавшие, и сердца их наполнились ужасом. «Неужели,— сказали они,— у Чингиз-хана так много воинов?»

В залу совещания вошел хорезм-шах, непроницаемый и молчаливый. Он уселся на золотом троне, подобрав под себя ноги. Главный имам прочитал короткую молитву, закончив словами: «Да сохранит аллах благословенные, цветущие земли Хорезма для пользы и славы падишаха!» Все подняли ладони и провели концами пальцев по бороде. Шах сказал:

— Я жду помощи от каждого из вас. Пусть все по очереди укажут меры, которые считают наилучшими.

Первым говорил великий имам, украшенный познаниями во многих науках, престарелый Шихаб эд-Дин-Хиваки, прозванный «столп веры и твердыня царства».

—Я повторю здесь то, что всегда говорил с высоты

мембера[1] в мечети. Достоверный хадис[2] пророка — да будет благословенно его имя и прославлено! — говорит: «Кто будет убит при защите своей жизни и имущества, тот мученик, тот джахид». Все сейчас должны из мрака мирских дел выйти на путь повиновения и разбить отряды забот мечом отваги и усердия.

— Мы все готовы сложить наши головы на поле битвы! — воскликнули сидевшие.

— Но что же ты советуешь?— спросил шах.

— Ты — великий полководец, ты — новый Искендер!— сказал старый имам.—Ты должен двинуть все твои бесчисленные войска на берега Сейхуна и там встретить в решительной битве язычников-монголов. Ты должен со свежими силами напасть на врагов, прежде чем они успеют отдохнуть от тяжелого пути по пустыням Азии.

Мухаммед опустил глаза, промолчал и приказал говорить следующему.

Один кипчакский хан сказал:

— Необходимо пропустить монголов во внутренние пределы нашего царства. Тут, зная хорошо местность, мы легко уничтожим их.

Другие кипчакские ханы советовали предоставить Самарканд и Бухару своей участи, полагаясь на крепость их высоких стен, а позаботиться лишь о защите переправы через многоводную реку Джейхун, чтобы не пустить монголов дальше в Иран.

— Я знаю хорошо этих грубых кочевников,— сказал один хан.— Они пройдут по стране, пограбят ее, но долго здесь не останутся. Они не любят жары. И они и их кони привыкли к холодной зиме. Пока монголы будут у нас хозяйничать, постараемся сберечь нашего любимого падишаха — да продлится на сто двадцать лет его царствование! Мы отступим за хребты Гиндукуша и пойдем дальше к Газне. Там мы соберем новое большое войско. Если же окажется необходимым, то мы сможем удалиться в Индию. А тем временем монголы насытятся добычей и вернутся обратно в свои степи.

— Речь малодушного! — проворчал Тимур-Мелик.

Мухаммед спросил своего сына Джелаль-эд-Дина:

---

[1] Мембер — кафедра, амвон.

[2] Хадис — предания о жизни и словах пророка Магомета, не вошедшие в Коран.

— А ты что предложишь?

— Я твой воин и жду твоего приказания.

— А ты, Тимур-Мелик?

— Побеждает нападающий. А кто только защищается, тот обрекает себя ветру тления,— ответил Тимур-Мелик.— Оттого слабый человек, смело нападая, побеждает разъяренного сильного тигра. А уходит за горы тот, кто поджимает хвост, кто боится встретиться с врагом лицом к лицу. Зачем ты меня спрашиваешь? Я давно прошу тебя: отпусти меня туда, где уже рыщут передовые татарские разъезды. Я испробую в стычках с ними, верно ли попадает моя стрела, не отяжелела ли моя светлая сабля!

— Пусть так будет! — сказал Мухаммед.— Скоро откроются от снегов перевалы, и монголы начнут спускаться с гор в долины Ферганы. Там на монгольских головах ты испытаешь свою саблю. Назначаю тебя начальником войск города Ходжента.

Все опустили глаза и соединили концы пальцев. Ясно было, что шах гневается на прямодушного Тимур-Мелика, невоздержанного в речах, как и неудержимого в битве. Он никогда не подливал меда лести в поток красноречия хорезм-шаха. В Ходженте стоял незначительный отряд, и для испытанного вождя Тимур-Мелика не было почета стать начальником ничтожной крепости. Но в словах Тимур-Мелика скрывались обидные шипы, и Мухаммед добавил:

— Тимур-Мелик утверждает, что побеждает только нападающий? На войне нужна не слепая храбрость, а рассудительность. Я не обижу и не оставлю ни одного города без защиты. Я тоже думаю, что монголы или татары, закутанные в овчины, не выдержат нашей жары и долго здесь не останутся. Лучшая защита для мирных жителей — несокрушимые стены наших крепостей и...

— И твоя могучая рука! Твоя мудрость! — воскликнули льстивые ханы.

— Конечно, войско, руководимое мною, будет грозной, непоколебимой скалой на пути татар,— сказал Мухаммед.— Разве храбрый Инальчик Каир-хан не держится уже пять месяцев в осажденном Отраре, этим задерживая натиск монголов? Он стойко отбивает все их приступы, потому что я вовремя послал туда в подмогу двадцать тысяч храбрых кипчаков...

— Удалец Каир-хан!— воскликнули ханы.

— Мне говорили верные, знающие люди, что войско татарское по сравнению с моим войском ислама то же, что струйка дыма среди черной ночи. К чему его бояться? Я оставлю в Самарканде сто десять тысяч воинов, не считая добровольцев и двадцати могучих боевых слонов устрашающего вида. В Бухаре имеется пятьдесят тысяч храбрецов. Также и во все другие города я послал по двадцать и по тридцать тысяч защитников. Что же останется от татар Чингиз-хана, если целый год они будут задерживаться у всех крепостей? Новых войск к нему не прибудет, и его силы будут таять, как снег летом...

— Иншалла́! Иншалла́! (Дай-то аллах!) — воскликнули все.

— А я тем временем,— продолжал шах,— соберу в Иране новые войска правоверных. Я со свежими силами так разгромлю остатки татар, что и внуки и правнуки их побоятся когда-либо приблизиться к землям ислама.

— Иншалла́! Иншалла́!— восклицали ханы.— Это истинно мудрая речь непобедимого полководца!

К шаху подошел начальник диван-арза (шахской канцелярии) и передал записку. В ней было краткое сообщение, доставленное нищим дервишем, с трудом пробравшимся сквозь монгольские посты, что двадцать тысяч кипчаков, шедших к Отрару и посланных туда шахом, изменили и перешли на сторону монголов. Все смотрели с тревогой на Мухаммеда, стараясь угадать по лицу, хорошие или плохие вести. Шах сдвинул брови и прошептал:

— Пора, медлить нельзя!— Затем он встал и, выслушав молитву имама, удалился во внутренние покои дворца.

Глава вторая

КУРБАН-КЫЗЫК СДЕЛАЛСЯ ДЖИГИТОМ

— Эй, Курбан-Кызык[1], эй, шутник! Отныне ты не будешь больше ковырять землю. Хорезм-шах назначает тебя главным начальником своих храбрых войск.— Не сле-

[1] Кызык — шутник, скоморох.

зая с коня, джигит стучал рукояткой плети в низкую кривую дверь хижины Курбана.

— Что еще за новая беда стряслась над нами?— кричала худая сгорбленная старуха, мать Курбана, торопливо ковыляя с огорода.

— Выходи скорей, Курбан! Чего он спит днем? Верно, опился бузы[1].

— Где нам думать о бузе!— причитала старуха.— Сперва Курбан целую ночь сторожил на канаве, пока не пошла вода, затем он заливал свой участок, а потом один дрался с четырьмя соседями,— они хотели раньше времени отвести его воду на свои пашни. Теперь Курбан весь в синяках лежит и охает.

Старуха скрылась в дверях хижины, а оттуда показался Курбан. Он стоял встрепанный, протирая глаза, и со страхом вглядывался в нарядного лихого всадника на сером в яблоках коне.

— Салям тебе, бек-джигит! Что надобно начальнику округа?

— Сам хорезм-шах тебя требует к себе с конем, мечом и пикой воевать с неведомыми яджуджами и маджуджами...

Сутулый, с длинной шеей, Курбан почесывал пятерней спину.

— Перестань смеяться надо мной, бек-джигит! Какой же я воин? Я ничего не умею держать в руке, кроме кетменя[2] и суповой ложки.

— Это уж не твое дело и не мое дело рассуждать. Меня послал хаким объехать всех деревенских старшин и передать его приказ — чтобы все поселяне собирались немедленно: у кого есть конь — на коне, у кого верблюд — на верблюде. Смотри же, завтра ты должен явиться к твоему беку, а он поведет вас, воинов, таких лихих, как ты, на войну. А кто не явится — тому голову долой. Понял?

— Постой, бек-джигит, объясни, в чем дело, какие яджуджи-маджуджи?

Но джигит хлестнул плетью серого жеребца и уска-

---

[1] Буза — хмельной напиток, изготовляемый из проса или риса.

[2] Кетмень — род большой мотыги, употребляемой на Востоке вместо лопаты для вскапывания земли.

кал. Только пыль облачком поднялась над дорогой и медленно поплыла в сторону, оседая на пашне.

— Курбан, сынок, что это придумали беки, что им от тебя нужно? — приставала старуха, опустившись на землю у порога.

— Взбесились, верно. И почему до сих пор не подохла наша Рыжуха! Тогда бы меня не вызвали к хакиму.— Курбан направился к рыжей кобыле, которая щипала траву на меже. Конец ее недоуздка держал маленький сын Курбана, полуголый, в одних засученных выше колен шароварах.

— Эй, Курбан-Кызык, что случилось? — кричали, подбегая, работавшие на соседних участках поселяне.

Курбан не отвечал. Еще ныло все тело от побоев. Он погладил кобылу, расправил редкую гривку и провел рукой по тощей спине с выдающимися ребрами.

— Не сердись на нас, Курбан! Сам знаешь: собаки сперва из-за кости раздерутся, а там, глядишь, опять рядком греются на солнце,— говорили соседи.— Из-за воды родной брат делается зверем. Так скажи, Курбан, зачем приезжал джигит окружного начальника?

— Война...— сказал глухо Курбан.

— Война?! — повторили все четверо и застыли.

— Какая может быть война? — очнулся один.— Хорезм-шах самый сильный владыка мира, его тень покрывает вселенную. Кто осмелится воевать с ним?

— А чего они от нас хотят? Ведь мы не воины! Мы сеем хлеб, затем беки у нас его отбирают, ну и пусть нас больше не трогают.

— Что же говорил джигит?

— Все,— сказал он,— пойдут воевать, защищать нашу землю. У кого есть конь или верблюд, должны с ними явиться к беку.

— А я заберу жену и ребят и убегу с ними в горы или в болота. Что мне защищать? Эти земли? Так они же не наши, а бека! Пусть беки со своими джигитами за них и дерутся!

— У хорезм-шаха есть войско из наемных кипчаков. Это их дело воевать. До сих пор они больше воевали с нами, пахарями, и нам от них житья не было.

— А вот пришла нужда, так и обратились к нам.

— Эй, смотрите! Еще новая беда!

По дороге, вздымая пыль, быстро приближались всад-

ники, за ними громыхали высокими колесами четыре повозки. Они остановились около мазанки Курбана. С телег соскочили несколько служителей с длинными белыми палками.

— Подойдите сюда! — сказал один всадник. Курбан и другие поселяне приблизились, согнувшись и сложив руки на животе.

— Вы меня должны знать. Я окружной хасиб, сборщик податей. Главный казначей Мустафи разослал приказ всем хасибам. Стране грозит война, на нас идут из степи язычники-татары. Если они ворвутся на наши земли, то всех перережут, скот и хлеб заберут, и мы останемся голые.

— А мы и так голые,— сказала старая мать Курбана.

— А придут враги,— продолжал хасиб-сборщик,— так и головы потеряем. Значит, нужно много и денег и хлеба, чтобы вооружить пятьсот тысяч воинов и всех их накормить. А для этого шах приказал собрать налоги.

— Мы все налоги только что уплатили.

— Вы уплатили за этот год, а теперь платите за будущий. Платить надо сейчас. Начнем с первого. Чей это дом?

— Мой, великий начальник! — сказал Курбан-Кызык.— Мне платить нечем! Ничего у меня нет! Есть только курица, да и та яиц не несет.

— Знаю наперед твои речи! Все вы так говорите. Эй, молодцы, осмотрите хорошенько дом и особенно сарай!

Четыре джигита прошли по двору, осмотрели сарай и огород и вернулись ни с чем. Один держал курицу.

— Я даю тебе сроку два дня. Сегодня тебе всыплют пятьдесят палок и будут бить каждый день, пока ты не привезешь мне мешок пшеницы. А затем твой участок земли отдадут другому, более усердному пахарю, который не станет отказываться помочь храброму войску.

Курбан-Кызык упал на землю.

— Я все сделаю, что захочет шах!.. Я поеду на моей кобыле воевать с яджуджами и маджуджами. Я буду работать, чинить мосты и дороги, но не бей меня на глазах моих детей и не требуй хлеба, когда его нет! У меня четверо ребят, маленьких, как тараканы, и старая мать. Мне их надо прокормить, а чем — не знаю. Пощади, великий хасиб! — И он обнимал копыта коня сборщика и сам дивился смелости своей речи и казался себе таким

ничтожным, как жук, а его рыжая кобыла казалась ему несчастной, как голодная собачонка.

— Ты, я вижу, шутник, Курбан-Кызык,— сказал сборщик.— Ты же знаешь, что великий аллах создал на вечные времена ступени для людей: выше всего поставил шаха, затем беков, затем купцов и, наконец, простых пахарей. Каждый должен делать что ему подобает,— шах приказывает, а все остальные должны повиноваться. А что должен делать пахарь-батрак? Работать для бека и для шаха и давать им хлеб, сколько тем потребуется. Так приготовь мешок пшеницы. Ладно, сегодня я тебя бить не буду, некогда. А завтра сдеру шкуру.

Хасиб хлестнул коня и направился дальше.

Когда улеглась пыль от уехавших сборщиков и разошлись приунывшие соседи, Курбан-Кызык стал готовиться к отъезду.

Он сходил в мечеть к мулле и к купцу, имевшему лавочку на повороте большой дороги. Он слушал разговоры проходивших и убедился, что бек прав: всюду говорили о войне и о неведомом народе. Он идет с востока: вероятно, это обычные кочевники-киргизы, кара-китаи или уйгуры, или другое племя татар, разросшееся после нескольких урожайных лет, когда скот плодился и не было буранов и падежей.

Всюду ходили слухи, что воины этого племени ростом в полтора человека, они неуязвимы для мечей и стрел и им бесполезно сопротивляться. Единственное от них спасение — запереться за высокими, прочными стенами городов или убежать в болота.

Курбан вернулся задумчивый. Нарубил мелко соломы и стеблей джугары для корма кобылы. Достал заржавленный обломок косы и прикрепил его к жерди — получилось копье. Он побывал еще у кузнеца, помог ему в работе, потому что в кузнице собралось много поселян, отправлявшихся по вызову шаха в Бухару. Курбан, помогая кузнецу, заработал девять медных дирхемов, так что мог купить у лавочника несколько мелких обрезков баранины.

Вечером вернулась жена Курбана, работавшая целый день на поле бека-землевладельца. Она сварила котелок кашицы из джугары и напекла лепешек с кусочками бараньего сала.

Когда вся семья, усевшись вокруг глиняной миски, молча приступила к еде, Курбан, сохраняя важность главы семьи, незаметно осматривал каждого из сидевших.

Вот сгорбленная мать с седыми космами,— от работы у нее вырос горб на спине. Он вспомнил ее молодой, смуглой, красивой, с черными блестящими глазами и задорным смехом. Работа под палящим солнцем на залитых водою полях, перетаскивание тяжелых вязанок джугары или хвороста, беспрерывный труд согнули ее спину и придавили плечи.

Вот жена, уже увядающая, с резкими морщинами, прорезавшими красивое нежное лицо. Целые дни, согнувшись, она сидела на полу, над основой, торопясь выткать возможно больше ткани. Ее руки стали жесткими и пальцы узловатыми, как у старухи.

Четверо детей, сидящих рядом, торопятся ухватить и проглотить побольше каши, и мать уделяет каждому по крошечному кусочку баранины. Старшему, Гассану, уже одиннадцать лет. Он просился поехать с отцом до Бухары, чтобы не только увидеть великолепный город, но и взглянуть на отца, как он с тонким, гибким копьем, мечом и круглым блестящим щитом поскачет на бешеном коне.

Еще трое детей: старшая — подросток, она уже стыдливо закрывается краем платка. Вот еще двое малюток. Они сидят рядышком на пятках и, уплетая кашу, вымазали себе щеки. Что-то с ними будет?

Почти всю ночь Курбан не спал, обсуждая с женой, как в его отсутствие вести хозяйство, когда пускать воду на посевы, как позвать на помощь соседей, чтобы сжать поле, и чем их угощать в день подмоги.

— А если сюда придут яджуджи? — спрашивала жена.— Куда нам бежать? И как нам потом с тобою встретиться?

Курбан успокаивал жену. Разве можно допустить, что неведомые враги появятся в Бухаре, в самом сердце ислама? Наверное, шах Хорезма соберет свое могучее войско и поведет его через кипчакские земли, чтобы встретить и разгромить врагов в степи, и тогда Курбан вернется на хорошем коне, и в поводу будет следовать вторая лошадь с вьюками, полными разной военной добычи — подарков для всей семьи.

Рано утром Курбан сходил в ближайшие овраги и привез на кобыле столько хвороста, что под грудой сучьев были видны только четыре ноги. Курбан изрубил хворост и сложил его у стены ровной кладкой. Он еще раз наказал жене и матери никому не проговориться о яме, вымазанной внутри глиной и обложенной соломой, в которой хранился небольшой запас джугары и посевных семян пшеницы. Этого должно хватить надолго, а там и Курбан вернется.

— Как ты поедешь в дальнюю дорогу? — причитали жена и мать.— У тебя нет ни хлеба, ни денег! Ты от голода растянешься в канаве вместе с конем. Возьми нашу джугару!

— Ничего, не бойтесь! — отвечал Курбан.— Джигита прокормит дорога.

Глава третья

ВОЙНА НАЧАЛАСЬ...

Взяв самодельное копье, Курбан-Кызык отправился в путь. Он заехал в усадьбу бека, чтобы узнать, куда ему следует явиться. Управляющий усадьбой изругал его и сказал, что бек Инаньч-хан с отрядом всадников уже уехал. Все опоздавшие должны его догонять по большой дороге, ведущей в Бухару.

По всем тропам были видны группы пеших и конных поселян и вереницы двуколок, нагруженных пожитками и детьми. С криками и слезами плелись старики и женщины. Обозы тянулись по всем направлениям — одни к городу, другие, наоборот, уходили в сторону южных гор.

Было начало весны. На полях зеленели озимые. Солнце уже сильно пригревало. Дороги подсохли, и пыль густыми облаками подымалась над вереницами куда-то уходивших людей. Возле селений встречались кузнецы, где стучали молотки и вооруженные люди кричали и спорили, желая подковать коня, приобрести наконечник копья или умело выкованный железный меч.

К вечеру следующего дня, когда вдали показались глиняные ограды предместий Бухары, Курбан успел подружиться с черноглазым бородатым дервишем, шагав-

шим возле нагруженного котомками черного осла. От него не отходил мальчик лет тринадцати. Дервиш напевал песни и призывал счастье и удачу отважным богатырям, двинувшимся против неверных. Некоторые воины опускали в миску дервиша лепешки или горсти пшена.

Когда наступила ночь, тысячи костров засветились вокруг города. Курбан, следуя за дервишем, оказался возле низких строений, откуда доносились монотонные выкрики: «гу, гу-у, гу-у!» Это была «ханака»—общежитие дервишей. Внутри было много народу, просившего у дервишей исцеления от болезней и молитв, которые спасут от смерти в предстоящей войне. Дервиши колдовали, читали заговоры, совали посетителям полоски бумажек со священными надписями.

Курбан, привязав около ограды кобылу, обошел костры, насобирал просыпанной соломы для Рыжухи и черного осла. А дервиш поделился лепешками и сваренной в железном котелке болтушкой из муки.

«Джигита прокормит дорога»,— вспомнил Курбан.

Всю ночь Курбан, борясь со сном, провел около лошади, намотав на руку повод. У костров говорили, что теперь покупают за хорошие деньги самых хромых и плохих коней, так как все хотят уехать подальше от Бухары в персидские горы или в Индию, куда не доберутся неведомые язычники.

К утру Курбан так крепко заснул, что не слышал, как кто-то, перерезав повод, увел его Рыжуху.

— Говорят, что аллах покарает бесстыдного вора, отнявшего коня у воина, выступившего на священную войну,— сказал дервиш.— Но пока бог наказал также и меня, бедного Хаджи Рахима, так как вор увел и моего старого осла. Утешимся тем, что мы теперь налегке пойдем осматривать благородную Бухару.

Курбан взвалил на плечо свое длинное копье и направился вместе с дервишем и его юным спутником осматривать прославленный город —«светлую звезду на небесах просвещения», «благородную Бухару».

Три путника, «держа друг друга за пояс дружбы», плелись к Бухаре среди бесчисленной толпы, двигавшейся непрерывным потоком.

Высокие стены, построенные в древние времена, поросшие бурьяном и колючкой, кое-где обвалившиеся,

имели одиннадцать ворот, через которые купеческие караваны связывали эту твердыню ислама со всеми концами вселенной.

У первых ворот собралась большая толпа. Стражники опрашивали всех проходивших и ко всем обращались с призывом:

— Жертвуйте на укрепление города, на питание воинов, на изготовление мечей! Пусть рука ваша не сжимается от скупости, пусть щедрость развяжет ваши тугие кошельки!

Старые ученые улемы с кожаными сумками ходили в толпе и требовали, чтобы каждый жертвовал на священное дело защиты родины.

Сразу за воротами потянулись торговые ряды. Маленькие лавочки со всевозможными товарами лепились одна возле другой. Купцы, зная, что особенно требуется на сегодняшний день, выкрикивали достоинства дешевых тканей, прочных в пути, или хорошо скатанных войлоков, необходимых для сна в дороге, или медовых бубликов, которые не портятся от времени.

Всюду виднелись группы растерянных беженцев, прибывших с детьми и пожитками из окрестностей в поисках крова и защиты.

Пройдя массивные ворота второй стены, отделявшей пригороды от внутреннего города Шахристана, три путника свернули с шумной улицы на безмолвную площадь, окруженную высокими арками мечетей и медресе. В них учились несколько тысяч молодых и старых истощенных студентов, «шагирдов», желавших постигнуть премудрость богословских арабских книг, чтобы через много лет труда и лишений сделаться имамами захудалых мечетей.

Здесь на площади происходило торжественное богослужение: ряды молящихся, выровнявшиеся, как строки священной книги, стояли неподвижно, следя за движениями седобородого величественного имама. Когда он опускался на колени, склонялся к земле или подымал руки к ушам, несколько тысяч правоверных повторяли за имамом его движения. Только шорох от бесчисленных падавших и встававших тел проносился, как порыв ветра, по каменным плитам площади.

Когда моление кончилось, к ступеням высокой мечети подвели гнедого коня с красным хвостом, украшенного

алым бархатным чепраком, расшитым золотыми цветами.

Из мечети вышел высокий чернобородый хорезм-шах в белоснежном тюрбане, сверкавшим алмазными нитями.

Шах обратился к толпе с речью:

— Все народы ислама — один народ. Наша лучшая защита — отточенный меч. Пророк сказал о правоверных: «Я создал вас, воины ислама, лучшими из творений мира и назначил мусульман быть повелителями всего, что есть на земле и на небе». Правоверные должны быть повелителями вселенной, поэтому ничего не бойтесь! Но священная книга нам также говорит: «Аллах дает свои милости рабу только согласно его старанию»... Поэтому вы должны приложить все ваше усердие, чтобы поразить врага мечом бесстрашия... Разве что-либо сможет устоять против ярости правоверных мусульман, отдающих свою душу за слова пророка?! Убивайте врагов везде, где их найдете, и гоните их! Великий в гневе аллах, дай нам победу над неверными!..

— Убивайте неверных! Гоните язычников!— кричала толпа.

Хорезм-шах сел на гнедого коня с малиновым хвостом и сказал еще несколько слов:

— Цель наша — дать добрый совет, и мы его вам дали. Мы выезжаем в Самарканд навстречу нечестивым, которые уже спускаются с покрытых снегом перевалов Тянь-Шаня... Но горе им! Враги встретят себе на погибель бесстрашные ряды наших отчаянных воинов... Поручаем вас аллаху!

— Да живет Мухаммед-воин! Да здравствует хорезм-шах, победитель неверных!— кричала толпа, пропуская шаха и его нарядных телохранителей-кипчаков.— Ты один наша лучшая защита!

Глава четвертая

ЗАЩИТА ВОИНА — ОСТРИЕ ЕГО МЕЧА

Выехав из Бухары, хорезм-шах Мухаммед внезапно повернул коня и направил его не по большой дороге на Самарканд, а на юг, в сторону Келифа. Закутав лицо

шелковой шалью, он ехал молча то рысью, то вскачь, и вся его свита, не отставая, следовала за ним. Встречные путники прыгали с дороги в сторону, в канаву. Они падали ниц и изумленно смотрели на тысячу всадников, которые мчались, точно гонимые страшным Иблисом.

Напрасно великий визирь указывал сыну падишаха Джелаль эд-Дину, что государь, вероятно, ошибся дорогой. Джелаль эд-Дин равнодушно отвечал:

— Какое мне дело! Я следую за отцом, хотя бы падишах захотел прыгнуть в огненную пасть ада.

— Что это за усадьба?— вдруг спросил хорезм-шах и остановил взмыленного гнедого коня. Он указал плетью на стены со скошенными башенками, за которыми подымался ряд стройных высоких тополей.

— Это охотничья усадьба Тимур-Мелик-хана. Она славится старым садом и редким зверинцем диких животных.

— Я хочу осмотреть все это!— сказал Мухаммед.— А почему я не вижу здесь храброго Тимур-Мелика?

— В тот же день, как он получил повеление стать во главе гарнизона Ходжента, он туда ускакал.

— Упрямый! Я не приказывал ему торопиться. Теперь мне скучно без него...

Охранная сотня помчалась вперед приготовить прием. Мухаммед, сдерживая разгоряченного коня, шагом направился к усадьбе. Тяжелые ворота раскрылись. Слуги бегали по двору. Гремя ключами, они открывали двери, выходившие на длинную террасу. Рабы тащили мешки с ячменем и охапки сухого сена. Джигиты помчались в ближайшее селение и вернулись, держа поперек седел отобранных баранов. Походные повара развели костры и стали готовить обед.

Шах поднялся по приставной лесенке в легкую беседку у ограды сада. За ним поднялись Джелаль-эд-Дин и старый дворецкий усадьбы.

Из беседки был виден сад, еще обнаженный, без листьев. Несколько диких коз лежали на лужайке, греясь на солнце, и около них стоял настороже длиннорогий горный козел.

— Там дальше, в глубине сада, имеются две семьи кабанов с поросятами,— объяснил дворецкий.— А в клетке содержатся два очень свирепых леопарда, недавно

привезенных с гор. Мой доблестный господин Тимур-Мелик любит смотреть из этой беседки, как леопарды гоняются за кабанами и козами, и сам иногда спускается в сад для охоты. Он может наповал убить зверя стрелою, заранее сказав, в какое место попадет.

— Ступай! — сказал сурово шах.

Он остался вдвоем с сыном и заговорил вполголоса:

— Я встревожен. Гонцы прибыли сразу с трех сторон. Черные тучи надвигаются отовсюду.

— На то и война! — заметил равнодушно Джелаль эд-Дин.

— Первый гонец донес, что рыжий тигр Чингиз-хан овладел Отраром, схватил Инальчик Каир-хана и, чтобы насытиться местью, приказал залить расплавленным серебром ему глаза и уши. Теперь Чингиз-хан двинулся сюда и ищет меня.

— Пусть придет! Его мы и ждем.

— Ты даже в грозу ужасных бедствий остаешься беспечен!

— У нас столько войска, что незачем отчаиваться.

— Второй гонец прибыл с юга. Уверяет, что видел разъезды татар.

— Какой-нибудь небольшой отряд. Теперь ранней весной, большое войско полегло бы на засыпанных снегом перевалах.

— Но, спустившись с гор, татарский отряд отрежет нам путь отступления в сторону Индии.

— А зачем нам туда отступать?

— Есть еще донесение. Монгольские разъезды уже замечены в песках Кзыл-Кума.

— В пески направлен заслоном отряд туркмен в десять тысяч коней.

— Эти туркмены не удержат монголов.

— Если это так, то Чингиз-хан может показаться перед ворстами Бухары в ближайшие дни. Будем готовиться к этому.

— Может быть, краснобородый зверь уже подкрадывается к Бухаре, его отряды рыщут кругом, отыскивая нас. Нужно скорее уходить отсюда!..— бормотал Мухаммед и озирался, точно ожидая нападения из кустов сада.

Джелаль эд-Дин молчал.

— Отчего же ты не отвечаешь?

— Ты считаешь меня безумцем. Что же я могу еще сказать?

— Я приказываю тебе говорить.

— Тогда я скажу, а ты можешь меня помиловать или снести голову. Если проклятый Чингиз-хан идет сюда, то наши войска должны не прятаться за высокими стенами городов, а искать его. Я бы выгнал в поле всех кипчакских ханов, храбрых, когда нужно сдирать кожу с покорных поселян, но трепетных, как листья, в этот суровый час войны. Я бы им запретил под угрозой смерти входить в ворота городов. Защита воина — острие его меча и бодрый конь. Рыжий тигр идет сюда? Тем лучше. Значит, мы уже знаем его путь. Надо повернуть коней и идти по его следам, кусать его пятки, становиться преградой на его пути, нападать со всех сторон, избивать его верблюдов и вырывать с мясом клочья его рыжей шкуры. Какая польза от того, что в Самарканде за стенами укрылось сто тысяч всадников? Они только жрут баранов, а их благородные кони исходят силою...

— Ты осуждаешь приказы твоего отца? Я давно это заметил. Ты ждешь моей гибели.

Джелаль эд-Дин опустил глаза, и голос его звучал грустью:

— Это не так. Я не оставлю тебя в трудные часы, когда потрясается вселенная. Но я клянусь памятью любимого тобой Искендера, я безумец, что так покорно и нерешительно поступаю. К чему все твое огромное войско, если оно не стоит боевым лагерем, если оно не готово броситься на врага по указанию твоей руки! К чему высокие стены, если за ними прячутся не жены и дети наши, а вооруженные силачи, укрывшиеся под одеялами трясущихся женщин! Ты можешь казнить меня, но сделай, как я говорю. Отец, поедем в Самарканд и двинемся.

— Только в Иран или в Индию!..

— Нет! Нам остались на выбор только два решения: мужество борьбы или позорная смерть в изгнании. Мы с войском выйдем в открытое поле, чтобы схватиться с татарами... Мы будем стремительны, как удар молнии, и неуловимы, как ночные тени... Ты прославишься как великий полководец!.. Не медли, действуй!

— Ты не полководец,— сказал величественно шах, подняв палец, украшенный алмазным перстнем,— ты храбрый джигит, ты можешь быть начальником даже

нескольких тысяч джигитов, которые, как безумные, налетают на врага... А я не могу поступать, как храбрый, но безумный джигит. Я должен все продумать, все предусмотреть. Я решил иначе. Я с тобой отправлюсь в Келиф, где буду охранять переправу через реку Джейхун.

— А нашу родную страну бросишь? Тогда народ будет прав, посылая проклятия всему роду хорезм-шахов за то, что мы умели только сдирать с него подати, а в день опасности бросили его на растерзание татар!

— В Иране я соберу огромное свежее войско.

— Нет, падишах! Теперь надо действовать теми силами, которые у тебя в руках. Поздно обучать другое войско, когда твое остается без вождя, укрывшись за стенами. Войско готовят двадцать лет для того, чтобы одержать победу в один день. Едем в Самарканд! Я буду драться простым джигитом рядом с тобой!..

— Нет, нет! Приказываю тебе отправляться в Балх и собирать там новое войско. Счастье покинуло меня.

— Счастье?— воскликнул с яростью Джелаль эд-Дин.— Что такое счастье? Разве счастье может покинуть смелого? Нельзя убегать от счастья! Надо гнаться за ним, нагонять его, хватать за волосы и подгибать под свое колено... Вот как добиваются счастья!..

— Довольно! Ты навсегда останешься взбалмошным джигитом! Ты не сможешь спасти от крушения великий Хорезм...

Хорезм-шах торопливо спустился из беседки и, задыхаясь, быстро направился к террасе дома, где были разостланы ковры с обильным дастарханом. Там, совершив молитву, шах приступил к еде, расспрашивая о дорогах, переправах, и, не докончив обеда, приказал подавать лошадей.

Глава пятая

НЕУКРОТИМЫЙ ТИМУР-МЕЛИК

В Отраре Чингиз-хан оставил сыновей Угедэя и Джагатая с частью войска и сказал им:

— Вы будете осаждать город Отрар, пока не захватите живьем начальника Инальчик Каир-хана. Приволо-

ките его ко мне на цепи. Я сам назначу дерзкому небывалую казнь.

Старшему сыну Джучи он приказал взять города Дженд и Енгикент. Остальные части своего войска каган направил в разные стороны.

Алак-нойона с пятью тысячами всадников Чингиз-хан послал к городу Бенакету, где стоял отряд кипчаков. После трех дней осады жители выслали стариков и просили пощады. Алак-нойон приказал, чтобы все мужчины вышли из города и построились в поле — отдельно воины, отдельно ремесленники и прочий народ. Когда воины сложили в указанном месте свое оружие и отошли, монголы всех их перебили булавами, мечами и стрелами. А из остальных пленных монголы выделили самых сильных юношей, разделили их по тысячам, сотням и десяткам, поставили над ними своих начальников и погнали дальше, как скотину, чтобы они ломали стены осаждаемых городов и первыми шли на приступ.

В пути к ним примкнули другие монгольские и союзные отряды, так что у Алак-нойона собралось около восьмидесяти тысяч воинов. Они подошли к городу Ходженту, омываемому быстрой и многоводной рекой Сейхуном. Жители города возложили свои надежды на неприступность старинных высоких стен и отказались сдаться.

Начальником войск города только что был назначен Тимур-Мелик, искусный в военном деле, известный смелостью, упорством и прямотой. Он успел соорудить высокую крепость на острове посреди Сейхуна в том месте, где река расходится на два протока, и сложил там запасы оружия и еды.

Когда прибыли монголы и пригнали захваченных пленных, тогда под ударами плетей и мечей мусульмане полезли штурмовать стены Ходжента. Жители его, не желая драться с братьями своего народа, решили прекратить защиту.

Тимур-Мелик с тысячью отважных джигитов переплыл реку, захватив все суда, и укрепился на острове.

А жители Ходжента выслали к монголам знатных лиц с мольбой о пощаде и отворили ворота. Монголы немедленно разграбили город.

Монголы обстреливали крепость на острове из метательных машин, но камни и стрелы до укреплений не долетали. Тогда монголы выгнали из Ходжента всех

юношей и, присоединив к ним пленных из Бенакета и других селений, собрали на обоих берегах реки около пятидесяти тысяч человек. Разделив их на десятки и сотни, монголы гоняли их за три фарсаха[1] к ближайшей горе и заставляли таскать оттуда камни, чтобы загородить плотиной реку.

Тимур-Мелик тем временем изготовил двенадцать плотов, закрытых сверху для защиты от огня мокрыми войлоками с глиной. По сторонам были оставлены прорези для стрельбы. Ежедневно на рассвете он направлял в каждую сторону реки по шести плотов, и воины его отчаянно бились с монголами, а монгольские стрелы с горючим составом их плотам не вредили.

По ночам Тимур-Мелик устраивал вылазки, внезапно нападал на спящих монголов, так что монгольское войско постоянно находилось в тревоге.

Китайские инженеры, сопровождавшие монголов, построили новые, более мощные дальнобойные машины. Катапульты, выбрасывавшие камни и большие стрелы, начали наносить сильный урон воинам Тимур-Мелика. Видя, что дело его становится безнадежным, Тимур-Мелик в темную ночь, приготовив семьдесят судов и плотов, сложил на них пожитки и посадил воинов. Внезапно на всех судах запылали костры и факелы, и огненным потоком они понеслись вниз по реке, увлекаемые ее бурным течением.

Монгольское войско погналось за ними по обоим берегам. Тимур-Мелик направлял лодки и плоты туда, где показывались монголы. Стрельбой из луков он отгонял их и направлял суда дальше. Приплыв к Бенакету и одним ударом перервав цепь, протянутую монголами через реку, суда и плоты пронеслись мимо.

Опасаясь, нет ли еще на реке более сильных преград, Тимур-Мелик, заметив близ Бар-Халыгкента большие табуны, пристал к берегу и, посадив воинов на коней, поскакал в степь; монголы его преследовали. Воинам Тимур-Мелика приходилось останавливаться, сражаться, отгонять монголов и затем снова пробиваться вперед.

Никто не хотел сдаваться, и только немногие спаслись, проскользнув ночью между монгольскими лагерями. Тимур-Мелик остался с несколькими воинами, но

---

[1] Три фарсаха — около 21 км.

продолжал отбиваться, направляясь все дальше в степь, надеясь на силу своего коня.

Когда последние спутники Тимур-Мелика были убиты, а в колчане его осталось всего три стрелы, за ним гнались уже только три монгола. Стрелой он попал в глаз одному монголу и бросился на остальных. Те повернули коней и ускакали.

Тимур-Мелик с двумя стрелами в колчане добрался до колодца в песках, где стояли туркмены из отряда Кара-Кончара. Они дали свежего коня, и на нем Тимур-Мелик доехал до Хорезма, где опять занялся приготовлениями к дальнейшей войне с Чингиз-ханом.

Глава шестая

МОНГОЛЫ ИДУТ ЧЕРЕЗ ПЕСКИ

Этот проклятый народ ездит так быстро, что никто не поверит, если сам не увидит.

(Клавиго, XV в.)

В ту пору, когда в Отраре дымились развалины сожженных зданий и упрямый Инальчик-хан, засев в крепостной цитадели, упорно отбивался от взбиравшихся на стены монголов, Чингиз-хан, развернув девятихвостое белое знамя, приказал своим отрядам быть готовыми к выступлению.

Чингиз-хан призвал сыновей и главных военачальников. Все сидели кольцом на большом войлоке. Каждый уже получил приказ, в какую сторону и на какой город ему двинуться, но никто не осмелился спросить у грозного владыки, в какую сторону помчится его белое знамя.

— В мое отсутствие,— сказал Чингиз-хан,— над всем войском будет начальствовать осторожный Бугурджи-нойон. Передовые отряды поведет стремительный в набегах Джебэ-нойон и опытный в засадах Субудай. Не смейте на полях топтать хлеб, иначе коням нечем будет кормиться. Мы встретим шаха Мухаммеда на равнине между Бухарой и Самаркандом. Мы нападем на него с трех сторон. Уничтожив главное войско хорезм-шаха, я стану повелителем всех мусульманских стран.

Выпив кумысу и сделав затем возлияние духу — покровителю воинов Сульдэ, обитающему в белом знаме-

ни,— Чингиз-хан сел на коня, и войско двинулось в поход. Одни отряды пошли вдоль реки Сейхуна вверх по течению, другие вниз, а Чингиз-хан по караванным тропам углубился в пески Кзыл-Кумов.

Днем февральское солнце ослепительно сияло и пригревало, ночью лужи замерзали, и твердела вьющаяся по глинистым такырам[1] узкая тропа. Войско двигалось бесшумно, не было слышно ржания коней, звона оружия, никто не решался запеть песню. Отряды держались близко друг к другу. Остановки делались короткие, и воины засыпали на земле около передних копыт коней.

Ночью впереди рыскали разведчики с пылающими факелами. Они взбирались на холмы, подавая огнями сигналы, чтобы отряды не сбились с дороги и не перемешались. Рассказывали, что среди враждебных мусульманских войск выделяются туркменские всадники на быстрых длинноногих конях. Они вылетают барсами из-за холмов, врезаются в ряды, производят смятение и так же быстро изчезают, волоча на арканах пленных.

Сперва монголы предполагали, что их войско двинулось через пустыню прямо к Гурганджу, главной столице Хорезма. Но через два дня пути, когда мутные воды Сейхуна остались позади, а солнце утром вставало не за спиной, а слева, все поняли, что головы коней повернуты не на запад, а на юг, к славным городам — Самарканду и Бухаре.

Чингиз-хан ехал в середине войска на светло-рыжем иноходце с черными крепкими ногами и черным ремнем вдоль спины. Все войско шло ускоренной тропотой, «аяном» (или «волчьим ходом», как называют такой ход татары). Великий каган сидел на коне, невозмутимый и непроницаемый, держа левой рукой ослабленные поводья; его глаза были зажмурены, открывались изредка тонкие щелки, и нельзя было понять: дремлет ли он на ходу, думает ли свои думы, или сквозь щелочки зорко осматривает и близкое и дальнее, все замечая и ничего не забывая.

В этом походе Чингиз-хан не допускал никакого промедления; юрты ему не ставили, и он спал на сложенном войлоке. Перед сном он снимал кожаный шлем и покрывал седую голову шапкой с наушниками, подбитой

[1] Такыры — незасыпанные песками глинистые места.

черным соболем. Он дремал, а около него неотлучно сидели четыре верных телохранителя, загораживая кагана войлоком от ветра, дождя или снега.

Глава седьмая

В ОСАЖДЕННОЙ БУХАРЕ

В то время, когда нужна суровость, мягкость неуместна. Мягкостью не сделаешь врага другом, а только увеличишь его притязания.

(Саади)

Целый день дервиш Хаджи Рахим, мальчик Туган и Курбан-Кызык бродили по Бухаре, тщетно отыскивая себе место для ночлега. К вечеру громко стучали запиравшиеся двери лавок, народ спешно расходился и исчезал с улиц, прячась за высокими глухими стенами. Напрасно три путника просили приютить их на ночь, они слышали один ответ:

— У нас уже полно гостей, ищите дальше!

Закрылись и постоялые дворы и ашханы[1], где хозяева спрашивали горсть дирхемов только за право переночевать в тесноте, сидя среди толпы беженцев. А смотрители за порядком и нравственностью, «раисы», вместе со сторожами, вооруженными длинными палками, обходили улицы, грозя бросить в «подвал возмездия» подозрительных людей, которые пробираются по улицам с бесчестными целями.

Наконец в глубине узкого переулка, где у крепостной стены приютились полуразвалившиеся хижины, Курбан-Кызык предложил взобраться на плоскую крышу дома и там укрыться среди вороха хвороста и соломы. Он влез первый и помог взобраться своим спутникам. Там они притаились, прижавшись друг к другу и укрывшись широким плащом дервиша.

Ночью их пронизывал холодный ветер, осыпая снежной пылью. Город долго еще гудел, постепенно замирая, пока, наконец, совсем не затих. Теперь слышались только трещотки ночных сторожей и лай перекликавшихся в разных концах города сторожевых собак.

---

[1] Ашхана — харчевня.

На другой день, когда азанчи[1] пропели с высоты тонких минаретов призывы к утренней молитве, трое друзей поднялись на высокую стену города, куда спешили возбужденные, перепуганные жители.

На равнине перед восточными воротами на одиноком бугре выделялся невиданный большой желтый шатер. Вокруг шатра передвигались густые массы всадников. Отдельными отрядами они проносились по полям, огибая стены города. У них был непривычный для бухарцев вид, маленькие кони неслись вскачь с быстротой взбесившихся кабанов, легко поворачивали в стороны и внезапно останавливались, чтобы снова мчаться в новом направлении. Металлические шлемы и железные пластинки броней блестели в лучах солнца, пробивавшегося сквозь облака пыли. Новые отряды всадников гнали многотысячную толпу поселян с кетменями и шестами на плечах.

— Кто эти странные люди на маленьких лошадях? — спросил Курбан-Кызык.

— Чего спрашиваешь? — сказал угрюмый воин, стукнув о землю копьем. — Разве не видишь, что это не наши, не мусульмане? Это пришли они, яджуджи и маджуджи, которых люди зовут татарами. А в этом желтом шатре сидит и посмеивается, глядя на нас, их главный хан, — да поразит его аллах!

Курбан-Кызык воскликнул:

— Ворота города закрыты! Теперь меня не выпустят! Что будут делать мои бедные дети? Мне придется, может быть, просидеть здесь целый год!

По стене шел важный начальник — хаджиб, в стальном шлеме и серебристой кольчуге. Курбан, сложив руки на груди, подбежал к нему и, поцеловав край одежды, сказал:

— Великий бек-джигит Инаньч-хан, узнаешь ли ты меня? Я твой батрак, арендатор Курбан-Кызык! Салям тебе!

— Почему же ты здесь, а не в своей сотне?

— По приказу падишаха я пришел пешком в Бухару сражаться с неверными. В пути у меня увели мою кобылу, — да убьет аллах вора молнией! Здесь же я хожу

[1] Азанчи или муэдзин — мулла, с вершины минарета призывающий мусульман на молитву.

целых два дня, чтобы найти того сотника, который будет моим начальником. Но никто не хочет и говорить со мной. Если никому нет дела до воина, который пришел сложить голову за падишаха, то кто же будет драться с этими яджуджами?

— Я рад слышать такие доблестные слова, мой Курбан-Кызык, — сказал Инаньч-хан. — Я вижу — у тебя сильные руки и горб на спине от упорной работы в поле. Ты можешь на войне стать великим богатырем. Я беру тебя в мой отряд. Следуй за мной.

Так расстался Курбан с дервишем и его спутником Туганом.

Следуя за Инаньч-ханом, Курбан пришел на площадь, где стояли на привязи кони, дымили костры, в котлах варился рис и доносился аромат бараньего сала. «Здесь не только гонят людей на убой, но также их кормят», — обрадовался Курбан.

— Ойе, чауш[1] Ораз! — крикнул Инаньч-хан, обращаясь к высокому мрачному туркмену с черной бородой, склонившемуся при виде своего начальника. — Вот поступает под твое начальство смелый воин Курбан-Кызык. Он хорошо работал на пашне, будет хорошим джигитом и на войне.

— Посадить его на коня, или он будет драться пешим?

— Ты дашь ему саблю, коня и все прочее, что понадобится. Аллах вам подмога! — И Инаньч-хан ушел.

Чауш Ораз был начальником десяти всадников. Все они сидели кружком близ костра. Один, с большой деревянной ложкой в руке, на приветствие Курбана ответил:

— Хорошо, что ты принес такое большое копье. У меня не хватает дров для плова. — И он взял тяжелое копье Курбана, разрубил топором на мелкие куски и подбросил их в костер

— Вот будет твой конь,— сказал Ораз и подвел Курбана к рослому сивому жеребцу, привязанному в стороне от других коней.— Он очень горячий, и ты не подходи к нему с хвоста — убьет! — а только со сто-

---

[1] Чауш — воин.

роны головы, и сразу хватай за повод. Но он к тебе привыкнет. Одно плохо — конь не держится в строю, а летит вперед, особенно в скачке. Поэтому ты не распускай поводья, а то в бою он тебя унесет прямо к татарам.

Курбан с опаской подошел к коню, который при его приближении прижал уши, оскалил зубы и подкинул задом. «Аллах мне подмога»,— подумал Курбан и вернулся к костру. Ораз дал ему старую большую саблю, желтые стоптанные верховые сапоги и пригласил принять участие в ужине. Тут Курбан почувствовал, что он стал действительно воином-джигитом, как и другие.

К вечеру все воины дали коням вволю ячменя и насыпали его еще в переметные сумы. То же сделал и Курбан.

— Сейчас начнется горячая работа! — сказал чауш Ораз и крикнул:— По ко́ням!

Все сели на коней. Курбан с трудом взобрался на своего беспокойного жеребца и вместе с остальными тронулся в путь по узким улицам Бухары.

— Будет вылазка, — сказал соседний джигит. — Много ли нас вернется?

Около городских ворот отряд остановился. Здесь была площадь, куда стали прибывать другие отряды, и всего набралось около пяти тысяч всадников.

Начальники отдельных отрядов подъехали к Инаньч-хану, и он сделал им такие указания:

— Мы бросимся на желтый шатер, где сидит главный татарский каган. Рубите всех! Пленных не брать! Мы сделаем переполох в татарском лагере, а другие наши войска легко справятся с язычниками. Смелым аллах подмога!

Тяжелые окованные ворота раскрылись, и всадники стали выезжать из города. Когда Курбан оказался в поле, он видел в сумерках только тени ехавших впереди джигитов, а вдали бесчисленные огни татарского лагеря. Кони перешли на рысь, ускоряя ход, понеслись вскачь. Сивый жеребец, которого Курбан старался сдерживать, помчался, закусив удила, и легко стал обходить скакавших соседей-джигитов.

Пять тысяч всадников неудержимой лавиной мчались на татарский лагерь и со страшным ревом ворвались в ряды костров, опрокидывая людей, прыгая через разбросанные вьюки и седла.

Татары, вскочив на коней, разлетелись во все стороны. Курбан проносился между всадниками, с криками размахивая тяжелой старой саблей; он кого-то ударил, кого-то сбил с ног и все хотел доскакать до желтого шатра главного татарского хана.

Но вдруг он заметил, что весь его отряд, повернув, не стал преследовать татар, а помчался в сторону. Его сивый конь бросился вслед за другими всадниками, и Курбан молился аллаху только о том, чтобы вместе с конем не свалиться в канаву.

Кони мчались долго, потом, сдерживая бег, постепенно перешли на шаг, отряд двигался по большой дороге, ведущей от Бухары на запад.

Всадники ехали спокойно всю ночь. Утром Инаньч-хан объявил остановку.

— Мы дадим передышку коням, затем доедем до реки Джейхуна, переправимся и двинемся на соединение с войсками хорезм-шаха.

В это время послышались шум и отчаянные вопли,— вдали показались татары. С ужасным воем они мчались на отдыхающий лагерь. Бухарские всадники едва успели вскочить на коней и, потеряв мужество, бросились прочь без боя, этим готовя себе гибель. Почти весь отряд был уничтожен татарами.

Поэт сказал: «Кто живет в страхе перед смертью, того она все равно настигнет, хотя бы он старался взобраться от нее даже на небеса!»

Глава восьмая

БУХАРА СДАЛАСЬ БЕЗ БОЯ

> Кто не защищает отважно оружием своего водоема, у того он будет разрушен. Кто на других не нападает — терпит унижение.
>
> *(Арабская пословица)*

Когда пять тысяч воинов Инаньч-хана вместо защиты «благородной Бухары» сменили воинскую доблесть на позор бегства, в главной мечети города собрались знатнейшие жители из беков, имамов, ученых улемов и богатейших купцов. Они долго совещались и решили:

— Склонившаяся голова легче сохранит свою жизнь.

чем непокорная. Поэтому пойдем на служение к Чингиз-хану.

-- Люди — везде люди! Хан татарский,— говорили они, выслушает наши мольбы, окажет внимание седобородым и, наверное, отнесется милостиво к покорившимся жителям древнейшего города, прославленного, как «светлая звезда на небесах просвещения».

Надев шелковые и парчовые халаты, неся на серебряном подносе золотые ключи от одиннадцати ворот города, беки, имамы, улемы и купцы толпой вышли из ворот и направились к желтому шатру. К ним тотчас подъехал на коне главный переводчик кагана. Некоторые из стариков узнали его. Раньше это был богатый купец в Гургандже. Махмуд, прозванный Ялвач, прославленный как переводчик, потому что во время своих долгих путешествий с караванами он изучил много иноземных языков.

Знатнейший из стариков сказал:

— Древние стены нашего города так крепки и высоки, что взять их можно только после многолетней осады и крайних усилий. Поэтому, чтобы избавить население от кровопролития и не доставить излишних бедствий и потерь храброму войску великого падишаха Чингиз-хана, мы предлагаем сдать наш город без боя, если монгольский владыка даст слово, что пощадит покорившихся.

— Подождите!— сказал переводчик. Он не торопясь поехал к желтому шатру и, тоже не торопясь, вернулся к старикам, дрожавшим от страха.

— Слушайте, седобородые, что сказал великий каган: «Крепость и неприступность стен равна мужеству и силе их защитников. Если вы сдаетесь без боя, то приказываю открыть ворота и ждать».

Высокомерные знатные старики схватили себя за бороды и, покачав головой, посмотрели друг на друга. Со смущенным сердцем они вернулись в город, не предвидя, какие испытания теперь предстояли его жителям.

Древние стены Бухары были так высоки и прочны, что много месяцев могли бы охранять ее мирное население. Но в этот день был слышен только голос малодушных, тех же, кто требовал борьбы, называли безумцами.

Начальник обороны и оставшиеся с ним воины прокляли имамов и знатных стариков, отдавших неверным ключи от ворот города, и решили биться до последнего издыхания. Они заперлись в небольшой крепости, возвышавшейся посреди Шахристана.

Все одиннадцать ворот города открылись одновременно, и тысячи татар стали быстро въезжать в узкие улицы. Они двигались в полном порядке, и разные отряды занимали отдельные кварталы.

Жители, взобравшись на плоские крыши, со страхом смотрели на безбородых воинов, сидевших на низкорослых конях с длинными гривами. Полная тишина охватила город. Одни только желтые узкомордые собаки, с взъерошенною шерстью и красными глазами, яростно прыгали с крыши на крышу, заливаясь неистовым лаем, чувствуя острую вонь прибывших неведомых людей.

Когда монгольские воины проникли во все главные улицы, показался на белых конях отряд телохранителей, покрытых, как их кони, до самых колен железными латами.

Посреди отборной тысячи показался и он, владыка Востока, вылетевший из песков Кзыл-Кумов, как столб огня. Впереди ехал богатырского вида монгол, держа большое белое знамя с девятью трепетавшими хвостами. За ним два всадника вели неоседланного белого коня с черными огненными глазами. А далее следовал великий каган, в длинной черной одежде, на саврасом широкогрудом коне с простой кожаной сбруей.

Чингиз-хан ехал угрюмый, большой, сутулый, перетянутый кожаным поясом, на котором висела изогнутая сабля в черных ножнах. Черный шлем с назатыльником, стальная стрелка, спущенная над переносицей, неподвижное темное лицо с длинной седеющей бородой и полузакрытые глаза — все это было необычно и не похоже на прежнюю яркую пышность залитых золотом и сверкавших драгоценными каменьями хорезм-шахов.

Чингиз-хан прибыл на главную площадь, где по трем сторонам прямыми рядами выстроились всадники его охраны, не подпуская напиравшую толпу. На ступенях высокой мечети стояли высшие духовные и судебные лица и знатнейшие жители города.

Когда монгольский владыка приблизился к мечети, вся толпа повалилась на землю к копытам саврасого коня, как привыкла это делать перед своим падишахом. Только несколько старых улемов стояли прямо, сложив руки на животе, освобожденные своей ученостью от обязанности падать ниц перед владыкой.

— Да живет падишах Чингиз-хан! Да здравствует солнце Востока!— тонким пронзительным голосом завопил один старик, и вся толпа нестройным хором подхватила этот крик.

Чингиз-хан, прищурив глаз, смерил взглядом высокую арку мечети и, хлестнув плетью, направил своего коня вверх по каменным ступеням.

— Этот высокий дом правителя города?— спросил каган.

— Нет, это дом бога,— ответили имамы.

Окруженный телохранителями, Чингиз-хан проехал внутри мечети по драгоценным широким коврам и сошел с коня возле гигантской книги Корана, развернутой на каменной подставке выше человеческого роста. Вместе с младшим сыном, Тули-ханом, каган поднялся на несколько ступенек мембера, откуда имамы обычно читают проповеди. Старики в белых и зеленых чалмах теснились перед ними и расширенными глазами всматривались в неподвижное темное лицо с рыжей жесткой бородой, ожидая от страшного истребителя народов или милости, или великого гнева.

Чингиз-хан поднял палец и направил его на чалму одного старика имама.

— Почему он наворачивает на голову столько ткани?

Переводчик спросил старика и объяснил кагану:

— Этот имам говорит, что он ходил в Арабистан в Мекку помолиться богу и поклониться гробу пророка Магомета. Поэтому он и носит такую большую чалму.

— Незачем для этого куда-то ходить,— сказал Чингиз-хан.— Молиться богу можно везде.

Пораженные имамы, раскрыв рты, молчали. Чингиз-хан продолжал:

— У вашего шаха гора преступлений. И я пришел, как бич и казнь неба, чтобы его покарать. Приказываем, чтобы отныне никто не давал шаху Мухаммеду ни крова, ни горсти муки.

Чингиз-хан поднялся еще на две ступеньки и крикнул своим воинам, теснившимся в дверях мечети:

— Слушайте, мои непобедимые воины! Хлеб с полей снят, и коням нашим пастись негде. Но амбары здесь полны хлеба и открыты для вас. Набивайте зерном животы ваших коней!

По всей площади пронеслись крики монголов:

— Амбары Бухары для нас открыты! Великий каган приказывает кормить хлебом наших коней.

Сойдя с мембера, Чингиз-хан приказал:

— Пусть к каждому из этих стариков будет приставлен один багатур, и они, ничего не скрывая, укажут все богатые дома, амбары с хлебом и лавки с товарами. Писцы пусть от этих стариков узнают и запишут имена всех богатых торговцев, и они вернут мне все богатства, отнятые у моих купцов, перебитых в Отраре. Пусть богачи привезут сюда еду и питье, чтобы мои воины насыщались, радовались, пели и плясали. Я буду сегодня праздновать захват Бухары в этом доме мусульманского бога.

Старики с монгольскими воинами удалились и вскоре стали возвращаться с верблюдами, нагруженными медными котлами, мешками риса, бараньими тушами и кувшинами, полными меда, масла и старого вина.

Глава девятая

„ХОРОШО В СТЕПЯХ КЕРУЛЕНА!“

На площади перед главной мечетью задымили костры, в котлах зашипели бараньи курдюки, рис и накрошенная баранина.

Чингиз-хан сидел на шелковых подушках на высокой площадке перед входом в мечеть. Около него теснились военачальники и телохранители. В стороне бухарские музыканты и хор разноплеменных девушек, приведенных бухарскими стариками, играли на разных инструментах и выбивали дробь на бубнах и барабанах.

Знатнейшие имамы и улемы сторожили монгольских коней, подбрасывая им охапки сена. Переводчик Чин-

гиз-хана Махмуд-Ялвач сидел неподалеку от кагана, настороженно следя за всем; позади него три писца из бывших его приказчиков, сидя на пятках, быстро писали на плоской цветной бумаге распоряжения или пропуска через монгольские посты.

Монгол в длинной шубе до пят, обвешанный оружием, пробрался через ряды сидевших и, наклонясь к уху Махмуд-Ялвача, пробурчал ему:

— Мой разъезд задержал двух людей — одного вроде шамана, в высоком колпаке, другого мальчика. Когда мы хотели их прикончить, старший сказал по-нашему: «Не трогай нас! Махмуд-Ялвач наш приемный отец — аньда»... Так как нам приказано шаманов и колдунов щадить, да еще он «аньда», я приказал их пока не трогать. Что прикажешь с ними делать?

— Приведи их сюда!..

Монгол привел Хаджи Рахима и мальчика Тугана. Махмуд-Ялвач жестом руки приказал им сесть на ковре рядом с писцами.

Чингиз-хан никогда, даже на хмельном пиршестве, не терял ясности ума и все подмечал. Он взглядом сделал знак Махмуд-Ялвачу, и тот подошел.

— Что за люди?

— Когда, по твоему повелению, я проезжал через пустыню и меня ранили разбойники, этот человек вернул мне жизнь. Разве я не должен позаботиться о нем?

— Разрешаю тебе за это его возвеличить. Объясни мне, почему у него такой высокий колпак?

— Это мусульманский искатель знаний и певец. Он умеет вертеться волчком и говорить правду. Таких людей простой народ почитает и дает им подарки.

— Пускай он повертится передо мной волчком. Посмотрю, как пляшут мусульмане.

Махмуд-Ялвач вернулся на свое место и сказал дервишу:

— Наш повелитель приказал, чтобы ты ему показал, как пляшут вертящиеся дервиши. Ты знаешь, что не исполнив воли Чингиз-хана, ты потеряешь голову. Постарайся, а я буду играть тебе.

Хаджи Рахим положил на ковер сумку, миску, кяшкуль и посох. Он покорно вышел на середину круга между пылающими кострами. Он встал так, как это делают дервиши в Багдаде: раздвинул руки, правая ла-

донь пальцами вниз, а левая рука ладонью кверху. Дервиш несколько мгновений ждал. Махмуд-Ялвач заиграл на свирели жалобную песенку, переливавшуюся то как всхлипывание ребенка, то как тревожный крик иволги. Музыканты тихо ударяли в бубны. Дервиш бесшумно двинулся по кругу, скользя по старым каменным плитам, и одновременно стал вертеться, сперва медленно, потом все ускоряя темп; его длинная одежда раздувалась пузырем. Все жалобнее и тревожнее пела свирель, то замолкая, когда гудели одни бубны, то снова начиная всхлипывать.

Наконец дервиш быстро завертелся на одном месте, как волчок, и упал ничком на ладони.

Нукеры подняли его и положили около писцов. Чингиз-хан сказал:

— Жалую бухарскому плясуну чашу вина, чтобы разум вернулся в его закрутившуюся голову. А все же наши монгольские плясуны прыгают выше и песни поют и громче и веселее. Теперь мы желаем послушать монгольских песенников.

На середину площадки перед каганом вышли два монгола, один старый, другой молодой. Скрестив ноги, они сели друг против друга. Молодой запел:

Табуны родные вспоминая,
Землю бьют со ржаньем кобылицы,
Матерей родимых вспоминая,
Слезы льют со стоном молодицы.

Все монголы, тесной стеной сидевшие кругом, хором подхватили припев:

Ох, мои богатства и слава!

Старый монгол в свою очередь запел:

Быстроту коней степных узнаешь,
Коль проскачешь вихрем по курганам,
Храбрость воинов степных узнаешь,
Коль пройдешь полмира за каганом.

Снова все монголы подхватили припев:

Ох, мои богатства и слава!

Молодой певец продолжал:

Если сядешь на коня лихого,
Станут близки дальние просторы.
Если поразить врага лихого,
Прекратятся войны и раздоры.

Монголы опять повторили припев, и старый монгол запел:

Знает всяк, кто видел Чингиз-хана,
В мире нет богатыря чудесней,
Воздадим же славу Чингиз-хану
И дарами нашими и песней!

— Воздадим же славу Чингиз-хану!— воскликнули монголы.— И сегодня будем веселиться!— поддержала толпа. Все засвистали, загукали и захлопали в ладоши.

В середину круга пробрались плясуны и вытянулись в два ряда, лицом к лицу. Под пение монголов и удары бубнов они стали плясать на месте, подражая ухваткам медведей, переваливаясь, притоптывая и ловко стукая друг друга подошвами. Разом выхватив мечи, они принялись высоко прыгать, размахивать оружием, сверкая сталью мечей в красном зареве пылающих костров.

Чингиз-хан, собрав в широкую пятерню рыжую жесткую бороду, сидел неподвижный и безмолвный, с горящими, как угли, немигающими глазами.

Пляска и крики оборвались... Новый певец начал мрачную и торжественную песню, любимую песню Чингиз-хана.

Вспомним,
    Вспомним степи монгольские,
Голубой Керулен,
    Золотой Онон!
Трижды тридцать
    Монгольским войском

Втоптано в пыль
    Непокорных племен.

Мы бросим народам
    Грозу и пламя,
Несущие смерть
    Чингиз-хана сыны.
Пески сорока
    Пустынь за нами
Кровью убитых
    Обагрены.
„Рубите, рубите
    Молодых и старых!
Взвился над вселенной
    Монгольский аркан!"
Повелел, повелел
    Так в искрах пожара
Краснобородый бич неба
    Батыр Чингиз-хан.

Он сказал: „В ваши рты
    Положу я сахар!
Заверну животы
    Вам в шелка и парчу!
Все мое! Все мое!
    Я не ведаю страха!
Я весь мир
    К седлу моему прикручу!"

Вперед, вперед,
    Крепконогие кони!
Вашу тень
Обгоняет народов страх...
Мы не сдержим, не сдержим

    Буйной погони,
Пока распаленных
    Коней не омоем
В последних
    Последнего моря волнах...[1]

---

[1] Стихотворная обработка песни А. Шапиро.

Слушая любимую песню, Чингиз-хан раскачивался и подпевал низким хриплым голосом. Из его глаз текли крупные слезы и скатывались по жесткой рыжей бороде. Он вытер лицо полой собольей шубы и бросил в сторону певца золотой динар. Тот ловко его поймал и упал ничком, целуя землю. Чингиз-хан сказал:

— После песни о далеком Керулене мою печень грызет печаль... Я хочу порадоваться! Ойе, Махмуд-Ялвач! Прикажи, чтобы эти девицы спели мне приятные песни и меня развеселили!

— Я знаю, какие песни ты, государь, любишь, и сейчас объясню это певицам...— Махмуд-Ялвач прошел степенно и важно к толпе бухарских женщин и пошептался с ними.— Итак,— сказал он им,— спойте такую песню, чтобы вы завыли, как потерявшие детенышей волчицы, и пусть старики тоже подвывают... Иначе ваш новый повелитель так разгневается, что вы лишитесь ваших волос вместе с головами...

Женщины стали всхлипывать, а Махмуд-Ялвач с достоинством вернулся на свое место около монгольского владыки.

Перед хором девушек выступил мальчик в голубой чалме и в длинном полосатом халате. Он повернулся к женщинам и сказал: «Не бойтесь! Я спою!» Он запел чистым нежным голосом. Песня его была грустна и одиноко понеслась по затихшей площади при потрескивании костров, фырканье коней и глухом рокоте бубнов.

Край радости и песен, прекрасный Гюлистан[1],
Пустынею ты стал, твои сады в огне!
Завернутый в меха здесь царствует монгол...
Ты гибнешь, весь в крови, израненный Хорезм!

Хор девушек жалобно простонал припев:

Лишь слышен жалкий плач детей и пленных жен:
Нá-а! Нá-а! Нá-а!

А за девушками все бухарские старики на площади подхватили отчаянным воплем:

О Хорезм! О Хорезм!

---

[1] Гюлистан — страна роз.

Мальчик продолжал:

С гор снеговых поток вливался в Зеравшан.
Клубился черный дым, померкли небеса.
Лишь слышен жалкий плач детей и пленных жен:
И братья и отцы — все полегли в боях!

Снова хор девушек повторил припев:

Лишь слышен жалкий плач детей и пленных жен:
На́-а! На́-а! На́-а!

И опять все бухарские старики отчаянным воплем подхватили:

О Хорезм! О Хорезм!

Только один хорезмиец, Махмуд-Ялвач, сидел молча и косился на стариков, холодный и настороженный.

— Что поет этот мальчик?— спросил, еще всхлипывая, Чингиз-хан.— И почему так воют эти старики?

— Они поют так, как ты любишь,— объяснил Махмуд-Ялвач.— В этой песне оплакивается гибель их родины. А все старики стонут: «О Хорезм!» и плачут, что их былая слава пропала...

Темное лицо Чингиз-хана собралось в сеть морщинок, рот растянулся в подобие улыбки. Он вдруг захохотал, точно лаял большой старый волкодав, и захлопал большими ладонями по грузному животу.

— Вот это для меня веселая песня! Хорошо воет мальчишка, точно плачет! Пусть плачет вся вселенная, когда великий Чингиз-хан смеется!.. Когда я сгибаю непокорную голову под мое колено, я люблю смотреть, как мой враг стонет и молит о пощаде, а слезы отчаяния текут по его исхудалым щекам...[1] Мне нравится такая жалобная песня! Хочу часто ее слушать... Откуда этот мальчишка?

— Это не мальчик, а бухарская девушка, Бент-Занкиджа́. Она умеет хорошо читать и писать и потому ходит в чалме, завязанной так, как ее носят ученые писцы... Она была переписчицей книг у шахского летописца.

— Такая девушка — редкая пленница! Пусть она всегда поет свою жалобную песню на моих пирах, и

[1] Рашид ад-Дин.

чтобы все мусульмане при этом плакали, а я радовался! Мы приказываем всех взятых в Бухаре девиц раздать моим воинам, а эту девицу возить повсюду со мною.

— Будет сделано, великий!

Чингиз-хан встал. Сидевшие вокруг монголы разом поднялись и выплеснули недопитые чаши на землю «в честь бога победы».

— Я еду дальше,— сказал Чингиз-хан.— Подайте мне коня. Таир-хан останется в этом городе наместником, и все должны ему подчиняться.

Освещенный заревом костров и бледным светом полумесяца, Чингиз-хан поднялся на широкогрудого саврасого коня. Телохранители побежали между кострами к своим коням, которых стерегли бухарские старики, и через несколько мгновений вереница всадников, гремя копытами по каменным плитам, потянулась через площадь, въезжая в темную улицу.

КНИГА ВТОРАЯ

ПОД МОНГОЛЬСКОЙ ПЛЕТЬЮ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

УРАГАН НАД ХОРЕЗМОМ

Глава первая

ГОРЕ БРОСИВШИМ ОРУЖИЕ!

> Или мы разобьем голову врага о камень, или они повесят наши тела на городских стенах.
>
> *(Из древнего персидского стихотворения)*

В монгольском войске был порядок, установленный Чингиз-ханом. Каждый всадник знал свое место в десятке, и в сотне, и в тысяче; тысячи воинов собирались в большие отряды, подчиненные воеводам, получавшим особые приказы от начальника правого или левого крыла войск, а то и от самого монгольского кагана.

Во все части улицы богатого, многолюдного города Бухары быстро поскакали монгольские всадники. С ними были посредники из бухарских стариков и переводчики-толмачи из мусульманских купцов, раньше торговавших в монгольских кочевьях. Эти толмачи кричали жителям, испуганно засевшим в своих домах, приказы новых владык города, а на перекрестках улиц появились «караулы»[1], наблюдавшие за порядком.

Монгольский начальник города Таир-хан поселился в главной мечети, куда, во исполнение приказа Чингиз-хана, были созваны бухарские старейшины. Они представили подробные списки всех богатых жителей горо-

---

[1] Слово „караул" заимствовано от монгольского слова „харау" или „харагу", что значит: охрана, защита, застава.

да, указали тайные склады припасов, раньше заготовленных для войска хорезм-шаха, равно и частные склады и лавки с ценными товарами.

Со всех концов города потянулись к главной площади навьюченные верблюды, кони и повозки. Напуганные жители привозили мешки с зерном, груды материй, одежд, ковров, ценные сосуды и другие продукты и вещи. Все это складывалось в мечетях, и от всего имущества отделялась третья часть для монгольского владыки Чингиз-хана.

Жители, способные работать, были отправлены засыпать глубокий ров, окружавший цитадель, в которой заперся непокорный Ихтиар-Кушлу. Он со своими воинами решил не сдаваться и биться до последнего вздоха. Были среди защитников крепости и другие ханы, среди них богатырь-монгол Гурхан, бежавший от Чингиз-хана и перешедший на службу к хорезм-шаху.

Монголы наблюдали, как работали тысячи молодых и старых бухарцев, засыпая землей и бревнами глубокий ров, и торопили их. Через два дня можно было приблизиться к высоким стенам крепости, на которых стояли вооруженные защитники.

— Мы нашу работу сделали быстро,— говорили бухарцы.— Посмотрим теперь, как быстро сумеют монголы взобраться на эти высокие стены.

По приказу монголов бухарские плотники приготовили много длинных лестниц. Тогда монголы набросились на толпу, свирепо стегая ее плетьми.

— Чего вы ждете? На что смотрите? Ставьте лестницы и полезайте на стены.

Никто из бухарцев не решался подойти к стене, откуда летели кирпичи и лилась кипящая вода и смола.

Но монголы, выхватив мечи, стеснили конями толпу упиравшихся бухарцев и, наконец, начали безжалостно бить их по головам. Бухарцы бросились вперед, закрываясь руками. Монголы продолжали их рубить, отсекая пальцы и ладони.

Толмачи убеждали толпу лезть на стену.

Некоторые из бухарцев кричали:

— Лезть на стену — смерть, стоять на месте — тоже смерть! Полезем на крепость к своим воинам. Может быть, они нас пожалеют и перестанут драться!

Бухарцы взяли лестницы, приставили их к стенам и стали взбираться наверх с криками:

— Мы мусульмане, как и вы. Положите оружие и сдавайтесь!

Воины, бывшие наверху, подпускали близко подымавшихся, потом сбивали их камнями и бревнами, опрокидывая лестницы. Они отвечали:

— Вы — трусливые собаки! Поверните назад, бейте монголов! Смотрите, как мы все умираем джахидами, но не сдаемся! Не покоряйтесь врагам!

Стоявший на стене монгольский богатырь Гурхан бросал тяжелые камни и кричал:

— Отчего монголы прячутся за спины этих покорных баранов? Пусть они первые покажут храбрость! А куда спрятался кислолицый старик Чингиз-хан, рыжий пес, пожиратель младенцев?

И Гурхан отчаянно бился саблей, а когда она сломалась, то топором, сбрасывая влезавших, пока монголы не пронзили его стрелами.

Тем временем монголы придвинули китайские метательные машины. Они бросали в крепость большие горящие стрелы, обернутые паклей и смолой, и горшки с зажигающей жидкостью. В крепости запылали пожары.

Осада цитадели продолжалась двенадцать дней. Наконец, перебив почти всех защитников, монголы ворвались в крепость и схватили немногих оставшихся, покрытых ранами и обожженных. Они поразились, узнав, что защищали цитадель от большого монгольского войска всего четыреста человек. Они погибли, но не покорились. Если бы все жители так же стойко защищались на высоких прочных стенах города, монголам не удалось бы взять старую Бухару ни в полгода, ни в год, и бухарцы не испытали бы той ужасной участи, которую они сами себе уготовили.

Когда горожане Бухары привезли монголам свои дары, наполнив ими мечети, последовал новый приказ:

«Все жители, вместе с женщинами и детьми, должны выйти из города в поле, оставив дома все имущество и не имея с собой ничего, кроме одежды!»

Толмачи-переводчики им объяснили:

— Ни о чем не беспокойтесь, повсюду стоят часовые. Ваше имущество будет охраняться как подобает. Этот выход в поле делается, чтобы пересчитать и переписать всех жителей для правильного обложения их налогами. Кто же уклонится от приказа и останется в городе, будет убит на том месте, где его найдут.

С утра все бухарцы толпами двинулись из города. Отцы вели за руки детей, жены несли младенцев, даже дряхлые старики и старухи, годами не выползавшие из своих углов, поплелись, цепляясь друг за друга.

Монгольские разъезды проносились по всем улицам, стучали в ворота и кричали:

— Дер-халь! Хош-халь![1]

Жители выходили из одиннадцати ворот и располагались в поле, кольцом опоясав весь город. Обратно стража никого не впускала.

Тогда стало ясно, как много жителей обитало в «благородной Бухаре»,— бухарцев было в два-три раза больше, чем монголов.

Сперва монголы вместе с переводчиками объезжали жителей, спрашивая, кто из них ремесленник и какое мастерство знает. Таких опытных ремесленников они выделяли в особую толпу. Затем были отобраны молодые и сильные мужчины и окружены всадниками.

Наконец монголы начали выбирать красивых женщин, девушек и детей и выводить из толпы. Тут все поняли, что они разлучаются со своими родными и, вероятно, навсегда. Поднялись крики и вопли, и полились слезы отчаяния.

Как мясники на базаре равнодушно отбирают мычащих коров или жалобно блеющих коз и гонят их ударами на бойню, так и новые хозяева Бухары били плетьми упиравшихся, набрасывали им на шею аркан и, погнав коня, вырывали из толпы.

Ужас перед монголами был так велик, что бухарцы даже не оказывали сопротивления.

Некоторые мужья и отцы при виде своей дочери или жены, волочившейся в пыли за монголом, бросались к ним, обезумев от горя, пытаясь спасти близкого чело-

---

[1] Дер-халь! Хош-халь! — Сейчас и повеселее!

века. Но монголы топтали их конями или, ударив по голове палкой с железным ядром, опрокидывали на землю.

Среди толпы бухарцев, выгнанных из города, были также ученые, проводившие долгие годы в медресе, где они передавали ученикам свои обширные познания. Двое таких ученых стояли в толпе и ужасались, видя кругом бесчеловечные насилия.

— Эти язычники грабят мечети, копыта их коней попирают листы мудрых книг. Они похищают и давят младенцев, насилуют девушек на глазах отцов,— сказал первый.— Разве я могу это стерпеть?

Второй ученый, известнейший в городе Рукн эд-Дин Имам-Задэ, ответил:

— Молчи! Несется ветер гнева аллаха! Соломе, развеваемой ветром, нечего говорить!

Однако недолго старый Рукн эд-Дин мог выдержать спокойствие и покорность. Видя, как жестоко монголы обращаются с женщинами, Рукн эд-Дин и его сын вступились за них и тут же были убиты. То же испытали многие другие: видя позор и унижение своих семейств, они бросались на их защиту и падали от смертельных ударов монголов.

Это был ужасный день, когда слышались только крики, стоны умирающих и плач женщин и детей, навсегда расстававшихся с их отцами, мужьями и братьями. Мужчины были бессильны чем-либо помочь, и вспоминались слова поэта: «Кто не захотел крепко держать черную рукоять меча, на того повернется острый клинок его».

Монголы вернулись в покинутые населением пустынные улицы. Когда они разбрелись по домам и вьючили на коней награбленные вещи, город загорелся сразу со всех концов. Огненные языки и черный дым поднялись над древней Бухарой, закрыв солнце. Постройки были легкие, из дерева и глины, и город быстро обратился в огромный костер. Сохранились от разрушения только главная мечеть и стены некоторых дворцов, построенные из кирпичей.

Монголы, спасаясь от бушевавшего огня, помчались из города, бросая награбленное. Много лет затем город оставался в виде груды закоптелых развалин, где скрывались одни совы и шакалы.

Глава вторая

СТАРЕЙШИНЫ САМАРКАНДА ПРЕДАЛИ ГОРОД

Все — жертва вашего распутства и веселья. На пальцах рук у вас не хенна, нет, то кровь!

(*Риза Тевфик*)

Чингиз-хан двинулся из Бухары к Самарканду ранней весной года Дракона (1220). Войско шло по обоим берегам Зеравшана. Не делая на этот раз особых притеснений тем, кто ему покорялся, каган оставил отряды для осады городов Серипуль и Дабусие, которые заперли перед монголами свои ворота.

Прибыв к Самарканду, Чингиз-хан выбрал местом своей стоянки загородный «Зеленый» дворец хорезмшаха («Кексерай»). Сюда стали прибывать отряды его четырех сыновей и толпы пленных, которых монголы гнали плетьми, как скотину. Все эти отряды располагались вокруг города, образовав непрерывное кольцо.

Из всех городов Хорезма Самарканд был наиболее укреплен. Старые высокие стены неприступной толщины имели железные ворота с башнями и бойницами по сторонам. Гарнизон насчитывал сто десять тысяч воинов. Из них шестьдесят тысяч говорило тюркскими наречиями, это были главным образом кипчаки, а остальные войска состояли из таджиков, гурцев, кара-китаев и других племен. Имелось еще двадцать боевых слонов устрашающего вида; на их помощь очень надеялся хорезм-шах. Кроме того, можно было собрать целое войско добровольцев из мирного населения, состоявшего из ремесленников и их многочисленных рабов.

Если бы во главе защиты Самарканда был поставлен испытанный и неукротимый полководец вроде Каир-хана или Тимур-Мелика, то город держался бы долго — не менее года,— пока хватило бы съестных припасов. Но хорезм-шах назначил главным начальником войск Самарканда своего дядю, надменного Тугай-хана, никогда не бывшего полководцем, брата ненавидимой царицы-матери Туркан-Хатун.

Чингиз-хан два дня объезжал город, осматривал стены, валы, глубокие рвы, доверху наполненные водой; он отыскивал слабые места защиты и обдумывал план нападения.

Чтобы скрыть свои действительные силы и напугать осажденных, монголы выстроили пригнанных пленных в боевой порядок, на каждые десять человек дали знамя. Жителям Самарканда издали казалось, что город окружило бесчисленное войско врагов.

Тюркские военачальники Алп-Эр-хан, Сиюндж-хан и Балан-хан вышли со своими отрядами кипчаков из городских ворот и напали на монголов. Завязались упорные схватки. Хотя мусульмане и захватили в плен нескольких монголов, но сами потеряли около тысячи человек и вернулись под защиту крепостных стен.

На следующий день кипчакские воины уже не захотели выходить из города. Добровольцы из жителей Самарканда сделали внезапную вылазку. Монголы обратились в притворное бегство. Самаркандцы погнались за ними и попали в засаду: со всех сторон на них напали поджидавшие воины, отрезав отступление, и перебили почти всех. Лишь немногие вернулись в город.

Утром третьего дня Чингиз-хан сел на коня и лично руководил штурмом Самарканда. Все свои войска он расставил вокруг стен и против всех ворот. Монголы нападали на выезжавших из города, поражая их стрелами из своих больших тугих дальнобойных луков; они бились со смельчаками целый день до вечера, а затем обе стороны вернулись в свои лагери.

В эту ночь самые знатные лица Самарканда — главный судья (кади), глава духовенства шейх-уль-ислам и старейшие хранители мечетей — имамы — устроили ночное совещание, решив покорно сдаться. Утром они вышли из города и направились в лагерь кагана. Они хотели выпросить у монгольского владыки милости к осажденному городу. Чингиз-хан «обещал им безопасность от гнева своего и позволил разойтись по домам», и посольство вернулось с радостью в город. Тогда, за исключением отряда смелых, который укрывался в цитадели, кипчакские ханы, имея во главе начальника всех войск Тугай-хана, также поспешили явиться с поклоном к монголам и предложили принять их к себе на службу. И на это Чингиз-хан, милостиво посмеиваясь, согласился.

Утром шестого дня осады отворились главные «Ворота намаза» и монголы ворвались в столицу хорезмшаха. Они пригнали пленных и приказали им разрушить стены.

Однако, вопреки обещаниям Чингиз-хана не делать зла городу, все мужчины и женщины Самарканда, разделенные по сотням, были выгнаны в поле, и там монголы их начисто ограбили и подвергли насилиям. Исключение было сделано только для очень немногих лиц, на которых указали предатели — главный кади и шейх-ульислам. Их монголы не тронули.

Населению было объявлено, что монголам разрешено проливать безнаказанно кровь всякого, кто вздумает скрываться в домах, когда все жители выведены в поле. Пользуясь этим приказом, монголы зарезали множество мирных жителей.

Кипчакское войско в тридцать тысяч воинов, вместе с женами и детьми, имея во главе дядю хорезм-шаха Тугай-хана, вышло из города, чтобы служить врагам. Монголы приказали им сложить оружие, обещав взамен выдать монгольское. Они объявили, что кипчаки, поступив на службу к Чингиз-хану, должны иметь также и облик монгольский. Поэтому им выбрили полумесяцем волосы на голове. Для лагеря монголы указали им особую долину. Там кипчаки поставили свои шатры и расположились вместе с семьями. А на другой день внезапно монголы на них напали и всех перебили, забрав имущество. Оставшиеся в живых сказали про погибших кипчаков: «У них не оказалось мужества ни для боя, ни даже для бегства».

А в эту ночь из гарнизона, укрывшегося в цитадели, выехала тысяча отчаянных джигитов во главе с Алп-Эрханом. Они смело пробились сквозь ряды монголов и, пользуясь темнотой, скрылись. Впоследствии они соединились с войском Джелаль эд-Дина.

Оставшиеся защитники крепости продолжали биться. Тогда монголы разрушили плотины канала Джакердиза, имевшего искусно сделанное из свинца русло. Вода затопила окрестности цитадели и подмыла стены, так что сквозь обвалы монголы проникли в цитадель и перебили всех, кого нашли.

Из выведенных в поле жителей монголы отделили искусных ремесленников, чтобы их отправить к себе, в далекую Монголию. А ремесленники были знамениты выделкой белой тряпичной бумаги, парчи, шелковых серебристых тканей, платков, дубленых кож, конской сбруи, больших медных котлов, серебряных и металли-

ческих кубков, ножниц, иголок, оружия, луков, колчанов и множества других ценных предметов. Все лучшие мастера были отданы в рабство сыновьям и родичам Чингиз-хана и отправлены в Монголию, где они потом образовали особые ремесленные поселки. Монголы и потом не раз уводили из Самарканда различных ремесленников и молодых, сильных рабочих, так что надолго Самарканд и его область обезлюдели.

После взятия самаркандской цитадели Чингиз-хан проехал через город, где повсюду грудами лежали трупы, и вернулся в загородный дворец. Его тенистые сады умеряли начавшуюся жару, которой не выносил монгольский владыка. Страшный смрад от разлагавшихся трупов не позволял оставаться в городе, откуда бежали жители.

Глава третья

ХОРЕЗМ-ШАХ НИГДЕ НЕ НАХОДИТ СПОКОЙСТВИЯ

Когда человек падает духом, то его конь не может скакать.

(Восточная пословица)

В то время как монголы грабили землю Хорезма, шах Мухаммед находился далеко от них. Он выжидал дальнейшего хода событий, занимая с небольшим отрядом город Келиф на реке Джейхуне.

— Моя цель,— говорил он,— не позволить монголам переправиться через реку Джейхун. Скоро в Иране я соберу огромное новое войско и тогда прогоню этих ужасных язычников.

На вершине скалы, выдвинувшейся углом в реку, подымалась узкая башня, и к ней прилепились небольшие плоские хижины. Старинная каменная стена окружила их неровным кольцом.

Здесь в тоске и размышлениях пребывал хорезм-шах. На крыше башни всегда дежурил дозорный, посматривая на север. Вдали на холмах ночью загорались огни, а днем столбы дыма подавали сигналы о передвижениях неприятельских войск.

Иногда Мухаммед спускался к реке, где толпились

неуклюжие лодки с высоко поднятыми носами. Шах смотрел на мутную, стремительно проносившуюся воду, стесненную скалистыми берегами. Большая часть его войска постепенно переправилась на другую сторону Джейхуна, где на холмах виднелись постройки древнего города Келифа. Когда-то непобедимый Искендер Двурогий и его воины, привязав к груди надутые воздухом козьи шкуры, переправились здесь вплавь через узкую стремительную реку.

Когда началась осада Самарканда, хорезм-шах дважды посылал помощь осажденным: один раз десять, другой раз двадцать тысяч всадников, но оба отряда не решились дойти до столицы и снова вернулись в Келиф, объявив, что падение Самарканда нужно ждать каждый день и их помощь будто бы делу не поможет.

В Келиф прискакал Инаньч-хан с двумя сотнями измученных и израненных всадников из отряда, ушедшего ночью из Бухары. Татары нагнали этот отряд на берегу Джейхуна, почти всех перебили, и только немногим удалось спастись. Среди уцелевших был Курбан-Кызык.

Хорезм-шах был крайне потрясен, узнав, что такой большой отряд, оставленный для защиты Бухары, погиб без пользы и без славы. Шах долго не мог ни думать, ни распоряжаться. Он заметил также, что ханы ближайших округов стали уклоняться от выполнения его приказаний и не являлись на его вызовы. Отовсюду сообщали о случаях измены и перехода на сторону Чингиз-хана. Хорезм-шах видел, что порядок, им установленный, распадался, что основы его власти разваливались, а проявления преданности и покорности разлетались, как пыль.

Хорезм-шах Мухаммед сел в большую лодку. Джигиты погрузили в нее узкие кожаные ящики с его золотом и драгоценностями и ввели любимого гнедого коня. Лодка отчалила от родного берега. Вода стремительно понесла ее вниз по течению, но гребцы упорно работали веслами и шестами, направляя лодку на другую сторону.

Тяжелая лодка не могла пристать к иранскому берегу из-за подводных камней. Тогда векиль приказал высокому сухопарому воину, работавшему гребцом, перенести шаха из лодки на берег. Кряхтя, он подхватил себе

на спину дородного Мухаммеда и, шагая по воде, дошел до берега.

Сойдя на камни, шах спросил:

— Как звать тебя и откуда ты?

— Я пахарь, батрак Курбан-Кызык. Я оставил семью на клочке земли, которую мне дает в аренду Инаньч-хан. С ним же я спасся после бегства из Бухары. Тогда ночью, во время вылазки, я был перед желтым шатром татарского хана и думал его зарубить, но наши джигиты почему-то струхнули и повернули в сторону Джейхуна. За ними помчался, как взбесившийся, и мой сивый жеребец. А потом уже мы едва унесли ноги.

— Почему тебя зовут Курбан-шутник? — спросил шах.— Вид у тебя совсем не веселый.

— Зовут меня Курбан-шутник потому, что я, к моему горю, говорю только правду, но всегда невпопад. Никогда я не знаю, что следует, а чего не следует говорить. За это меня прозвали «шутник» и часто бьют за правду, ну и я тоже даю сдачи.

— А ты меня раньше когда-либо видел?

— Нет, видеть не видел, но вспоминал часто,— ведь когда с нас выколачивали подати, то хаким всегда говорил, что «это для шаха». Тут мы тебя и вспоминали...

Хорезм-шах усмехнулся. Он спросил у своего векиля золотой динар и передал Курбану.

— Пусть этот воин Курбан поедет со мной дальше. Он умело перетаскивает через канавы, и он будет мне говорить правду.

— Я повинуюсь, великий падишах,— сказал Курбан.— Тебя нести — дело нетрудное, все одно что тащить большой куль с зерном. Но только разреши мне еще раз переправиться на ту сторону, чтобы взять мои сапоги.

— Разрешаю.

Падишах сел на коня и следил, как высокий, сутулый, с длинной худой шеей Курбан в мокрых шароварах, засученных выше колен, помогал переносить на берег драгоценные кожаные ящики.

Затем лодка уплыла на другую сторону реки, забрав Курбана.

Когда хорезм-шах на гнедом коне взбирался по крутой дороге, на берегу поднялась тревога. Все указывали

вдаль, на север, где на холмах клубились рядом пять густых столбов дыма. Это был страшный знак: враг приближался большими отрядами.

— Все лодки сейчас же спустить вниз по течению! — приказал Мухаммед.— Нельзя позволить татарам переправиться на эту сторону!— И шах погнал гнедого коня.

Отыскивая следы хорезм-шаха, двадцать тысяч татар под начальством Джебэ-нойона и Субудай-багатура прибыли к берегу Джейхуна.

Никто не помешал их переправе. Берег был пуст, все население Келифа бежало. Хотя никаких лодок не было, но, выполняя приказ Чингиз-хана — «мчаться и не останавливаться»,— татары изготовили из дерева нечто вроде больших водопойных корыт, обтянули их бычьими шкурами и сложили туда свое оружие и одежду.

Спустив лошадей в воду, татары уцепились руками за их хвосты, прикрепив к себе эти деревянные корыта так, что лошадь тащила человека, а человек тащил корыто.

Этим способом все татары в один день переправились через стремительный Джейхун[1].

Но хорезм-шах был уже далеко, он быстро уходил на запад.

Большая часть войска, следовавшего за Мухаммедом, состояла из кипчаков. Они устроили заговор. Все же кто-то посоветовал шаху быть настороже. Мухаммед каждый вечер незаметно покидал шатер, в котором должен был ночевать. Однажды утром войлок шатра оказался, как сито, насквозь пробит кипчакскими стрелами.

Опасения хорезм-шаха увеличились. Он спешил, меняя в пути направление, не зная, где спастись. Всюду он убеждал жителей укреплять города, полагаться на стены и избегать боя. От этого страх в населении возрастал, и многие бежали в горы.

Только прибыв в укрытый горами город Нишапур, Мухаммед, чтобы прогнать свою печаль, занялся там пирами и весельем.

Татары неотступно мчались по следам Мухаммеда и расспрашивали о пути его следования. Когда и в Ни-

---

[1] Рашид ад-Дин.

шапур пришло известие, что монголы близко, шах объявил, что отправляется на охоту, и ускакал с небольшим отрядом всадников, заметая за собой следы.

Татары примчались в Нишапур, по пути разграбив Тус, Заву, Рей и несколько других городов. Из Нишапура они отправили мелкие отряды в разные стороны, чтобы выяснить, куда бежал хорезм-шах. Они грабили каждый город и каждую деревню, жгли, опустошали и не щадили никого — ни женщин, ни стариков, ни детей.

Мухаммед снова собрал значительные отряды. В равнине Даулетабад, в окрестностях Хамадана, уже имея двадцать тысяч всадников, хорезм-шах внезапно был окружен татарами. Они перебили большую часть его войска. Мухаммед, одетый в крестьянскую одежду, участвовал в бою на простой, но крепкой лошади. Это была последняя встреча хорезм-шаха с татарами. Хотя силы монголов не превосходили мусульманских, но шах не сумел добиться победы, думая только о своем спасении.

Некоторые татары, не узнав шаха, пустили в него стрелы, изранив его лашадь, но Мухаммед ускакал и скрылся в горах. Здесь татары окончательно потеряли следы хорезм-шаха.

Отсюда татары пошли дальше на запад, к Зенджану и Казвину, разбили хорезмское войско под начальством Бек-Тегина и Кюч-Бука-хана и двинулись через Азербайджан к Муганской степи, где имели столкновение с грузинами.

Всюду, куда татары ни приходили, они не останавливались, брали только самое нужное им количество пищи и одежды, захватывали только золото и серебро и отправлялись дальше. Помня важность порученного им Чингиз-ханом дела, они делали переходы и ночью и днем самыми короткими остановками и шли по следам хорезм-шаха Мухаммеда.

В населенных местах татары отбирали лучших лошадей и на них устремлялись дальше. Каждый всадник ехал о-двуконь, а некоторые имели несколько лошадей. В пути, во время скачки, татары пересаживались с одного коня на другого и поэтому могли в сутки пробегать огромные расстояния, появляясь внезапно там, где их не ждали.

Глава четвертая

НА ОСТРОВЕ АБЕСКУНСКОГО МОРЯ[1]

> Кто мне отдаст мои войска
> И отомстит за пораженье?
> Кто возвратит мои владенья,
> Кто их отнимет у врага?
>
> (*Из турецкой легенды*)

Шах Мухаммед прибыл в округ Диануй и скрытно остановился около города Амоля. Местные эмиры явились к нему с выражением почета и заявили о своей готовности ему служить. Из прежней большой свиты у шаха почти никого не осталось. В крайнем изнеможении, совсем больной, совещался он со старейшими эмирами, которые пользовались его доверием, и, полный отчаяния, все твердил:

— Найдется ли на земле спокойное место, где бы я мог передохнуть от татарских молний?

Тогда все признали, что будет наилучшим, если шах сядет в лодку и найдет себе убежище на одном из островов Абескунского моря. Последовав этому совету, хорезм-шах переехал на небольшой одинокий остров в море, совершенно пустынный, без признаков жилья[2].

На этот остров вскоре прибыли сыновья Мухаммеда: Озлаг-шах, Ак-шах и Джелаль эд-Дин. Здесь хорезм-шах написал указ, в котором вместо малолетнего Озлаг-шаха он назначил наследником престола снова Джелаль эд-Дина, которого раньше преследовал и унижал.

— Сейчас только один Джелаль эд-Дин способен спасти государство,— признался Мухаммед.— Он не боится врагов, а наоборот, сам ищет битвы с ними. Клянусь, что если после побед Джелаль эд-Дина аллах вернет снова могущество мне, то тогда милосердие и правда одни только будут царить в моих владениях.

Затем хорезм-шах опоясал Джелаль эд-Дина своим мечом с алмазной рукоятью и дал ему звание «султана». Младшим его братьям он приказал поклясться в верности ему и послушании.

Получив меч хорезм-шаха, султан Джелаль эд-Дин сказал:

---

[1] Абескунское море — Каспийское.

[2] В XIII столетии уровень Каспийского моря был иной, и на море были острова, которые позднее исчезли.

— Я получаю в управление царство Хорезма, когда его захватили татары. Я вступаю в начальствование над войсками, от которых осталось только имя,— они рассеяны, как листья после бури. Но в эту темную ночь, опустившуюся над мусульманскими странами, я зажгу в горах боевые призывные огни и стану собирать смелых.

Джелаль эд-Дин простился с отцом и устремился обратно для новых битв. Уехали и все остальные, а Мухаммед остался один на песчаном островке Абескунского моря.

Когда от берега отъезжала неуклюжая осмоленная лодка, хорезм-шах Мухаммед стоял на песчаной косе и смотрел, потемневший и задумчивый. Гребцы туркмены поднимали большой серый парус, а сыновья шаха и астрабадский эмир стояли в лодке, сложив руки на животе, не смея повернуться, пока на них был устремлен взгляд падишаха.

Парус наполнился ветром, лодку качнуло, и, ныряя в волнах, она стала быстро удаляться в сторону туманных голубых гор.

Теперь у хорезм-шаха были порваны последние связи с его родиной и с вечно недовольными бунтующими подданными. Ему больше не угрожали ни татарские набеги, ни мрачная тень рыжего Чингиз-хана. Сюда уже не доберутся мчавшиеся по пятам Мухаммеда неутомимые Джебэ и Субудай.

Здесь, среди беспредельной морской равнины, можно будет с горечью вспомнить прошлое, спокойно оценить настоящее и не торопясь обдумать будущее. На целый месяц хорезм-шах обеспечен едой: астрабадский правитель поставил в лощине между песчаными холмами войлочную юрту, прислал котел, мешок риса, бараньего сала, кожаное ведро, топор и другие необходимые вещи. Теперь шах станет дервишем; он сам будет варить себе ежедневную пищу.

Лодка была уже совсем далеко, а Мухаммед все еще стоял, погруженный в думы, потом лег на сухой горячий песок и задремал, пригретый солнцем и обвеваемый легким морским ветром.

Шорох и шепот заставили шаха очнуться. Ему послышались слова: «Он большой, он сильный...»

Чьи голоса могли прозвучать на этом пустынном острове? Опять враги? Шах очнулся. На бугре, среди кустов седой травы, мелькнула и сейчас же скрылась голова в черной овчинной шапке. У Мухаммеда с собой не было оружия,— лук, стрелы и топор находились в юрте. Шах быстро поднялся на бугор. Несколько человек в отрепьях, босоногие, бежали через глинистую площадку, и среди них неуклюже ковыляло на четырех обрубках какое-то страшное существо.

«Я приказал астрабадскому правителю доставить меня на совершенно пустынный остров! Откуда эти люди!— С тревогой Мухаммед направился к своей юрте. Над нею вился дымок. На площадке перед юртой полукругом сидело около десяти чудовищ. Что это были за лица, почти потерявшие подобие человека? Распухшие, красные львиные морды с огромными нарывами и язвами.

— Кто ты?— закричал один из сидевших.— Зачем ты прибыл сюда? Нас отовсюду изгоняют, и мы заняли этот остров.

— А кто вы?

— Мы — проклятые аллахом. Сегодня мы приехали на этот остров и здесь будем рыбачить.

— Разве ты не видишь? Мы все прокаженные; еще живые, мы разваливаемся, как мертвецы. Смотри, вот у этого отвалились все пальцы. У этого отпали ступни ног и руки до локтей, и он ходит на четвереньках, как медведь. У этого вытек глаз, а у этого распался язык, и он стал немым...

Мухаммед молчал и думал с тоской о лодке, которая черной точкой удалялась к далекому берегу.

— Мы все молились, чтобы аллах помог нам. Он пожалел нас и прислал тебя.

— Чем же я могу помочь вам?

Один из сидевших встал. Он казался сильнее и выше других и в руке держал топор.

— Я шейх нашего братства, и здесь, в царстве проклятых, все должны мне повиноваться. Кто не выполнит моего приказа, будет убит. Ты здоров и крепок. Мы тебя принимаем в нашу общину, и ты будешь таскать сети, носить воду и дрова. Не все из нас могут делать это. В этой юрте, посланной нам аллахом, мы нашли котел,

рис, муку, кувшин с маслом и баранье сало. Теперь ты будешь жить с нами и снимешь свою одежду, ее мы будем носить все по очереди, а тебе одежда не нужна.

Мухаммед повернулся и, задыхаясь, побежал к берегу. Прокаженные пошли за ним и, собравшись на вершине бугра, наблюдали. Хорезм-шах прошел на песчаную косу, собрал там сухие ветки, выброшенные морем, сложил костер и разжег огонь. Столб густого дыма, клубясь, потянулся к небу.

«Этот дым увидят с берега, сюда приплывет лодка и увезет меня обратно на землю,— бормотал Мухаммед и думал только о лодке, которая затерялась в туманной дали.— Пусть там война, пусть там рыщут татарские всадники, но там живые, здоровые люди. Они враждуют, страдают, плачут, смеются, и жить среди них будет радостью после этого острова живых мертвецов».

Через пятнадцать дней, согласно обещанию, к острову приплыла лодка. В ней прибыл с несколькими джигитами полководец хорезм-шаха Тимур-Мелик. Не сразу удалось найти хорезм-шаха. Он лежал на берегу совершенно обнаженный. На голове у него сидела ворона и клевала глаза.

Тимур-Мелик обошел остров и нашел спрятавшихся в кустах испуганных прокаженных. Он спросил их, что случилось на острове. Они рассказали:

— Мы видели, что все приехавшие в лодке кланялись до земли этому человеку, оставшемуся на нашем острове, и называли его падишахом. А мы хорошо знаем от стариков, что если прокаженный наденет платье, в котором ходил шах или султан, то больной станет здоровым и раны его излечатся. Только поэтому мы сняли платье с этого человека. Мы звали его обедать с нами, приносили ему еду, но он отказывался есть, все время жег костер и лежал вот так молча, как сейчас. Все его одежды целы. Мы убедились, что этот человек не был султаном, потому что никто из нас не выздоровел.

— Позволь, мы перебьем их!— воскликнул один джигит.

— Только не нашими саблями, чтобы не запачкать светлые клинки их отравленной кровью,— ответил другой воин и пронзил стрелой живот шейха прокаженных. Тот с отчаянным криком бросился бежать, а за ним побежали и все остальные прокаженные.

— Оставьте их!— крикнул Темур-Мелик.— Они уже наказаны аллахом. Я гораздо несчастнее их! Всю жизнь я дрался за величие шахов Хорезма. Я проливал свою кровь, веря, что хорезм-шах Мухаммед — новый непобедимый Искендер и что в день народного горя он поведет бесстрашные мусульманские войска к славным победам. Теперь мне стыдно моих ран, мне жаль юных лет, бесполезно потраченных на защиту лживого миража пустыни. Вот лежит тот, кто имел огромное войско и мог покорить вселенную, а теперь он не в силах пошевельнуть рукой, чтобы отогнать ворону. Он лежит, всеми забытый, не имея шаровар, чтобы прикрыть наготу, и горсти родной земли для своей могилы. Довольно мне быть воином! У меня не хватит слез, чтобы смыть горькие ошибки, которые жгут меня...

Тимур-Мелик выхватил свою кривую саблю, наступил на нее ногой и переломил. Он сам обернул тело хорезм-шаха тканью своего тюрбана и прочел над ним единственную короткую молитву, которую знал. Джигиты вырыли ножами в песке яму и похоронили в ней труп хорезм-шаха Мухаммеда, бывшего самым могущественным из мусульманских владык и окончившего свою жизнь бесславно, как дрожащий под ножом мясника козленок.

Тимур-Мелик покинул остров и отправился со своими джигитами на поиски султана Джелаль эд-Дина, чтобы рассказать ему о смерти его отца. Говорят, что потом много лет он скитался простым дервишем, бродя по Аравии, Ирану и Индии[1].

Глава пятая

КУРБАН-КЫЗЫК ОТПРАВИЛСЯ ДОМОЙ

— Гребите сильнее! Ну-ка еще!

Поставленная носом против течения лодка боролась со стремительными потоками Джейхуна и медленно приближалась к берегу.

---

[1] Некоторые историки рассказывают, что спустя много лет Тимур-Мелик вернулся в Среднюю Азию в одежде нищего дервиша. В Ходженте его узнал тот монгол, которому в битве пробил стрелой глаз. Монгольский правитель округа приказал привести к себе Тимур-Мелика и за гордую, непреклонную речь казнил его.

«Смотреть за шахским конем на чужбине — подумаешь! Лучше голодать на родине!— размышлял Курбан.— Такая же радость, как у перепелки сидеть в шелковой клетке над дверью ашханы. Падишах мне подарил золотой динар. Такой день бывает раз в жизни. Но как донести этот динар до дому? Только держа его во рту за щекой. Он же приказал отправить лодки вниз по реке до Хорезма... Нет! Туда я не поплыву. Нет, Курбан не хочет больше ни воевать за шаха, ни убегать. Так можно добежать и до великого Последнего моря, а затем куда? Курбан хочет вернуться на свою пашню и увидеть своих детей...»

И Курбан посматривал на оставленный им скалистый берег, где еще виднелся на вершине бугра Мухаммед на гнедом коне. Курбан соскочил в воду и выбрался на берег. Из крепости вниз по холму бежали обезумевшие люди с узлами на плечах; отталкивая друг друга, они прыгали в лодки и повторяли:

— Татары близко! Скорее спасайтесь!

Никому не было дела до Курбана. Курбан побежал вдоль берега, добрался до шалаша, где жил с другими перевозчиками, нашел в соломе свой мешок с сапогами, оглянулся еще раз на реку и увидел, что лодки одна за другой отталкиваются от берега. Тут же он, не колеблясь, вступил на тропу новых испытаний.

Он поднялся на холм к стенам крепости. Оттуда он увидел, как по желтой каменистой равнине убегали красные и полосатые халаты, спасавшиеся врассыпную, а еще дальше приближалось облако пыли.

«Это татары»,— понял Курбан и бросился вперед по сухой степи, не замечая, что камни и колючки ранят его босые ноги.

«Там, впереди, холм, за ним должны быть овраги. Татары займутся крепостью и переправой. На что им Курбан?»

Он добежал до одинокой могилы с высоким шестом, притаился за ней, отдышался и стал высматривать.

В пыли он уже различал всадников в рыжих тулупах, пригнувшихся к шеям мчавшихся коней. На некоторых блестели железные пластинки панцирей. Уже доносился рев татар, дикие выкрики «кху-кху-кху!» и топот ног тысяч низкорослых запыленных коней.

Некоторые всадники отделились от толпы, скакали

прямо по равнине, пересекая путь убегавшим. Взлетали блестящие мечи, люди падали, татары делали круг, останавливались и, не слезая, нагибались, подхватывали брошенные узлы и снова уносились, присоединяясь к войску.

Курбан ползком добрался до сухого оврага, скатился вниз и снова побежал.

Целый день тянулась пустынная равнина, иногда попадались заброшенные пашни. По дорогам встречались люди, то одинокие, то скитавшиеся группами. Узнав, что Курбан оттуда, из «долины скорби и слез», все останавливались и расспрашивали про судьбу Бухары, про бегство хорезм-шаха, приглашали к костру, делились лепешками, испеченными в золе, и жадно слушали.

Курбан рассказывал, как он дрался один с несколькими татарами, как он перебил всех и как под ним убили коня. Теперь он плетется домой, не желая ничего, только увидеть старый тополь в том месте, где арык поворачивает на его пашню, только бы снова приласкать своих детей...

Он, наконец, сам стал верить в свои рассказы, но умалчивал о том, как он переносил падишаха из лодки на берег, потому что все проклинали Мухаммеда, в день горя покинувшего родную землю. Отдав народ во власть монголов и татар, он побоялся умереть, как джахид (мученик) на поле битвы.

В одном месте Курбан увидел много людей в овраге, подошел к ним, и они посторонились, дав ему место у огня. Все говорили о татарах и встречах с ними.

— Мы из одной деревни. У нас случилось такое дело. Собрались мы на улице человек с десяток потолковать. Тут въехал в деревню татарин. Он поскакал прямо на нас и давай рубить людей одного за другим. Ни один человек не осмелился поднять руку на одинокого всадника. А кто успел перелезть через забор, как мы, тот спасся.

— А вот что я слышал. Настиг татарин одного человека, работавшего в поле, и не было у татарина никакого оружия, чтобы прикончить его. Страшным голосом он закричал: «Положи голову на землю и не шевелись!» И что же! Человек лег на землю, а татарин поскакал к

другой заводной лошади, навьюченной награбленным добром, отыскал меч и, вернувшись, убил человека.

Так они сидели у костра и горевали о том, как страдает родной народ, и уделили Курбану кусочки лепешек и чашку горячей мучной болтушки.

Вдруг страшный, хриплый голос прокричал сверху над ними:

— Эй, вы! Скрутите-ка друг другу руки за спиной!

Наверху, на краю оврага, на рыжем коне показался татарский всадник.

— Беда! Пришел день нашей погибели! — забормотали люди и принялись снимать пояса и покорно вязать подставленные руки.

— Стойте! — сказал Курбан.— Ведь он один. Неужели мы не убьем его и не убежим?

— Мы боимся!

— Когда мы сами перевяжем себе руки, он убьет нас. Давайте лучше убьем его! Может быть, нам удастся спастись.

— Нет, нет! Кто осмелится сделать это!

И все, дрожа, продолжали вязать себе руки.

Курбан, склонившись и протягивая перед собой узелок, точно хотел поднести дар, вскарабкался вверх по склону и подошел к татарину.

Всаднику уже было много лет. Седые редкие волосы свисали с подбородка. Лицо, обожженное ветром, избороздили морщины времени. Суженные глаза высматривали колючими осколками.

— Что это? — спросил всадник, наклоняясь к подаваемому узлу.

Курбан схватил его за голову и руку. Лошадь испугалась и бросилась в сторону. Курбан не отпускал татарина и волочился по земле, пока всадник не свалился. Тогда Курбан зарезал его ножом, как привык резать баранов.

Курбан встал и оглянулся. Из бывших у костра людей один со всех ног бежал прочь, другие, притаившись, высматривали из оврага. Потом подошли двое.

— Он уже не дышит,— сказал один, склонившись к татарину.

— Теперь надо честно разделить все, что на нем,— сказал другой и стал сдирать с убитого овчинную шубу, надетую без рубашки на голое смуглое тело.

Все направились к коню и помогли Курбану поймать его. Тут Курбан сказал:

— Вы берите все, что хотите, а рыжий конь будет мой. Вы же видите, что это не монгольский, а наш, крестьянский, уворованный конь. На нем я буду пахать землю.

— Бросим лучше жребий,— сказал один, наматывая на руку повод коня.

— Смотри, татарин жив, он встает! — крикнул Курбан, и человек, испугавшись, бросил повод и побежал.

Курбан отвязал и скинул на землю все мешки и сумки, бывшие на коне, кроме одной, самой тяжелой. Вскочив на седло, он крикнул.

— Какие вы джигиты! Вы — испуганные жуки, убегающие от поднятой палки. Если бы у вас были львиные сердца, то мы бы вместе не только выгнали всех татар и монголов, но и всех хорезм-шахов, султанов, беков и ханов, захвативших наши земли. А вы — тараканы, прячетесь в щели и боитесь каждого шороха! Конечно, самый последний татарин вас раздавит. Прощайте и вспоминайте Курбан-Кызыка, богатыря вселенной! — Махнув рукой, Курбан поскакал через поле.

Глава шестая

КУРБАН ИЩЕТ СВОЮ СЕМЬЮ

Чем ближе Курбан подъезжал к Бухаре, тем больше встречалось разрушенных селений и обглоданных трупов. Разжиревшие собаки с отвисшими животами медленно отходили прочь от трупов, волоча хвосты, и ложились без лая.

В пустынном месте Курбан развязал оставшийся на седле кожаный мешок татарина, надеясь, что в нем он хранил награбленное золото. Там оказались три обыкновенных кузнечных молотка разной величины, напильник, клещи, узелок с пшеном, кусок вареного мяса и десяток лепешек. Где же золото? В свернутой тряпке Курбан нашел кожаный кошелек. В нем были деньги — не золото, а горсть серебряных и медных монет. Все-таки и эти дирхемы пригодятся в хозяйстве, да еще сохранился за щекой золотой динар хорезм-шаха.

Возле некоторых селений на пашнях уже работали поселяне. Они жаловались Курбану, что теперь в арыках вода поступает неправильно и редко, некоторые поля засохли, на других разлившаяся вода размыла вспаханную и засеянную землю. Повсюду образовались новые овраги.

Уже недалеко от родного дома в одном безлюдном селении Курбан встретил знакомого крестьянина Кувонча. Тот указал на груду закоптелых камней и золы.

— Вот все, что осталось от моего дома! — говорил Кувонч, грустно кивая головой.— Я хожу кругом и зову моих детей, а они не приходят. В тот день, когда прискакали монголы, я был в поле. Я видел дым, обезумевших соседей и побежал за ними, думая, что и моя семья убежала с другими. Когда я вернулся ночью, отыскивая свой дом,— ничего не осталось, кроме этих камней и горячего пепла. Я не знаю, увезли монголы моих детей, или все они погибли в пламени... Но, может быть, они еще вернутся?..

Полный тревоги, Курбан поехал дальше и уже в темноте оказался около старого тополя, где отводная канавка поворачивала к его пашне.

В арыке текла вода. В безмолвной ночи при бледном сиянии месяца он приблизился к дому. Ворота во двор были раскрыты настежь. Он соскочил с коня, поставил его под навесом и пошел к двери дома. Она была забита поперечной доской. Ни шороха, ни вздоха за дверью...

Даже собака не встретила его...

Курбан насобирал охапку соломы и бросил коню. Затем по знакомым выступам стены взобрался на крышу. Там прилег на груде старых стеблей джугары. Засыпая, он слышал слова, сказанные Кувончем: «Они, может быть, еще вернутся?»

Рано утром, когда прохваченный холодным ветром Курбан ворочался на крыше хижины, до него донесся странный звук, похожий на отдаленный стон. Курбан прислушался. Стон повторился. Он доносился снизу. Кто стонет? Израненный татарами? Или, может быть, умирающий татарин?

Курбан спустился с крыши и бросился к коню. Тот уже съел всю солому и нетерпеливо перебирал ногами. Курбан достал из кожаной сумки молоток. Высадив дверь хижины, он вошел внутрь. Там было темно. Он

пошарил руками по лежанке и наткнулся на тело. Ощупал лицо и узнал мать. Она лежала, как мертвая; тихий голос простонал:

— Я знала, сынок, что ты вернешься. Курбан не бросит нас...

— А где остальные?

— Все убежали туда, к горам, а я осталась сторожить дом, да совсем обессилела. Меня, верно, приняли за мертвую и дверь заколотили. Да, сынок, теперь, когда ты вернулся, все поправится...

Курбан отыскал горшок, принес воды из канавки, собрал колючек. Он развел огонь в очаге и поставил горшок, насыпав в него пшена. В хижине стало светло и тепло. Мать лежала, худая и слабая, не в силах сделать движение. Ее нос заострился, и сухие обтянутые губы шептали:

— Вот ты и пришел, сынок!

Курбан отвел коня на пустырь, стреножил его и оставил пастись. Рядом был его участок пашни, такой клочок, как ладонь,— как с него прокормить семью? А еще приходилось отдавать половину урожая владельцу земли — беку! Участок уже зарос сорняком. Дальше тянулись знакомые участки соседей. И они заросли сорной травой, а людей нигде не было видно. Домик с сараем старого кузнеца-заики Сакоу-Кули стоял вдали, обгорелый, с закоптелыми стенами, а на деревьях, окружавших дом, листья от пожара завяли и сморщились.

Но вот одинокий человек медленно шагает по полю, останавливается, взмахивает кетменем — вероятно, исправляет канавку.

— Ойе! — закричал Курбан.

Человек выпрямился, поднес руку к глазам, всматриваясь.

— Ойе! Курбан-Кызык!— закричал он, и оба поспешно направились вдоль канавки навстречу друг другу и протянули руки, прижавшись правым плечом. Это был сосед, старый Сакоу-Кули, имевший уже внуков.

— О, какие времена! — сказал старик, утирая рукавом глаза.

— Здорова ли твоя семья, жива ли корова, работает ли осел, плодятся ли овцы? — спросил Курбан.

— Пришли эти завернутые в шубы люди, угнали соседний скот, увезли поперек седла четырех моих овец и

одну мою внучку, а остальная семья убежала в горы. Я все жду их, если только они не погибли от голода. А корова и осел спаслись.

— А где моя семья? — спросил Курбан. Дыханье его остановилось, пока он ожидал ответа.

— Для тебя есть радость — твоя жена вчера вернулась и ночевала в развалинах моего бедного дома. Вот она уже идет через поле...

И Курбан увидал вдали знакомую красную одежду жены. Почему она идет пошатываясь? Курбан сразу сделался серьезен и важен — ведь он глава семьи, должен собрать всех под свою руку и снова наладить развалившееся хозяйство.

— Ну что ж, Сакоу-Кули,— сказал он старику.— У тебя есть корова и осел, у меня конь. Мы их запряжем вместе и распашем наши клочки земли. Кругом война, набеги; вчера были кипчакские беки, сегодня монгольские ханы. Когда же мы от них избавимся? Но мы, земледельцы, не можем ждать. Наше дело — сеять хлеб; если мы сами о себе не позаботимся, то кто же нас прокормит?

— Верно сказал! Терять время нельзя: земля требует семян, плуга и воды!

Глава седьмая

БЕГСТВО ЦАРИЦЫ ТУРКАН-ХАТУН

Весной этого страшного года Дракона (1220) весь Мавераннагр уже находился во власти Чингиз-хана. Как старательный хозяин, получивший в свое владение ценное наследство, монгольский каган стал заботиться об установлении порядка и мирной жизни. Во всех городах Чингиз-хан поставил татарские гарнизоны, назначил туземных хакимов и к нам приставил своих монгольских правителей, чтобы все видели, все знали недремлющее око великого кагана.

Некоторые крестьяне, еще напуганные и недоверчивые, стали постепенно возвращаться в свои поселки и принялись за обработку полей. Но порядок восстанавливался медленно: по всей стране бродили шайки голодных, бездомных беженцев, и вслед за монголами, в поисках еды, они также грабили разоренные селения.

Оставались еще непокоренными только низовья Джейхуна, коренные земли Хорезма, где находилась богатая столица хорезм-шахов Гургандж,— она оставалась в середине владений монгольских, подобно шатру с перерезанными веревками. Чингиз-хан решил наложить свою руку на эти земли и поручил завоевание этой области своим трем сыновьям: Джучи, Джагатаю и Угедэю. Им он выделил значительные части своего войска. Джагатай и Угедэй пошли на Хорезм с юга, берегом реки Джейхуна, а всегда непокорный Джучи стал медлить, оставаясь со своими отрядами около Дженда, где он занимался охотой на диких ослов и отбирал коней у кочевников, требуя только белых и саврасых, любимых каганом.

Чингиз-хан приостановил поход своего главного войска и решил провести зиму на берегах реки Джейхуна. Он отправил в Гургандж Данишменд-хаджиба, одного из передавшихся на его сторону сановников хорезм-шаха. Тот прибыл к старой царице Туркан-Хатун и объявил ей, что великий каган воюет не с нею, а только с ее сыном, Мухаммедом хорезм-шахом, и не столько из-за преступлений, которые тот совершил, сколько желая наказать его за непослушание и за оскорбления, нанесенные им своей матери. Данишменд-хаджиб еще добавил, что если Туркан-Хатун выразит покорность, то Чингиз-хан обещает не трогать и не разорять областей, находившихся под ее властью.

Но разве коварная царица Туркан-Хатун могла поверить монгольскому владыке, который был честен только со своими монголами, а на всех других людей смотрел, как охотник, который играет на дудочке, приманивая козу, чтобы ее схватить и приготовить из нее кебаб.

Одновременно с прибытием Данишменд-хаджиба в Гургандж приплыли лодки из Келифа. В одной из них находился переодетый простым батраком Инаньч-хан, который привез письмо от хорезм-шаха. Падишах извещал мать, что покидает заставы на берегу Джейхуна. Он удаляется в Хорасан, чтобы собрать там большое войско, и зовет Туркан-Хатун выехать к нему со всем его гаремом, не доверяя Чингиз-хану.

Это известие настолько встревожило Туркан-Хатун, что она даже перестала прикладывать к своим глазам примочки, которыми старалась сделать их более краси-

выми. Поняв, что оставаться в Хорезме опасно, она приказала навьючить большой караван, собрала всех жен и детей хорезм-шаха, нагрузила верблюдов ценностями и направилась через каракумские пески на юг, к горам Копет-Дага.

Перед отъездом старая царица решила обезопасить своих внуков от возможных впоследствии соперников. Она приказала главному палачу: всех юных заложников, живших при шахском дворе, не считаясь с их возрастом, вывезти на лодках на глубокое место реки Джейхуна и там сбросить в воду с большими камнями на ногах. Все двадцать семь мальчиков и юношей, сыновья крупных феодальных правителей Хорезма, были утоплены.

Из всех заложников Туркан-Хатун сохранила жизнь одному Омар-хану, сыну владетеля Язера[1] в земле Туркменской. Она сделала это только потому, что сама направлялась туда, а Омар-хан и его слуги знали дорогу через пустыню. Во время трудного перехода через пески Кара-Кумов, длившегося шестнадцать дней, они верно и безропотно служили старой шахине.

Но когда караван уже приближался к границам Язера и за песками показались скалистые вершины гор, Туркан-Хатун, выждав, когда Омар-хан заснул, приказала отрубить ему голову.

Она направила караван к неприступной крепости Илаль, расположенной на вершине одинокой скалы. Здесь она пребывала со всем своим двором, пока поблизости не появились передовые монгольские отряды, искавшие шаха Мухаммеда.

Один из начальников охраны шахини предложил ей немедленно бежать оттуда под покровительство ее внука Джелаль эд-Дина, собиравшего в Иране бойцов для борьбы с монголами. Все только и говорили о его мужестве, о силе его войска, о том, что он сумеет прогнать врагов.

— Никогда! — воскликнула в ярости старуха.— Лучше мне погибнуть от меча монгола! Как? Чтобы я унизилась до того, чтобы принять милость от сына ненавистной мне туркменки Ай-Джиджек? Чтобы я жила под его

---

[1] Язер находился у подножия гор между Мервом и нынешним Ашхабадом.

покровительством, когда у меня имеются внуки моей благородной кипчакской крови? Лучше я попаду в плен к Чингиз-хану и перенесу у него унижение и позор.

Вскоре примчались монголы и осадили крепость. Они построили вокруг скалы сплошную ограду, отрезав у осажденных всякую связь с остальным миром. Осада продолжалась четыре месяца, и когда в цистернах и погребах высохла последняя припасенная вода, Туркан-Хатун решила сдаться. Монголы захватили вместе с шахиней-матерью весь гарем и малолетних сыновей хорезм-шаха. Все мальчики были тут же зарезаны, а жены и дочери шаха и сама Туркан-Хатун отправлены в лагерь Чингиз-хана. Всю же свиту и охрану монголы перебили.

Монгольский владыка немедленно раздал дочерей хорезм-шаха своим сыновьям и приближенным, а злобную шахиню Туркан-Хатун держал для показа на своих пирах. Она должна была сидеть около входа в шатер и петь жалобные песни; Чингиз-хан бросал ей обглоданные кости.

Так питалась Туркан-Хатун, бывшая раньше самодержавной повелительницей Хорезма и называвшая себя «владычицей всех женщин вселенной».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВЕЛИКОГО ХОРЕЗМА

Глава первая

ДЖЕЛАЛЬ ЭД-ДИН ВЫЗЫВАЕТ НА БОЙ ЧИНГИЗ-ХАНА

Пока не рассыплешь зерна, не снимешь жатвы, пока не рискнешь жизнью, не победишь врага.

(Саади)

Расставшись с хорезм-шахом, Джелаль эд-Дин и его братья от другой матери, Озлаг-шах и Ак-шах, в сопровождении семидесяти всадников пробрались в Мангишлак. Местные кочевники дали свежих лошадей. На них молодые ханы прошли Кара-Кумы и достигли Гурганджа, столицы Хорезма.

Там они объявили знатнейшим бекам, что хорезм-шах Мухаммед отменил завещание и назначил своим преемником султана Джелаль эд-Дина. Хотя бывший наследник Озлаг-шах и подтвердил это, но кипчакские беки не захотели примириться с султаном не кипчакской крови. Тайно сговорившись, они решили убить Джелаль эд-Дина.

Его предупредил о заговоре прибывший из Келифа Инаньч-хан.

— Что мне делать в этом городе скорпионов и тарантулов, где даже перед лицом опасности нет единства! — сказал Джелаль эд-Дин.

Ночью, в сопровождении Тимур-Мелика и трехсот туркмен, он незаметно покинул Гургандж и направился на юг через Кара-Кумы.

В несколько дней маленький отряд прошел тяжелый путь, на котором караваны делают шестнадцать ночле-

гов, и достиг города Нессы. Посланный вперед разведчик донес, что на зеленом лугу у подножья хребта Копет-Дага видны какие-то юрты и рядом пасутся стреноженные кони необычной породы. По-видимому, это монголы, и их не менее семисот человек.

Тимур-Мелик сказал:

— Хотя после трудного перехода наши кони утомлены, но сил у них хватит, чтобы ворваться в монгольский лагерь. А у нас должно хватить уменья изрубить врагов.

— Смелого догоняет удача! — ответил Джелаль эд-Дин.

Вынырнувший внезапно из песков отряд туркмен Джелаль эд-Дина с отчаянной яростью набросился на монгольский лагерь. Схватка была горячая, обе стороны рубились, не щадя жизни. Монголы не выдержали и бежали в беспорядке, прячась в подземных водопроводных канавах (кяризах). Только немногим удалось спастись.

Это было первое столкновение, в котором туркмены одержали победу над монголами. До этого монголы внушали всем такой ужас, что их считали непобедимыми.

Джелаль эд-Дин сказал:

— Если бы монголы не стояли лагерем на открытой равнине, а находились за крепостными стенами Нессы, то мы на своих измученных конях никогда бы не проскользнули мимо. Скорее ловите их коней и седлайте! Путь наш еще долог.

Все всадники спешно пересели на свежих монгольских коней и горными тропами направились на юг, к городу Нишапуру.

Через несколько дней, опасаясь предательства кипчакских ханов, к Нессе прибыли из Гурганджа два других сына хорезм-шаха: Озлаг-шах и Ак-шах. Их сопровождала большая свита; они пытались пройти незамеченными мимо монгольского сторожевого отряда, но были окружены и все перебиты.

Тем временем Джелаль эд-Дин, нигде не останавливаясь, направлялся все дальше через Нишапур, Зузен и Гератскую область. Начальник одной горной крепости предлагал ему в ней остаться, полагаясь на неприступность древних стен. Джелаль эд-Дин ответил:

— Полководец должен действовать в открытом по-

ле, а не запираться в стенах. Как бы ни была сильна крепость, монголы найдут способ овладеть ею.

Прибыв в Буст, Джелаль эд-Дин имел уже значительный отряд, собранный из воинов рассеявшейся армии хорезм-шаха. Здесь он соединился с отрядом Аминал-Мулька, прогнал отряд монголов, осаждавших Кандагар, и прибыл в Газну, главный город удела, назначенного ему когда-то хорезм-шахом. Там он принял клятвы верности от всех местных беков.

У Джелаль эд-Дина теперь было около тридцати тысяч туркменских воинов. Столько же присоединилось к нему афганцев, карлуков и воинов других племен.

С этим войском в шестьдесят тысяч пеших и конных бойцов Джелаль эд-Дин выступил навстречу монголам и расположился лагерем у городка Первана, на истоке речки Лугар, впадающей в Кабул.

Отсюда он сделал набег на Тохаристан и разгромил монгольский отряд Мукаджека, осаждавшего крепость Вариан. Монголы потеряли там до тысячи человек убитыми, поспешно переправились через реку Пяндшир, разрушая за собою мосты, и вернулись к Чингиз-хану.

Джелаль эд-Дин отправил к Чингиз-хану гонца с коротким письмом:

«Укажи место, где мы встретимся для битвы. Там я буду тебя ждать».

Чингиз-хан на письмо не ответил, но обеспокоился поражением отряда Мукаджека и смелостью Джелаль эд-Дина. Он послал против него сорок тысяч всадников под начальством своего сводного брата Шики-Хутуху-нойона.

Джелаль эд-Дин смело двинулся навстречу монголам. Битва произошла в долине на расстоянии одного фарсаха (7 км) от Первана. Перед началом боя Джелаль эд-Дин дал войску такой приказ:

«Богатыри, берегите силы коней до тех пор, пока не забьют барабаны. Только тогда садитесь в седло. До того сражайтесь пешими, привязав поводья коней за спиной к поясу».

Битва продолжалась два дня. Шики-Хутуху-нойон, видя, что его монгольские воины устали и выбиваются из сил, а одолеть противника не могут, на второй день

прибегнул к хитрости. Он приказал приготовить из войлока куклы и посадить их на запасных коней. Сначала уловка подействовала, и мусульманские войска заколебались, но Джелаль эд-Дин ободрил воинов, и они снова продолжали упорно сражаться.

Наконец Джелаль эд-Дин приказал ударить в барабаны. Все стали садиться на коней. Он повел своих всадников в атаку. Сам бросился в середину монгольского войска и расколол его. Тогда монголы обратились в бегство, «высекая искры копытами коней»[1]. Всадники Джелаль эд-Дина на неутомленных конях легко догоняли и избивали убегавших врагов. Только с незначительными остатками разгромленного войска Шики-Хутуху-нойон вернулся в лагерь Чингиз-хана.

Слава о битве при Перване и разгроме непобедимых монголов пронеслась через горные хребты и долины. Монгольский отряд, осаждавший крепость Балх, немедленно снял осаду и ушел на север. В некоторых городах, занятых монголами, жители восстали и перебили монгольские гарнизоны. Тогда Чингиз-хан прибегнул к своей обычной хитрости: он подослал лазутчиков к ханам, союзникам Джелаль эд-Дина, и обещал им верблюдов, нагруженных золотом, если они покинут смелого султана.

Вскоре в лагере Джелаль эд-Дина при дележе добычи из-за пустяков произошли раздоры. В споре за арабскую лошадь один кипчакский хан ударил плетью по голове Аграка, предводителя большого отряда, и Джелаль эд-Дину не удалось их примирить. После этого и Музафар-Малик, предводитель афганцев, и Азам-Мелик с карлуками, и Аграк с воинами Кельджа, поверив коварству Чингиз-хана, отделились от войска Джелаль эд-Дина, жалуясь на высокомерие и грубость кипчаков, которые смеют бить плетьми воинов других племен.

— Эти самые тюрки (т. е. кипчаки) раньше боялись монголов. Они уверяли, что монголы не похожи на обыкновенных людей, что они непобедимы, потому что удары мечей не могут их поранить. Поэтому монголы будто бы не страшатся никого на свете, и нет другой силы, которая могла бы бороться с ними. А теперь, когда мы разбили монголов и все увидели, что и монгольское племя так же, как и все люди, может быть ранено и истекать

---

[1] Восточное выражение, то есть „помчались изо всех сил".

такой, как у всех, кровью,— теперь кипчаки переполнились хвастовством и стали оскорблять нас, тех, кто помог им в битве...

Джелаль эд-Дин ничего не мог поделать. Тщетно он доказывал, что Чингиз-хану легко будет разбить противников, нападая на каждого в отдельности; его уверения были напрасны, и половина войска от него ушла. Он остался только с туркменами Амин-ал-Мулька.

Когда Шики-Хутуху-нойон, вернувшись к Чингиз-хану, рассказывал ему подробности битвы при Перване, Чингиз-хан оставался, как всегда, невозмутимым и непроницаемым. Он только сказал:

— Хутуху привык быть всегда победоносным и одолевающим. Теперь, испытав горечь поражения, он станет более внимательным и опытным в военных делах.

Однако Чингиз-хан не медлил, стянул к себе все войска, какие только мог собрать, и выступил с огромной силой. Он гнал всадников с такой поспешностью, что в пути не было возможности сварить пищу. Каган шел прямо на Газну, и когда колесный путь кончился, он бросил весь обоз и двинулся тропами через горы.

Глава вторая

БИТВА ПРИ СИНДЕ

> Не буду звать тебя конем, буду звать тебя братом. Ты мне лучше брата.
>
> *(Китаби-Коркуд)*

После ухода союзных отрядов Джелаль эд-Дин уже не мог вступить с монголами в открытый бой, как хотел раньше, и направился на юг. Его задержала быстрая и многоводная река Синд[1], стесненная горами. Султан искал лодок и плотов, чтобы переправить войско, но стремительные волны разбивали все суда о высокие скалистые берега. Наконец привели одно судно и Джелаль эд-Дин пытался посадить в него свою мать Ай-Джиджек,

---

[1] Синд — река Инд, вытекает из Тибета, впадает в Персидский залив.

жену и других спутниц. Но и это судно развалилось от ударов о скалу, и женщины остались на берегу вместе с войском.

Вдруг примчался гонец с криками: «Монголы совсем близко!» А ночь в это время все затянула своим черным покрывалом.

Чингиз-хан, узнав, что султан Джелаль эд-Дин ищет переправы через Синд, решил его захватить. Он вел войско всю ночь и на заре увидел противника. Монголы стали приближаться к войскам султана с трех сторон. Несколькими полукругами монголы остановились в виде согнутого лука, а река Синд была как бы его тетивой.

Чингиз-хан послал Унер-Гулиджу и Гугус-Гулиджу с их отрядами оттеснить султана от берега, а своему войску дал приказ: «Не поражайте султана стрелами. Повелеваем схватить его живым».

Джелаль эд-Дин находился в середине мусульманского войска, окруженный семьюстами отчаянных всадников. Увидев на холме Чингиз-хана, который оттуда распоряжался боем, султан бросился со своими джигитами в атаку с такой яростью, что погнал монголов, и сам монгольский владыка пустился в бегство, погоняя плетью коня.

Но дальновидный и осторожный Чингиз-хан перед битвой спрятал в засаде десять тысяч отборных воинов. Они вылетели с боку, напали на Джелаль эд-Дина, отбросили его и понеслись на правое крыло туркмен, которыми начальствовал Амин-ал-Мульк. Монголы смяли его ряды, оттеснили их в середину войска, где все перемешались и стали отступать.

Затем монголы разбили также и левое крыло. Джелаль эд-Дин продолжал биться вместе со своими джигитами до полудня и, потеряв обычное спокойствие, бросался, как затравленный тигр, то на левое, то на правое крыло.

Монголы помнили приказ кагана «не пускать в султана стрел», и кольцо вокруг Джелаль эд-Дина все сжималось. Он бился отчаянно, стараясь прорубиться сквозь ряды врагов. Поняв, что положение стало безнадежным, султан пересел на любимого туркменского коня, сбросил шлем и другие воинские доспехи, оставив только меч. Он повернул коня и с ним кинулся с высокой скалы в

темные волны бурного Синда. Переплыв реку и взобравшись на крутой берег, Джелаль эд-Дин погрозил оттуда мечом Чингиз-хану и ускакал, скрывшись в зарослях.

Чингиз-хан от чрезмерного удивления положил руку на рот, показал на Джелаль эд-Дина сыновьям и сказал:

— Вот каким у отца должен быть сын![1]

Монголы, увидев, что султан бросился в реку, хотели вплавь пуститься за ним в погоню, но Чингиз-хан запретил.

Они перебили все войско Джелаль эд-Дина. Воины успели бросить в реку его жену и мать, чтобы те не достались монголам.

Остался в живых только семилетний сын Джелаль эд-Дина, захваченный монголами. Они поставили его перед Чингиз-ханом. Мальчик, повернувшись боком к кагану, косился на него смелым, ненавидящим глазом.

— Род наших врагов надо вырывать с корнем,— сказал Чингиз-хан.— Потомство таких смелых мусульман вырежет моих внуков. Поэтому сердцем мальчишки накормите мою борзую собаку.

Палач монгол, улыбаясь до ушей от гордости, что он может перед великим каганом показать свое искусство, засучил рукава и подошел к мальчику. Опрокинув его на спину, он в одно мгновение, по монгольскому обычаю, вспорол ножом его грудь; засунув руку под ребра, вырвал маленькое дымящееся сердце и поднес его Чингиз-хану.

Тот несколько раз, как старый боров, прокряхтел: «Кху-кху-кху!», повернул саврасого коня и, сгорбившись, угрюмый, двинулся дальше вверх по каменистой тропинке.

После этой битвы при Синде султан Джелаль эд-Дин, скитаясь по разным странам, еще много лет продолжал удачно воевать с монголами, собирая отряды смельчаков. Но никогда ему не удалось стать во главе такого большого войска, чтобы оно могло одолеть монголов.

---

[1] Рашид ад-Дин.

Глава третья

ХАДЖИ РАХИМ СТАЛ ПИСЦОМ

С того вечера, когда в Бухаре Махмуд-Ялвач спас Хаджи Рахима от мечей монгольского караула и разрешил ему держаться за полу его щедрости, дервиш всюду следовал за ним, а за дервишем следовал, как тень, его младший брат Туган.

Махмуд-Ялвач сделался главным советником нового правителя области Мавераннагр, сына Чингизова Джагатай-хана. Сам Джагатай больше занимался охотой и пирами, а Махмуд-Ялвач для него собирал подати, подсчитывал захваченные татарами ценности, отправлял в Монголию вереницы рабов, делал описи покинутых беками домов и поместий, обнародовал новые налоги и посылал для их сбора особых сборщиков.

Он призывал поселян возвращаться на свои земли и сеять хлеб и хлопок, обещая, что прежние беки на свои усадьбы не вернутся и платить им оброк за земли не придется.

Но все это он говорил, чтобы успокоить разбежавшийся народ, чтобы напуганные поселяне вернулись на свои пашни и чтобы прекратились нападения голодных бродячих шаек на караваны. Потом обнаружилось, что все эти обещания были только приманкой и что вместо туркменских, таджикских и кипчакских беков постепенно землевладельцами стали монгольские царевичи и ханы, а вернувшиеся поселяне, как и раньше, стали работать у них батраками, отдавая им почти весь свой урожай.

Махмуд-Ялвач назначил Хаджи Рахима писцом своей канцелярии, и тот, оставив на время складывание сладкозвучных газелей[1], усердно служил, каждый день с утра до темноты сидя на истертом большом ковре в ряду других писцов, на своем колене он составлял счета, описи имущества, приказы и всякие другие важные бумаги.

Махмуд-Ялвач не платил дервишу никакого жалованья и однажды так сказал ему:

---

[1] Газаль, или газелла — особая форма арабского стихотворения.

— Для чего тебе жалованье? Кто ходит около богатства, у того к рукам пристает золотая пыль...

— Но не к рукам поэта-дервиша,— ответил Хаджи Рахим.— На моем старом плаще накопилась только дорожная пыль от многолетних скитаний.

Тогда Махмуд-Ялвач подарил ему новый цветной халат и приказал являться к нему утром по четвергам накануне священного дня пятницы за тремя серебряными дирхемами на хлеб, чай и баню, чтобы на деловые бумаги не сыпалась пыль, собранная дервишем на бесконечных дорогах вселенной.

Другой бы на месте Хаджи Рахима считал бы себя счастливейшим: он жил в маленьком доме, брошенном хозяевами, и мог пользоваться им, как своим; возвратившись из канцелярии, он сидел на ступеньке крыльца перед виноградником, где на старых лозах наливалось столько янтарного винограда, что урожай его обеспечил бы владельца на целый год; около дома рос такой высокий платан, что тень его падала и на соседнюю мечеть и оберегала от зноя маленький домик дервиша. Тут же протекал арык[1], орошавший виноградные лозы, и в вечерней прохладе Хаджи Рахим учил алгебре и арабскому письму своего младшего брата Тугана.

Но Хаджи Рахим был искателем не благополучия, а необычайного, и на сердце его тлели горячие угли беспокойства. Вскоре он уже не мог мириться с той работой, какую исполнял. Каждый день в канцелярию приходили сотни просителей, обычно с жалобами на притеснения монголами мирных жителей; вся страна была во власти новых завоевателей, которые распоряжались народом, как волки в овечьем закуте.

Тогда Хаджи Рахим сказал себе: «Довольно, дервиш! Кто служит врагу родного народа, тот заслуживает проклятия вместо похвалы».— И он отправился к Махмуд-Ялвачу, решив сказать ему правдиво все то, что сжигает его сердце.

Он нашел Махмуда в большом дворцовом саду, где тот подстригал у виноградной лозы сухие ветки и в этом находил отдых от своих забот. Махмуд выслушал дервиша и сказал:

---

[1] Арык — канавка.

— Ты хочешь покинуть родную мать, покрытую ранами и изнемогающую от страданий?

— Я не хочу служить поработителям народа...

— Вероятно, ты и меня считаешь злодеем за то, что я служу поработителям родного народа? Вот что я тебе отвечу на это. У нашего повелителя, великого кагана Чингиз-хана, есть главный советник, китаец Елю-Чу-Цай. Он всегда говорит, не боясь, правду Чингиз-хану. Он один останавливает его от напрасного избиения целых городов, объясняя: «Если ты перебьешь всех жителей, то кто же будет платить налоги тебе и твоим внукам?» И Чингиз-хан после его слов дает милость сотням тысяч пленных... То же самое я стараюсь делать около сына Чингизова, Джагатай-хана, чтобы спасти наш мусульманский народ от поголовного истребления. Ты видел лицо Джагатая? Какой безумной ярости полны глаза его! Каждый день на приеме он указывает пальцем на кого-нибудь со страшными словами: «Алыб-барын!»[1]— и несчастного уводят на казнь. А я каждый день стараюсь вырвать у него милость и пощаду.

— Я остаюсь на моей родине,— ответил Хаджи Рахим.— Но только дай мне другую работу: я не в силах больше писать счета одежд, покрытых пятнами крови, и видеть человеческие слезы.

— Хорошо, я дам тебе важное поручение.

— Я слушаю, мой господин.

— Мне сказали, что повелитель северных и западных стран Джучи-хан, старший сын Чингизов, получив в удел северные земли Хорезма, идет их покорять.

— Я могу только сказать: кузнецы и медники Гурганджа не отдадут без боя своего города, как это сделали жители Бухары и Самарканда.

— Мне нужно переслать Джучи-хану письмо, но по пути, в песках Кзыл-Кумов, появились отряды, которые нападают на монголов и убивают их. Говорят, что во главе их стоит какой-то «черный всадник» Кара-Бургут на дивном черном коне. Он неуловим. Он появляется неожиданно в разных концах Кзыл-Кумов, делая огромные пробеги, и внезапно бесследно исчезает. В населении пошли слухи, что сам шайтан помогает ему.

---

[1] Алыб-барын! — Возьмите его!

— Этот «черный всадник» доказывает,— сказал Хаджи Рахим, — что среди мусульман еще сохранились смелые джигиты.

— Я дам тебе письмо к самому Джучи-хану. Ты спрячешь это письмо так, чтобы ни монгольские караулы, ни «черный всадник» не перехватили его. Иначе ты себя и меня погубишь.

Хаджи Рахим опустил взор. «Что это за письмо, которое может погубить пославшего?» Он поднял глаза. На золотом небе заката переплелись виноградные листья. Махмуд-Ялвач стоял неподвижно, и его взгляд, казалось, проникал в мысли дервиша. Он положил руку на свою бороду, тронутую серебром времени, и легкая улыбка скользнула по устам его.

— Я доставлю письмо Джучи-хану,— сказал Хаджи Рахим,— и никто не прочтет его. Я выдолблю отверстие в моем посохе, вложу туда письмо и залеплю его воском. Но удастся ли добраться до великого хана? Он теперь воюет в Кипчакской степи, где рыщут шайки, убивая встречных. Я подобен букашке, которая здесь ползет у твоих ног по дорожке сада. Что со мной будет, когда я выйду из-под защиты твоей могучей руки? Я не боюсь «черного джигита», но на первой же заставе меня схватит монгольский караул и разрубит на части.

Махмуд-Ялвач нагнулся, поднял с дорожки красного жучка и положил себе на узкую белую ладонь. Жучок торопливо пробежал до конца пальца и, расправив крылышки, полетел.

— Подобно этому жучку, ты проберешься там, где не пройдут тысячи воинов. Ты, как священный дервиш, опять накинешь свой старый плащ, возьмешь покорного осла и нагрузишь его книгами. А чтобы тебя не задержали монгольские заставы, я выдам тебе золотую пайцзу с соколом.

— А что мне делать с моим младшим братом Туганом?

— Ты его возьмешь с собой как ученика. А там, в лагере Джучи-хана, он научится воинскому делу. Станет опытным джигитом. Да будет легка тебе дорога!

— Будь спокоен, я все сделаю.

— Когда ты окончишь свой путь, то помолись за меня, я человек старый, который тебе доброжелательствует.

Глава четвертая

„ЧЕРНЫЙ ВСАДНИК"

Хаджи Рахим и Туган отправились в путь под вечер и примкнули к веренице поселян, возвращавшихся с базара с пустыми корзинами. Постепенно все спутники один за другим свернули в сторону, к своим обгоревшим селениям.

Хаджи Рахим шел ровной, размеренной походкой, напевая по привычке арабские песни. Туган уже сильно вырос. Из-под голубой чалмы, как подобает юноше, выбивался длинный черный завиток волос и падал на плечо. Он закинул за спину дорожный мешок и, опираясь на длинную палку, легко взбегал на встречные холмы и всматривался вдаль, в уходящие в сизую дымку горы, оглядывался кругом, все стараясь заметить, все понять. Он жил теперь полной, счастливой жизнью, казавшейся особенно радостной после тяжелых месяцев, проведенных в мрачном сыром подземелье гурганджской тюрьмы.

Черный осел, поводя длинными ушами, семенил крепкими копытцами. В навьюченных на осла мешках хранились книги и свитки арабских и персидских поэтов и запас еды на несколько дней.

Иногда вдали показывалось облачко пыли, затем из-за деревьев появлялись несколько монгольских всадников, окружавших знатного начальника, «даругу», или охранявших медленно выступавших верблюдов, навьюченных мешками с зерном. Один из монголов отделялся от других, подлетал к Хаджи Рахиму и кричал:

— Ты кто? Куда идешь?

Хаджи Рахим молча сдвигал свою шапку на затылок, и на его лбу показывалась прикрепленная к тонкому обручу золотая пластинка с изображением летящего сокола. Тогда медленно опускалась поднятая рука с плетью, и монгол, воскликнув: «Байартай! Урагш!»[1], круто поворачивал коня и мчался догонять свой отряд.

А дервиш, надвинув на лоб свою остроконечную шапку, снова шагал и запевал новую песню:

Шагай же вперед, мой черный Бекир, под пенье,
Туда, где душе скитаться живой опасно.
Довольно людей в постели своей скончалось,
Лишь трусам упасть на красный песок ужасно...

---

[1] Байартай! Урагш! — До свидания! Вперед!

В пустынном месте из-за холма неожиданно вылетели четыре всадника и остановились поперек тропы.

— Стойте!— закричал один из них, старик с глубокими морщинами на загоревшем до черноты лице.— Как твое имя?

— Довольство, простор и благополучие тебе! — ответил дервиш.— Почему тебе нужно мое имя?

— Я узнал тебя! От меня не уйдешь! Ты был писцом у мусульманина Махмуд-Ялвача, постыдно продавшегося монголам. Ты помогал ему грабить народ и за это сейчас испытаешь острое лезвие моего меча.

— В твоих словах две капли чистой истины, а все остальное мутный поток черной лжи.

— Как лжи?— воскликнул яростно старик и вытащил из ножен кривую саблю.

— Верно, что я был писцом у почтенного мусульманина Махмуд-Ялвача, верно, что я достоин смерти и ее увижу, ибо кто сможет убежать от нее? Но я никогда никого не грабил, а только записывал на длинных свитках награбленное монголами и писал прошения всем обиженным, кто приходил к Махмуд-Ялвачу с жалобами и просьбами заступиться.

— Если ты, дервиш, не хочешь потерять здесь же, на этом месте, твой колпак вместе с головой,— продолжал кричать старик,— то ты сейчас же последуешь за нами, и не пробуй убежать

— Я всегда иду к тем, кто зовет мня,— сказал невозмутимо дервиш.— Но ты мне не сказал твоего имени. На кого мне пожаловаться аллаху, если ты завлечешь нас в пучину гибели?

— Прежде чем аллах тебя рассудит, тебя рассудит меч «черного джигита»,— ответил один из всадников.— С нашим начальником тебе будет не до шуток.

Всадники, свернув с дороги, направились прямо к северу, углубляясь в раскаленные желтые пески. Редкая жесткая трава, кое-где кусты сквозистого тамариска, торопливо разбегавшиеся ящерицы делали местность мрачной и унылой. Туган шептал Хаджи Рахиму:

— Неужели пришел наш конец? Зачем только ты согласился на этот ненужный путь! Как тихо и счастливо мы жили в Самарканде!

— Не роптать раньше времени,— отвечал дервиш.—

Сегодняшний день еще не кончился, а будущее полно неожиданностей.

Долго шли путники, все направляясь на север. Наконец на перекрестке двух едва заметных тропинок всадники остановились. Один из них въехал на холм, долго всматривался во все стороны, затем указал рукой на запад и крикнул:

— Скорее, скорее туда! Солнце садится.

Уже в полной темноте Хаджи Рахим вместе с другими приблизился к ярко пылавшему костру. Они находились на дне сухого оврага. У дервиша и Тугана руки были скручены за спиной и петли арканов захлестнули шею, чтобы пленники не вздумали скрыться в темноте. Старик, их задержавший, подвел обоих к самому огню и приказал стать на колени. Рядом с ними поставили осла.

У костра на небольшом коврике сидел, подобрав под себя ноги, худощавый мрачный туркмен. На загоревшем бронзовом лице резко выделялись блестящие круглые глаза. Рядом на коврике лежал прямой меч-кончар.

«Где я видел этого гордого джигита?— думал Хаджи Рахим, наблюдая за туркменом.— Несомненно, это «черный всадник»...

На нем был черный чекмень, черная шапка, сдвинутая на затылок, и невдалеке стоял на привязи высокий вороной конь. Вокруг костра сидели десятка два джигитов в истрепанной одежде, но с отличным оружием в серебре. На приведенных пленных посматривали — одни насмешливо, другие злобно.

Один из джигитов снял с черного осла ковровый мешок и вытряхнул из него связку лепешек, узелок с изюмом, дыню и кусок кислого сыра. Затем осторожно положил другой мешок с мукой и вытряхнул третий ковровый мешок. В нем оказались пенал с чернильницей, несколько книг и свитков и инструменты оружейника.

Джигит с круглыми глазами взял одну книгу, повертел в руках, перелистал несколько страниц и сказал:

— Здесь, вероятно, написаны хадисы и наставления, которыми длиннобородые толстые имамы забивают головы своим тощим голодным ученикам?

— Нет, славный воин,— ответил Хаджи Рахим. — Эта книга про великого Искендера, завоевателя вселенной.

— Хотел бы я послушать про этого храброго вояку! Но для тебя не осталось времени. Сейчас Азраил унесет твою душу.

Старик, который привел Ходжи Рахима, отвел в сторону осла, не спеша вытащил из-за пояса длинный тонкий нож, каким мясники обычно режут баранов, и ухватил жесткой рукой дервиша за подбородок.

— Эй, дед, подожди резать!— крикнул кто-то.— Наш начальник хочет узнать, что написано в других книгах.

Полузадушенный дервиш прохрипел:

— В одной книге описаны подвиги славного барса пустыни Кара-Бургута, грозы караванов...

— Подожди! Оставь его, старик!..— сказал начальник шайки и внимательно начал перелистывать книжку, рассматривая рисунки, изображавшие стычки воинов.

Старик оттолкнул Хаджи Рахима и, ругаясь, отошел.

Хаджи Рахим смотрел на темное небо с ярко сверкавшими звездами, на красное потрескивавшее пламя костра, на суровые лица сидевших, на пустынные пески кругом и думал: «Откуда придет спасение? Если меня, бродягу, никто не пожалеет, то эти воины должны бы пожалеть мальчика-оружейника, выскользнувшего из мрака шахского подземелья. Но, даже падая в пропасть, дервиш не должен унывать: его плащ может зацепиться за выступ скалы, или его поддержит крыло пролетающего орла...» А Туган рядом шептал:

— Разве ты не видишь, что пришел наш последний час?

— День еще не кончился,— ответил дервиш.— Впереди длинная ночь. Кто заранее скажет, что она принесет?

«Черный всадник» положил книгу в желтом кожаном переплете на коврик перед собой и сказал:

— До утренней звезды осталось ждать недолго. С казнью этого слуги неверных можем не торопиться. Не послушаем ли мы этого скитальца, пусть он нам расскажет про подвиги какого-нибудь смелого богатыря.

Туган прошептал:

— Неужели, так униженный, стоя на коленях, ты будешь им рассказывать? Не говори ни слова. Пусть лучше они убьют нас сразу!

— Потерпи,— ответил Хаджи Рахим.— Ночь длинна, и будущее может стать необычайным...

— Пускай говорит!— послышались голоса.— Бывает, соловей в клетке поет лучше, чем на воле.

— Тогда слушайте,— начал Хаджи Рахим.— Я вам сейчас расскажу не о Двурогом Искендере и не о Рустеме и Зорабе, а о славном степном разбойнике Кара-Бургуте и о туркменской девушке Гюль-Джамал...

При слове «Гюль-Джамал» начальник шайки быстро взглянул на дервиша, брови его удивленно поднялись. Он лег на правый бок; облокотившись, он подпер щеку ладонью и черными горящими глазами стал внимательно всматриваться в связанного рассказчика.

Глава пятая

СКАЗКА ХАДЖИ РАХИМА

Когда она проходила мимо быстрыми шагами, краем своей одежды она коснулась меня.

(Из восточной сказки)

— «Гюль-Джамал была бедной пастушкой в бедном ауле, в большой туркменской пустыне,— начал говорить нараспев Хаджи Рахим.— Гюль-Джамал знала много песенок.

Особая песенка у нее была, чтобы вести ягнят на водопой; другая, спокойная и радостная, уговаривала ягнят мирно пастись и далеко не расходиться.

Но одна тревожная песенка мрачными, отрывистыми звуками предупреждала заблудившихся, что близко хищный волк, и ягнята, мирно дремавшие в тени чахлого куста, разом вскакивали и быстро неслись туда, где на холме стояла Гюль-Джамал с длинной палкой, а три большие мохнатые собаки с лаем бегали вокруг отставших и собирали в одну кучу все стадо.

Все свои песенки Гюль-Джамал выучила от своего деда Коркуд-Чобана, который много лет был пастухом и наигрывал песни на длинной дудке-сопелке. Всю свою долгую жизнь он был бедняком, нанимался аульным пастухом и кормился, переходя по очереди из одной

юрты в другую, хотя он имел и свою, старую, покривившуюся, как он сам, юрту на краю аула.

Он был одинок с тех пор, как умерли сперва жена, а потом два сына, убитые во время войны хорезм-шаха с вольными афганскими горцами,

Дочь пастуха, отданная замуж в отдаленное кочевье, однажды пришла к нему, неся на руках крошечную девочку, и, проболев несколько дней, умерла. Ее лицо было в синяках и кровоподтеках. Что с ней произошло, никто не знал, а старый Коркуд-Чобан на вопросы отвечал:

— Видно, так захотел аллах! Не всякой девушке попадается добрый муж! — и закрывал широким рукавом темное морщинистое лицо.

Коркуд-Чобан сперва оберегал и холил свою внучку, как берег бы захромавшую овечку, и, бродя со стадом по степи, носил девочку за спиной в кожаном мешке, иногда вместе с блеявшим больным ягненком.

Постепенно Гюль-Джамал подрастала, потом бегала уже с ним рядом; она подпевала тонким голоском деду, когда он наигрывал на дудке, и следила вместе с собаками за отставшими ягнятами. Когда Гюль-Джамал еще подросла, Коркуд вдруг заявил, что он больше не будет пастухом, что он решил отныне лежать на войлоке близ своей старой юрты, а вместо него пойдет пасти молодых ягнят его внучка. К тому времени приехала на облезлом осле его старая сестра и поселилась с ним в юрте. Все в ауле заговорили, что Коркуд встретил в степи шайтана и запродал ему внучку в жены. Другие говорили, что дед нашел в древнем кургане клад, и еще многое про него присочинили. Но верно то, что у Коркуда вдруг появился старинный медный котел, над юртой всегда вился дымок, и бедный пастух угощал приходивших чаем.

Наконец для старика настало важное время — предстояло выдать замуж выросшую внучку. А калым[1] за такую девушку мог сразу принести и верблюда, и коня, и корову, и баранов. Тогда дед станет совсем беспечным — он будет только лежать на войлоке, пить сколько

---

[1] В старое время, отдавая дочь замуж, отец получал „калым“ в виде скота, одежды и других предметов различной ценности, в зависимости от состоятельности жениха.

захочет кумысу и смотреть днем на облака, а ночью на звезды. А за скотом посмотрят сестра, дочь и зять.

Коркуд не торопился отдать внучку, и всем, кто приезжал сватать Гюль-Джамал, старик все повышал стоимость калыма, так что все сваты отъезжали без успеха, дивясь жадности бывшего пастуха. Но был один, кто возвращался и снова сватался. Это был известный барс больших дорог, гроза караванов, разбойник Кара-Бургут[1].

— Если любят девушку,— говорил Кара-Бургут,— то не торгуются из-за калыма.— И он обещал дать столько, сколько запросит старый Коркуд. Но тот каждой ночью, когда приезжал разбойник, не давал окончательного ответа и говорил, что подумает.

Однако, видно, шайтан подшутил над стариком, и он разом потерял и верблюдов, и коней, и баранов, которых подсчитывал, смотря на звезды. Приехали в аул джигиты самого шаха собирать налоги и за прошлый, и за настоящий, и за будущий годы. Они угнали много лошадей, скота и увезли Гюль-Джамал, сказав, что всемогущему шаху подданные обязаны доставлять самых красивых девушек.

Среди ночи к юрте Коркуд-Чобана прискакал разбойник Кара-Бургут. Он просидел всю ночь на краю войлока и подробно расспрашивал о приезжавших джигитах: кто у них был начальником, какие у них были кони и какие седла и чепраки. Он все настойчиво выведал у старика и сказал:

— Теперь я всех их узнаю даже ночью и расправлюсь с каждым по очереди и со всеми вместе, хотя бы они укрылись от меня на дне Хорезмского моря. А Гюль-Джамал я разыщу и доставлю тебе, дед Коркуд, а потом мы устроим большой праздник, с которого я увезу ее в мою юрту уже своей женой. Я обещал тебе верблюда, кобылицу с жеребенком, корову с теленком и девять овец, а теперь я предлагаю тебе всего в девять раз больше, но только ты не смей обещать внучку кому-либо другому, кроме меня.

Бросив на колени старика как задаток мешок серебряных дирхемов, Кара-Бургут вскочил на коня и скрылся во мраке ночи...»

---

[1] Кара-Бургут — черный орел, беркут.

После этих слов рассказывавший сказку Хаджи Рахим замолчал, кряхтя, согнулся и повалился на бок.

— Что же случилось дальше? Нашел ли разбойник девушку?— заговорили сидевшие вокруг костра джигиты.

— Вай-уляй! Что только не случилось с храбрым разбойником и прекрасной девушкой!— отвечал со стоном Хаджи Рахим.— Но не могу я продолжать рассказ: веревки врезались мне в тело, и я устал.

— Развяжите его!— приказал «черный всадник».

— И моему младшему брату также развяжите израненные руки! — сказал Хаджи Рахим и, повернувшись на спину, закрыл глаза.

Старый туркмен, недовольно бормоча, развязал обоим пленникам руки. Они уселись удобнее на песке, и дервиш продолжал:

— «Когда на рассвете Кара-Бургут ехал по степи, он встретил Джелаль эд-Дина, сына самого падишаха. Юноша заблудился в погоне за джейраном, его спутники отстали. Он уже погибал от голода и жажды, ведя за повод усталого коня, но увидел юрту старого Коркуд-Чобана. Тот гостеприимно его принял, дал ему отдохнуть, накормил и его и коня. В это время случайно приехал Кара-Бургут и вошел в юрту. Долго беседовал с сыном своего врага, не подозревая, кто это. Прощаясь, молодой наследник шаха пригласил Кара-Бургута навестить его в загородном дворце Тиллялы. Тут разбойник узнал, что перед ним сын ненавистного шаха. Но закон гостеприимства требует полного почета гостю, так что Кара-Бургут, не обидев его, обещал непременно побывать в гостях у молодого хана.

Вскоре Кара-Бургут поехал в столицу, чтобы побывать у шахского сына. Но этот молодой хан был в опале — шах невзлюбил его за то, что тот дружил с простыми людьми, принимал в своем загородном дворце и кочевников пустыни, и бродячих дервишей, и путников из далеких стран. Шах боялся, не готовит ли его сын заговора против отца, и следил за каждым его шагом. Поэтому вокруг дворца и его сада притаилась стража, наблюдавшая за всеми, кто входил или выходил оттуда.

Когда Кара-Бургут прибыл во дворец Тиллялы, сын шаха радушно его принял, угостил богатым обедом, а музыканты играли и пели старинные боевые песни. Ночью, когда Кара-Бургут хотел отправиться в путь, хан

предложил ему остаться до утра,— тогда он даст охрану, чтобы тот безопасно доехал до границы города.

— Кто посмеет тронуть Кара-Бургута? — сказал разбойник.— Мой меч не боится двадцати джигитов, если они вздумают напасть на меня...— И он вышел из калитки сада. Но тут же на него была наброшена крепкая рыбачья сеть, опутавшая его руки, так что он не успел даже выхватить меч. Джигиты поволокли его и доставили связанным в дом суда и пыток.

Ночью главный начальник палачей, «князь гнева» Джихан-Пехлеван, стал допрашивать Кара-Бургута, прикладывая к его телу раскаленные угли, допытываясь, зачем он был в саду молодого хана.

— Я обещал беку выкрасть самого лучшего коня из табунов татарского хана, — твердил Кара-Бургут.

Джихан-Пехлеван, наконец, устал допрашивать и пытать упорного джигита и приказал отвести его в «Башню возмездия».

Кара-Бургута вели в темноте к высокой башне; палачи тесным кольцом окружали его. И вдруг кто-то тихо шепнул ему на ухо: «Ты протяни руку вправо и ухватись за железный крюк». И он тут же почувствовал, что веревки, скрутившие его руки, ослабли, перерезанные неведомым другом. Не показывая виду, что он уже готов к защите, Кара-Бургут покорно вошел в башню и поднялся по высокой витой лестнице. Наверху, при тусклом свете факела, открылась небольшая дверь. Разбойник упирался изо всех сил, когда его вталкивали в эту дверь. Факел внезапно потух, разбойник быстро освободил руку и легко нащупал справа большой железный крюк. Кто-то крикнул: «Одной собакой меньше!» Дверь с треском захлопнулась, и Кара-Бургут повис в полной темноте, не чувствуя опоры под ногами...

Кара-Бургут висел, стараясь высвободить из веревок левую руку, что ему удалось с большим трудом, и тогда стало легче висеть, держась двумя руками. Когда приблизилось утро и первые лучи проникли в щели старой башни, джигит убедился, что он находится под самой крышей: внизу глубокая бездна, откуда слышно глухое рычание, там движутся черные тени и видны груды костей. Если не придет помощь от тайных друзей, то сил хватит ненадолго, чтобы так висеть, ухватившись за крюк»,

— — Что же было дальше?— спросили голоса, когда Хаджи Рахим снова замолк и стал равнодушно смотреть на костер. — Что стало с Кара-Бургутом, с Гюль-Джамал? Говори скорее!

— Может быть, вы дадите немного воды и хлеба моему мальчику? Да и мне бы надо промочить горло, я с утра не пил ни глотка...

— Дайте ему лепешек, сушеного винограда и всего, что у меня есть, — приказал «черный всадник». — Продолжай, дервиш, до восхода солнца уже близко...

Хаджи Рахим, выпив медленно чашку кислого молока, продолжал:

— «Тем временем сын шаха беспечно развлекался в саду под развесистым карагачем и кормил ломтями дыни своих любимых жеребцов. Вдруг к нему приблизился закутанный до самых глаз один из преданных ему друзей, которые были повсюду, и тихо рассказал, что гость из пустыни схвачен у стены его сада, отведен к начальнику шахской охраны и оттуда его потащили к «Башне возмездия».

Молодой хан вскипел гневом. Он приказал всем своим джигитам садиться на коней и быть готовыми к бою. С сотней вооруженных всадников Джелаль эд-Дин помчался в город, разгоняя выбегавших навстречу уличных сторожей, и прямо прискакал к старой высокой башне, возле которой совершались казни. Мрачный сторож со страху убежал, и джигиты топорами выломали входную дверь. Джелаль эд-Дин поднялся по лестнице на самый верх башни, и там пришлось выломать вторую дверь.

Когда ее раскрыли, то отшатнулись: прямо за порогом начиналась черная пустота, а направо, у стены, на небольшом железном крюке висел человек. Джигиты осторожно его сняли и вытащили на лестницу. Джелаль эд-Дин взял зажженный факел и пытался взглянуть вниз. Из глубины смотрели блестящие глаза и слышалось злобное рычание. Хан швырнул горящий факел. Кружась, полетел он вниз, и с визгом отскочили в стороны большие мохнатые собаки-людоеды.

— Клянусь,— сказал он,— если бы я стал шахом, то я сохранил бы этих страшных псов, чтобы они пожрали тех, кто придумал эту башню.

Молодой хан спустился с башни и сел на коня. Вто-

рой оседланный конь ждал Кара-Бургута. Тесной толпой джигиты проехали через город, и, только миновав каменные ворота, когда впереди открылась ровная даль бесконечной степи, Джелаль эд-Дин сказал спасенному Кара-Бургуту:

— Не подумал ли ты, что я умышленно пригласил тебя в свой дворец, чтобы ты попался в руки шахских палачей? Я бы хотел снова пригласить тебя в мой сад Тиллялы, но боюсь, что теперь опять ты можешь попасть в лапы собачьих слуг палача Джихан-Пехлевана...

— Таких черных мыслей у меня не было. Разреши мне вернуться в мою родную пустыню. Хотя там голые пески, скудная трава и солоноватая вода, но там больше свободы и счастья, чем здесь, среди прекрасных дворцов, высоких башен и крепких стен.

— Я не буду тебя задерживать. Я бы хотел еще исполнить какое-нибудь твое желание, ведь ты пострадал из-за меня.

— У меня только одна просьба. Мои мучители, окутав меня рыболовной сетью, сняли с меня мой славный меч-кончар. Пока я не отберу его у того хвастуна, который осмелился носить его, не разрешишь ли ты на время взять светлую саблю у одного из твоих джигитов?

Молодой хан отцепил с пояса свою саблю, украшенную бирюзой, сердоликом и яхонтами, и передал Кара-Бургуту.

— Носи ее со славой и вынимай из ножен только против врагов нашего племени, а не против мирных караванных путников. Этот благородный вороной конь, на котором ты сидишь, отныне тоже твой. На нем ты отправишься в поход против врагов родины.

— У меня еще одна к тебе просьба, — сказал Кара-Бургут.

— Говори!

— Не можешь ли ты, знающий все, что делается в шахском дворце, сказать мне, что стало с девушкой нашего туркменского племени по имени Гюль-Джамал? Ее насильно увезли шахские грабители, сказав, что она поступит во дворец для увеселения престарелого шаха.

— Знаю. Для этой девушки Гюль-Джамал шах приказал поставить особую юрту в одном из дворцовых садов. Но девушка оказалась гордой и непокорной. Я бо-

юсь, что и ее постигнет печальная участь всех непокорных пленниц нашего шаха.

— Спасибо тебе, мой великодушный избавитель! — сказал Кара-Бургут.— Если тебе нужна будет моя жизнь, призови меня, и я приеду немедленно, хотя бы мне пришлось пробираться через горы и пропасти.

Кара-Бургут повернул вороного коня и поскакал в свою пустыню. Вскоре он переменил направление и выехал на дорогу, которая ведет в сторону прекраснейшего из городов — утопающего в садах Самарканда.

Медленно шагал конь, а джигит пел:

Мне ветер поет, как дальний привет любимой...
Возможно ль внимать приветам таким бесстрастно?
Пускай впереди, за каждой скалой, погибель,—
На каждом пути она сторожит безгласно...[1]

Кара-Бургут так задумался, что его чуть было не смяли несколько джигитов, скакавших во всю конскую прыть, крича:

— Дорогу! Дайте дорогу! Гонец к падишаху! Письмо в собственные руки падишаха!

Несколько всадников мчались в клубах пыли, таща за собой натянутый аркан, конец аркана был прикручен к луке седла. Гонец, привязанный к коню веревками, на всем скаку крепко спал, раскачиваясь и мотая головой.

Видно, конь гонца делал последние усилия, чтобы доскакать до ворот города; он хрипел, бил хвостом и несся только потому, что его тащили на аркане скакавшие впереди джигиты, обычно сопровождавшие шахского гонца от одного селения до другого.

Вдруг на полном ходу конь рухнул на землю. Всадники остановились, соскочили с коней, пытались поднять обессиленного, загнанного коня, но напрасно: кровь полилась из его ноздрей на пыльную дорогу.

Гонец, как упал, так и остался лежать. Он только сказал: «Важное письмо шаху от его дочери, осажденной бунтовщиками в крепостной башне. В Самарканде восстание всех жителей против шахских палачей и сборщиков податей. Жители их режут и куски тел вешают на тополях. А мне все равно умирать...»

---

[1] Из древней арабской песни. Перевод М. Нечаева.

Сказав эти слова, гонец положил голову на кулак и закрыл глаза. Кара-Бургут подъехал к гонцу и сказал:

— Дай мне твою кожаную сумку. Я сам доставлю письмо в руки падишаха. А ты не валяйся здесь рядом с околевшим конем, а ложись там, в тени дерева, и хорошенько выспись. Я знаю, что ты не очень торопишься доставить письмо и тебя приходится насильно тащить, так как за «черную», плохую весть шах гонцу отрубает голову.

— Я тоже думаю, что мне лучше отдохнуть здесь, — сказал запыленный гонец и отдал Кара-Бургуту свою сумку. Отойдя в сторону, он повалился на траву под деревом и захрапел.

Кара-Бургут, зацепив конец аркана за луку седла, крикнул: «Вперед!» — и все всадники снова помчались по дороге к столице шаха.

Вместе с сопровождавшими всадниками Кара-Бургут прискакал к высоким воротам дворца. Перед гонцом с важной вестью от дочери падишаха открылись все двери. Старый евнух, гремя ключами, повел гонца по извилистым переходам, и Кара-Бургут уже должен был предстать перед грозными очами властителя страны, как вдруг джигит ясно услышал за стеной женский крик: «На помощь! Последний мой день пришел!»

Мог ли Кара-Бургут не узнать этого нежного голоса, теперь полного ужаса и призывавшего к жалости! Он выхватил саблю, подаренную Джелаль эд-Дином, и, взмахнув ею над старым ключарем-евнухом, приказал ему открыть дверь. Прыжком тигра ворвался Кара-Бургут в комнату, всю наглухо увешанную коврами. Он искал шаха, желая зарубить его, уверенный, что это он позволяет себе издеваться над их туркменской девушкой. В комнате, однако, ни одного человека не было, а в углу лежал на груде персидских шалей желтый с черными пятнами барс и старался когтями разодрать ковер, из-под которого неслись сдавленные крики.

Двумя ударами сабли джигит убил зверя и откинул ковер. Перед ним лежала почти бездыханная, бледная Гюль-Джамал.

— Какой злодей мог пустить хищного зверя к слабой девушке, — закричал Кара-Бургут и склонился над той, которая столько времени привлекала все его помыслы.

В комнату широкими шагами вошел сам шах. В ярости он хотел тут же казнить джигита, зарубившего его любимого барса. Но Кара-Бургут важно передал ему письмо. Шах, пораженный известием о восстании в Самарканде и нападении на его дочь, приказал начальнику войск сейчас же готовиться к походу для усмирения и казни мятежников и уже не обращал внимания на джигита. А Кара-Бургут поднял Гюль-Джамал, сам на руках отнес ее в белую юрту среди персикового сада и сказал служанкам, что завтра приедут старики из пустыни с почетным караваном, который отвезет Гюль-Джамал в ее родное кочевье.

Но на другой день стариков не допустили к Гюль-Джамал и вытолкали из дворца. Им объявили, что Гюль-Джамал за покушение на жизнь великого падишаха посажена в каменную «Башню вечного забвения», в которой останется «навеки и до смерти»...

— И она умерла там? — спросил чей-то голос.

Хаджи Рахим, помедлив, сказал:

— Нет, Гюль-Джамал жива до сих пор, запертая в каменной башне Гурганджа. Ее приказала держать там злая мать шаха Туркан-Хатун, и хотя сама старуха бежала, как трусливая гиена, из столицы Хорезма, но безголовые судьи, раисы[1] и сторожа не решаются изменить приказание ненавистной шахини и держат Гюль-Джамал в тюрьме, а также много других невинных пленников.

— Дервиш, объясни мне, откуда ты знаешь все это?— спросил, поднявшись с ковра, «черный всадник». — Ведь все, что ты рассказал, это не сказка, а произошло на деле...

— Мы, скитальцы по равнинам вселенной, бродим среди людей и слышим разные беседы. А кроме того, ветер пустыни не раз напевал мне эту сказку.

— Беки-джигиты! — обратился «черный всадник» к сидевшим. — Готовьтесь! На рассвете я выезжаю в Гургандж.

— Если ты хочешь попасть в Гургандж, торопись, — сказал Хаджи Рахим.— На Гургандж с трех сторон наступают сыновья татарского хана с огромным войском. Они окружат город сплошным кольцом, и тогда в город тебе не попасть.

[1] Раисы — блюстители нравственности.

— А ты, дервиш, поедешь со мной, — сказал «черный всадник». — Я дам тебе и твоему спутнику пару коней, и через три дня мы будем у ворот Гурганджа. Вы же, мои товарищи, отправляйтесь в свои кочевья и ждите моего вызова. А вернусь ли я к вам, или меня Азраил утащит в огненную долину — кто, кроме алаха, знает?..

Глава шестая

ИЗ-ЗА ГУРГАНДЖА ВРАЖДОВАЛИ ТРИ СЫНА ЧИНГИЗ-ХАНА

Чингиз-хан приказал младшему сыну Тули-хану взять и подвергнуть разграблению древний город Мерв, а трем старшим сыновьям, Джучи, Джагатаю и Угедэю, разрешил отправиться со своими войсками на завоевание хорезмской столицы Гурганджа.

Всем монголам хотелось участвовать в походе на этот богатейший город мусульманских земель, рассылавших во все концы вселенной караваны с тонкими тканями, прославленными кольчугами и другими ценными товарами. Всякий участник штурма приведет оттуда по меньшей мере пару коней или верблюдов, нагруженных шелковыми одеждами, ожерельями из яхонтов и смарагдов, кубками и всякими другими редкими предметами, кроме того, каждый пригонит к себе на родину несколько искусных рабов, которые будут ткать материю, шить сапоги или шубы, в то время как их владелец будет спокойно лежать на привезенном с войны ковре и слушать игру на лютне музыканта, тоже взятого в плен в Гургандже.

Так мечтали монгольские воины, подвигаясь на север к берегам реки Джейхуна, в богатые равнины Хорезма.

Сыновья Чингиз-хана, Джагатай и Угедэй, торопились прибыть первыми, чтобы захватить этот город раньше, чем явится старший их брат, Джучи. Ведь ему, по завещанию великого кагана, вместе с Кипчакской степью отходил в полное владение весь Хорезм.

Джучи-хан, рассердившись на то, что в будущей столице его удела братьям разрешено участвовать в разделе богатства, решил не торопиться; он занимался любимой охотой на диких лошадей и равнодушно говорил:

— Без меня им все равно Гурганджа не взять. Пусть они сперва расшибут себе лбы.

А Джагатай, завистливый и жадный, во время своих попоек клялся:

— Джучи получил слишком большой удел и хочет всем лучшим завладеть один. Ему я Гурганджа не отдам, сперва я обращу его в развалины.

Гургандж, столица династии хорезм-шахов, город напыщенных кипчакских ханов, богатых купцов, искусных ремесленников и разноплеменных рабов, после вторжения монголов в Мавераннагр переживал тревожное время.

После бегства шахини Туркан-Хатун, державшей город в жестокой узде, и отъезда всех родичей династии хорезм-шахов многолюдная столица осталась во власти кипчакских главарей. Каждый из них мечтал хоть на один месяц, хоть на один день стать верховным повелителем мусульманских земель. Однако, пока ханы и беки ссорились, кипчакский бек Хумар-Тегин, не дожидаясь, чтобы его подняли на «белом войлоке почета», сам объявил себя султаном Хорезма. Все беспрекословно ему покорились, и седобородые имамы в мечетях стали усердно возносить за него молитвы.

Новый владыка Хорезма, Хумар-Тегин, прежде всего проявил свою власть ревностью к религии ислама: он приказал отыскивать и сажать в башню тех, кто не ходил ежедневно на молитву в мечеть. По всему городу вместе с вооруженными стражниками зашагали раисы. Они палками наводили порядок и наказывали недостаточно богомольных. Новый султан назначил главным начальником охраны города своего родича Алла эд-Дина Эль-Хайати и увеличил число ночных сторожей за счет новых налогов. Однако разбои в городе нисколько не уменьшились, особенно грабились склады хлеба и риса. Росла тревога, — все боялись, что станет с жителями великого города, когда прибудут страшные монгольские всадники.

Султан Хумар-Тегин через глашатаев и имамов успокаивал население, утверждая, что монголы вовсе не подойдут к Гурганджу, что они уже насытились, ограбив Бухару, Самарканд и Мерв, и уже готовятся двинуться обратно в свои степи.

Гургандж, казалось, жил своей прежней жизнью: так

же утром с высоты минаретов азанчи призывали правоверных на молитву, так же на базаре купцы садились около разложенных товаров и зазывали покупателей; так же непрерывной толпой шли прохожие по узким улицам, но торговля и ремесленная жизнь города с каждым днем замирала.

Купцы жаловались, что торговля падает и у некоторых почти совсем прекратилась. Покупатели только справлялись о цене, причмокивая, покачивали головами, но не покупали, хотя цены на товары уже снизились наполовину.

Только съестные продукты все дорожали, и горожане спешно закупали и муку, и пшено, и вяленый виноград, предвидя, что подвоз припасов прекратится.

Собиравшиеся на перекрестках шептали:

— Татары близко. Татары подходят большими силами. Татары будут осаждать наш город. Стены высокие, крепкие, осада продлится долго. Мы съедим всех баранов и коней, а что будет потом? Куда скрыться, куда бежать?

Разные невероятные слухи волновали и радовали горожан:

— Джелаль эд-Дин собрал пятисоттысячное войско. Он уже движется к Гурганджу. Он разбил большое войско татар, и они бежали на восток...

Другие говорили:

— Татары покрутятся вокруг стен и не смогут их взять. Разве можно взять Гургандж? Они уйдут на север. Старые люди знают это...

Из города стали уходить караваны верблюдов. Вместо вьюков по обе стороны горбов висели корзины, из них выглядывали женщины и дети, уезжавшие к туркменам в Мангишлак. В то же время в город прибывали другие караваны — и на конях, и в повозках, и на ослах, — это торопились укрыться за крепкими, высокими стенами Гурганджа семьи знатных беков, бежавших из своих усадеб.

На базаре стали исчезать продавцы лепешек, закрывались пекарни. Цены на баранов и лошадей росли, даже простой осел расценивался так дорого, как еще недавно стоил добрый конь.

Монголы появились перед городом внезапно, среди дня. Сразу никто даже не сообразил, что случилось. Око-

ло южных ворот кочевники пригнали из степи гурт скота. Стадо баранов и коров остановилось около моста через канал, пока сторожа получали у пастухов плату за пропуск в город.

Вдруг около двухсот всадников, одетых необычно, не похожих ни на туркмен, ни на кипчаков, вынырнули из клубов белой пыли, поднятой стадом скота. Эти всадники на небольших, но быстрых конях стали втаскивать к себе на седла баранов и отгонять остальной скот, вступая в пререкания и драку с пастухами.

Затем всадники зарубили нескольких пастухов, споривших с ними, и, не торопясь, посвистывая и щелкая плетьми, погнали стадо обратно прочь от города; они перешли по мосту через большой канал и медленно направились дальше.

В городе поднялась тревога. Султан Хумар-Тегин послал тысячу кипчаков догнать дерзких грабителей и привести их к нему живыми для казни.

Глава седьмая

КАРА-КОНЧАР ИЩЕТ КОНЕЦ СКАЗКИ

Походку дивную я жажду снова видеть,
И сердце в жертву дам за лепет уст твоих

(Из персидской песни)

Спасаясь от монголов, Кара-Кончар пробирался песками к реке Джейхун. Вдали растянувшимися цепочками иногда показывались монгольские отряды. Все они двигались на север, к Гурганджу. Приходилось сворачивать обратно в пески, делать длинные обходы, расспрашивать случайных кочевников, в страхе метавшихся по Кзыл-Кумам, так как отовсюду надвигались монголы.

Вместе с Кара-Кончаром ехали два почерневших от зноя туркмена в больших овчинных шапках — всегда угрюмый мальчик и бородатый дервиш.

Ночью при слабом свете полумесяца путники пробрались незамеченными к берегу широко разлившейся реки. Они прошли кабаньей тропой сквозь высокие камыши и оказались близ воды. Несколько больших неуклюжих лодок-каюков с высоко поднятыми носами плыли мимо. В них виднелись люди, лошади, бараны. На крики и прось-

бы пустить в лодки оттуда отвечали: «Аллах вам поможет, у нас нет места».

На одной лодке отозвались:

— Правоверный не покидает правоверного в беде!

И рулевой направил лодку к берегу. Он согласился довести всех до самого Гурганджа.

— Сколько же ты хочешь за провоз? — спросил Кара-Кончар.

— Э, о чем говорить! Сегодня и деньги, и вещи, и скот — все не имеет цены, все перепуталось. Ты сейчас в беде, и я в такой же беде: мой дом разорили, семью вырезали. На что мне и для кого копить деньги? Плывите!

Крепкая большая лодка забрала путников и их коней и быстро поплыла, покачиваясь на мутных волнах широкого Джейхуна. Иногда на правом берегу показывались монгольские разъезды. Тогда лодка держалась ближе к левому берегу. Через четыре дня лодка въезжала в широкий канал, разрезавший Гургандж на две части: старый город, обнесенный высокой стеной, и пригород, где дома прятались в тутовых садах.

Кара-Кончар достал из-за пояса кожаный мешочек, затянутый шнурком, отсчитал десять золотых динаров и положил их на широкую ладонь владельца лодки.

—Не знаю, придется ли еще с тобой встретиться. Ты скажи по крайней мере твое имя.

Рулевой усмехнулся и сдвинул на затылок красный тюрбан.

— Зовут меня Керим-Гулем, кузнец. А тебя я знаю, хоть ты и не говорил твоего имени. Твой вороной конь с легкими стройными ногами и лебединой шеей может принадлежать только тому, про кого уже рассказывают сказки и поют песни. Если ты будешь здесь драться с язычниками, я приду в твою дружину.

Кара-Кончар его уже не слушал. Он внимательно вглядывался вдаль, откуда по другой стороне канала приближалась туча пыли.

Вырисовывались конские морды и склонившиеся к гривам кипчакские всадники. Они кричали, хлестали коней, издали доносился глухой шум и рев хриплых голосов.

Впереди скакал человек на большом белом коне. Он мотался в седле, готовый свалиться. Белый тюрбан и желтый халат были в кровавых пятнах; конь был залит

красными потоками, а в шее коня застряла длинная стрела.

Кипчаки вихрем пронеслись по мосту.

— Они близко, они за нами! Спасайтесь! — донеслись их отчаянные крики.

Кара-Кончар около ворот города сдержал вороного жеребца, который горячился и плясал, видя мчавшихся коней.

Кипчаки влетели в ворота, за ними въехал Кара-Кончар со своими спутниками. Ворота с тягучим скрипом задвинулись, и сторожа заложили их тяжелыми бревнами.

Один всадник остановился около сторожей и рассказывал:

— Новый султан Хумар-Тегин послал нас захватить две сотни монголов. Они угнали наш скот. Увидев нас, они помчались, как испуганные крысы, бросив захваченное стадо. Кто знал, что они готовили западню и нашу гибель! Около сада Тиллялы налетели на нас из засады тысячи две этих бешеных язычников. Они окружили нас со всех сторон, поражали издали длинными стрелами, сбивали всадников и ловили лошадей. Все наши храбрецы погибли там! Вот все, что осталось от нашего отряда. Зачем только султан послал нас на эту бойню?

— А зачем вы избрали себе поросячьего султана? — воскликнул Кара-Кончар.

Все оглянулись: кто осмелился сказать такое слово про султана?

А Кара-Кончар продолжал кричать:

— Аллах и трусость выгнали из Хорезма злую суку, царицу Туркан-Хатун, и всю свору ее прихлебателей. Убежал толстозадый шах Мухаммед; теперь собаки рвут его падаль! Когда стая шакалов выметена ветрами бури, вы решили выбрать себе новое огородное пугало, Хумар-Тегина! Порядочный хозяин ему не доверит даже стадо облезлых козлов, а вы сделали его начальником войск, и вы же вручили ему защиту города!.. Рабское вы племя! Не можете жить без палок...

Два джигита, спутники Кара-Кончара, загородили его.

— Тише, Кара-Кончар! Ведь здесь кругом кипчаки. Они одного с шахом рода. Поедем отсюда!

Воины и сторожа, бывшие у ворот, онемели от слов «черного всадника».

— Что за смелый джигит! А ведь он сказал правду. Разве Хумар-Тегин раньше отличался в бою, разве он выделялся бескорыстием или умом? Вся сила его в том, что он ходил хвостом за шахиней Туркан-Хатун. С таким султаном мы все пропадем.

Кара-Кончар медленно ехал по главной улице Гурганджа и черными суровыми глазами посматривал на встречную толпу. Своим спутникам он сказал:

— Отправляйтесь на базар, найдите там чайную Мердана. Все его знают. Там ждите меня. Сейчас я поеду один.

Половина лавок базара была закрыта. В тех же, где грудами лежали шелка и тонкие шерстяные ткани, продавцы уже не зазывали покупателей. Они тоскливо сидели кружком и рассуждали: что будет?

— Если враги осадят город, мы не продадим ни локтя. Кто захочет покупать, когда язычники, как звери, ворвутся в город и все возьмут даром? Еще уцелеет ли наша голова?

«Башня вечного забвения» находилась возле дворца хорезм-шаха. Одним боком она выходила на площадь. Подъезжая к ней, Кара-Кончар всматривался в небольшие круглые отдушины, заменяющие окна, и думал: «Где, за каким окошком запрятана она, цветок пустыни? Жива ли она? А если жива, то сохранила ли она сладостные черты невинного лица, светящиеся глаза и нежные девичьи руки? В этой ужасной башне люди сходят с ума, женщины обращаются в дряхлых старух... Может быть, и Гюль-Джамал, прикованная цепью к стене, теперь...»— И он ужаснулся, подумав, кого он увидит. Лучше смерть, сразу смерть в бою, чем увидеть ее, свет его жизни, иной, безобразной, безумной...

У подножия башни, близ низкой железной двери, на ступеньках дремал бородатый сторож с кривой старой саблей на коленях. Возле него на коврике лежало несколько сухих лепешек и в деревянной чашке два черных медных дирхема. Плохо сейчас родственники заботятся о заключенных. Думают лишь о себе, как бы самим спастись! А в отдушины стен просовывались костлявые, сухие руки и слышались крики:

— Вспомните о страдающих! Бросьте кусок хлеба лишенным света!

— Эй, старик, подойди ко мне! — сказал сторожу Кара-Кончар.

Старик очнулся, мотнул седой бородой и уставился на джигита, не думая вставать.

— Чего тебе надо?

Кара-Кончар подъехал ближе к старику, и тот приподнялся.

— Возьми эту монету и расскажи мне, много ли в тюрьму прибыло новых заключенных.

— А если и много, то тебя это не касается.

— Но старых заключенных осталось, вероятно, тоже немало.

— Кто не подох от грязи, клещей и голода, тот еще висит на крючке надежды.

— Вот тебе еще динар. Скажи мне, имеются ли среди заключенных женщины?

— Есть две старухи; их посадил новый султан за то, что они колдовали и хотели нагнать на него болезнь.

— А молодых женщин нет?

— Что ты ко мне пристал? Ты кто: судья, начальник палачей или старший имам мечети? Я не смею разговаривать с тобой. Может быть, ты разбойник и хочешь освободить других головорезов. Возьми назад свои деньги и отъезжай отсюда.

Кара-Кончар поднял плеть и хотел ударить сторожа, но чья-то рука мягко удержала его. Он оглянулся. Высокий старик с длинными до плеч волосами, одетый в рубище, горящими глазами встретил гневный взор Кара-Кончара.

— Видно, ты не знаешь здешних порядков и потому так говоришь с этим стариком. Уйдем подальше отсюда, и я тебе все объясню. Смотри, пока ты говорил, уже из ворот вышли человек десять палачей — джандаров султана; они все глядят в эту сторону и готовы на тебя наброситься... Пойдем скорее отсюда, послушай моего слова, следуй за мной.

Кара-Кончар тронул коня и поехал за странным стариком. В переулке старик еще ускорил шаги и вскоре завернул в глухую улицу. Здесь он остановился.

— Ты не удивляйся, что я заговорил с тобой. Я уже целый год хожу к тюрьме и передаю хлеб моему господину, брошенному в подземелье. Его звали Мирза-Юсуф; у хорезм-шаха Мухаммеда он был летописцем. Шах

выказывал ему милость и ласку. Но когда старая гиена Туркан-Хатун сделалась в Хорезме «великим мечом гнева и копьем могущества», она не пожалела ни седин, ни слабости Мирзы-Юсуфа и бросила его в подвалы тюрьмы...

— Но за что?

— За то, что он в своей книге назвал ее «черным пятном на плаще могучего Хорезма» и описал все ее подлости. Об этом донесли шахине святые имамы, и теперь я хожу по городу, прошу подаяния и отношу в тюрьму, чтобы прокормить беспомощного старика. Я жду, чтобы ворвались в этот город неведомые кочевники. Когда они будут резать население и джандары разбегутся, как мыши, я прибегу к тюрьме, задушу своими руками этого подлого сторожа и выпущу на свободу всех заключеных, а с ними и старого Мирзу-Юсуфа. А сам я тогда уйду на свою родину.

— А далеко твоя родина!

— Далеко! Я из русской земли, и зовут меня Саклаб, а по-нашему дед Славко.

Кара-Кончар задумался.

— Скажи мне, бек-джигит, кого ты ищешь?— продолжал старик.— Может быть, я могу тебе помочь?

— Много ли женщин в тюрьме? Сторож сказал, что сидят только две старухи.

— Он солгал! Ты заметил в башне, высоко под крышей, маленькие отдушины? Там — небольшие каморки. В них запрятано несколько женщин из гарема шаха за то, что они оказались непокорными.

— Есть ли среди них туркменки?

Старик задумался.

— Я все узнаю. Этот сторож любит деньги. Хотя одет он оборванцем, но он богат. Из всех подаяний в пользу заключенных он им отдает едва ли половину, а все остальное берет себе. У него есть и дом, и сад, и гарем из восьми жен... Я попробую помочь тебе. Видишь эту старую калитку под деревом,— здесь раньше жил мой хозяин, летописец Мирза-Юсуф. Я оберегаю его дом и книги... У него была воспитанница, Бент-Занкиджа; она помогала ему переписывать книги. Но она уехала в Бухару и потом исчезла. И вот я остался один...

— Я верю тебе, старик Саклаб, и не думаю, что ты хочешь моей гибели. Завтра утром я буду здесь...

Глава восьмая

ЧТОБЫ ВЗЯТЬ ГУРГАНДЖ — ЕГО НАДО СПЕРВА РАЗРУШИТЬ

Монгольское войско, прибыв в Хорезм, не сразу приступило к осаде столицы. Сперва монголы расположились в селениях поблизости от Гурганджа, сгоняя в свои лагери пленных поселян. Оба сына Чингизовы, Угедэй и Джагатай, поселились в загородном дворце Тиллялы, а их военачальники — Кадан, Богурджи, Тулен-Джерби, Таджибек и другие — спешно были заняты изготовлением осадных машин, метательных катапульт и «черепах» на колесах. Китайские инженеры, привезенные издалека, обещали соорудить штурмовые машины, которые помогут быстро взять город.

Затруднение представило отсутствие поблизости камней — нечего было бросать. Тогда китайцы предложили вырубать из тутовых деревьев большие ядра и долго выдерживать их в воде, пока они не получат необходимой твердости.

Отдельные отряды монголов появлялись с разных сторон города, вступали в бой с выезжавшими из ворот отрядами всадников и быстро уносились, стараясь снова заманить их в засаду. Но гурганджские воины уже были настороже и возвращались под защиту своих стен.

В городе во главе войска стоял султан Хумар-Тегин, а ближайшими его помощниками были Огул-Хаджиб (защитник Бухары), Эр-Бука-Пехлеван и Али-Дуруги. На военном совете султан Хумар-Тегин показал подметные письма монголов. В них население приглашалось открыть ворота и довериться монголам, которые не сделают никакого вреда.

— Почему не договориться с ними? — говорил султан. — Лучше выдать им большую дань и кончить дело миром, чем подвергать всех жителей ужасам вторжения, резни и пожаров.

Огул-Хаджиб и другие возражали:

— Ты, падишах, вероятно, забыл, что монголы сделали с Бухарой, Самаркандом, Мервом и другими городами? Там жители тоже просили пощады и бросали оружие. Монголы отобрали лучших ремесленников и послали к себе в Монголию, а остальных перебили палками с железными шарами.

— Все-таки надо узнать, чего хотят монголы,

Ночью султан Хумар-Тегин с небольшой свитой выехал из Гурганджа и прибыл во дворец, где пировали Джагатай и Угедэй. Он предстал перед ними, сложив руки на груди, как проситель.

— Что ты нам привез? — спросил со смехом Угедэй. — Где золотые ключи от ворот?

— Я преклоняюсь перед величием и силой владыки Востока, Чингиз-хана, и хочу служить ему, как служат другие беки.

— Нам нужен город Гургандж, а не такие перевертыши, как ты! — ответил мрачный Джагатай. — Можем ли мы поверить одному твоему слову, если ты бросил родной народ и даже готов пойти против него? Возьмите его!

Палачи схватили Хумар-Тегина и всех его спутников. Они сорвали с них одежды, не проливая крови, переломили им хребты и бросили в овраг, где, еще полуживых, их объели шакалы и собаки.

Когда прибыл со своим войском старший сын Чингизов Джучи-хан, Гургандж был уже в тесном кольце монгольских отрядов. Чтобы подвести к стенам метательные машины, три тысячи монголов и толпа пленных стали исправлять мост через канал. Вдруг из ворот Гурганджа вылетел отряд смелых всадников во главе с туркменом Кара-Кончаром. Они внезапно напали на работавших монголов и всех их перебили, нагромоздив на мосту целый вал трупов. Этот успех воодушевил осажденных.

Тогда монголы придвинули к городу все свои войска. Они пригнали много тысяч захваченных поселян и заставили их зарывать ров, окружавший стены. После этого можно было подкатить осадные машины и начать штурмовать город. Метательные катапульты швыряли моченые деревянные ядра и китайские кувшины с горящей жидкостью. От нее вспыхивал такой сильный огонь, что деревянные постройки загорались большим ярким пламенем и его невозможно было затушить.

Наиболее решительно действовали с севера войска Джучи-хана. Там под стены города пленные подкопали подземный ход. Монголы ворвались внутрь города, и после отчаянной схватки вскоре на северной сторожевой башне уже развевалось огромное белое знамя сына великого кагана.

Это вызвало зависть и ярость Джагатая. Он бросал

на стены Гурганджа отряд за отрядом, но защитники стен проявили неимоверную стойкость, сбивали влезавших кирпичами, обливали кипятком и горячей смолой, так что нападавшие падали грудами, обожженные и обваренные.

Глава девятая

КАРА-КОНЧАР В „БАШНЕ ВЕЧНОГО ЗАБВЕНИЯ"

Несколько раз Кара-Кончар неудачно приезжал к старой калитке под деревом, чтобы встретиться со стариком Саклабом. Наконец он его увидел. Старик был уже не в лохмотьях, как раньше, а в полосатом халате и с синей чалмой на голове. Не сразу можно было узнать его.

— Прости меня, смелый бек-джигит, что я не мог раньше рассказать тебе все, что я узнал и что сделал. Сторож тюрьмы точно в рот воды набрал. Боится, видно, джандаров, или он с ними заодно. Я заговаривал с ним и так и этак, предлагал чистить тюрьму, но этим вызвал только его гнев. Когда же я предложил ему работать у него на дому за пару лепешек в день, он обрадовался и сделал меня надсмотрщиком за его восьмью женами... А когда я побил его главную, злую жену, он мне в награду подарил этот халат и старую чалму...

— Что ты мне болтаешь вздор о каких-то женах и халатах! — рассвирепел Кара-Кончар. — Я тебе дал пять золотых. Что ты сделал? Узнал ли все, что нужно?

— Конечно, узнал! Если Назар-бобо молчит, то разве его жены могут молчать? Они давно все от него выведали, а я выведал от них... В этой тюремной башне имеется несколько каморок, они прилепились внутри к стенам, как ласточкины гнезда. А в середине башни бревна сгнили и полы провалились до самого подвала.

— Чтоб заодно шайтан и тебя завалил!

— Добираться до этих каморок трудно, надо лезть по деревянным приставным лесенкам, связанным гнилыми веревками. Раньше по ним лазал сам сторож Назар-бобо, а теперь и он уже боится...

— Кто же сидит в этих каморках?

— Сидят люди, вызвавшие гнев хорезм-шаха. А в

одной каморке, под самой крышей, заключена молодая туркменка...

— Говори ее имя! — джигит схватил старика за плечо.

— Говорят, что ее имя Гюль-Джамал.

— Ты сейчас же проведешь меня к ней.

— Да разве это сейчас возможно? Двести джандаров сидят возле ворот дворца, изнывая без дела. Они ждут, на кого бы наброситься, а ты хочешь прямо пройти в тюрьму! И сам ты попадешь в подвал.

— Молчи, трусливая душа! Иди к тюрьме и жди меня там. Я сейчас туда приеду и всех повытрясу!.. — Кара-Кончар хлестнул коня и, взбивая пыль, помчался вдоль узкой улицы.

Он приехал в ту часть города, в который жили и трудились различные ремесленники: кузнецы, медники, оружейники и искусные мастера кольчуг, броней, щитов. Удары по наковальням бесчисленных молотков наполняли воздух одуряющим грохотом и звоном.

И здесь работа спорилась только наполовину, горячо работали только ремесленники, изготовлявшие оружие. Кому в день гибели нужны резные медные тазы, кувшины или нарядные украшения для конской сбруи?

Кара-Кончар увидел толпу кричавших и споривших кузнецов. Появление мрачного всадника вызвало любопытство, и они замолкли. Что нужно «черному джигиту» на вороном коне?

Кара-Кончар въехал в середину толпы и заговорил горячо:

— Эй вы, кузнецы, железные руки, медные груди! Долго ли ханы и беки будут издеваться над вами? Сперва хорезм-шах Мухаммед выжимал поборами ваши силы. Он убежал в Иран с сундуками, полными золота. За ним, к счастью, поплелась и злобная гиена — его мать. Теперь самозванный султан Хумар-Тегин передался на сторону наших врагов и, наверно, им уже рассказал, с какой стороны легче всего проломать стены Гурганджа. Долго ли вы будете моргать глазами и ждать, что какой-нибудь новый султан опять продаст вас? Чего вы ждете? Пойдем во дворец, разнесем в клочки это змеиное гнездо и заодно высадим железные двери тюрьмы и выпустим из ее подвалов заключенных. Там сидят не разбойники и убийцы, а те, кто говорил правду не в угоду султану.

— Пойдем, пойдем! Разнесем дворец хорезм-шаха! — закричали кузнецы. — Развалим тюрьму!

— Берите молотки, берите клещи и зубила, берите все, что нужно, чтобы расклепать цепи. Все берите, чтобы вывести из подвала умирающих наших братьев.

Все кузнецы, и оружейники, и медники, и другие ремесленники, забрав и молотки, и мечи, и копья, грозной толпой направились к дворцу.

Некоторые джандары бросились навстречу и пытались разогнать толпу. Они были избиты и брошены под ноги. Пока кузнецы громили дворец, несколько человек помогали Қара-Қончару раскрыть железные двери тюрьмы. Сторож Назар-бобо, связанный, стоял тут же; он всхлипывал и клялся, что всегда заботился о заключенных, как о своих детях.

Қузнецы быстро открыли железную дверь.

Туган, прибежавший с кузнецами, кричал:

— Скорее вниз, в подземелье! Там остались мои друзья, бессильные, ослепшие от вечной темноты. Некоторые не смогут выбраться, у них отнялись ноги...

Несколько человек спустились в мрачное отверстие подвала.

Оттуда стали выползать заключенные, цепляясь друг за друга, в лохмотьях, грязные, с отросшими длинными ногтями, со спутанными волосами. Ослепшие от многолетней темноты, они стукались головами, все ощупывали руками, плача и смеясь, не веря счастью, что они снова под небом и солнцем, среди свободных людей.

— Идите через базар, — кричали им из толпы. — Пусть все видят, как хорезм-шахи содержали своих подданных! Требуйте, чтобы купцы вам дали чистые рубашки и шаровары.

Қара-Қончар с пылающим факелом шагнул внутрь башни. Оттуда веяло холодом и сыростью. Перед собой он толкнул испуганного, твердившего молитвы сторожа. Тот полез по шатким лесенкам. Сзади следовал Туган и по пути сбивал молотком замки на дверях заключенных. Җалкие, в отрепьях, женщины, изможденные и худые, выходили, шатаясь, держась за стены, и с плачем спускались вниз.

Қогда Қара-Қончар поднялся под самый свод крыши, сторож остановился около железной двери. Маленькое

квадратное отверстие было защищено железной решеткой.

— Здесь,— сказал он,— содержится «навеки и до смерти» одна женщина из дворцового гарема. Она осмелилась поднять руку на самого шаха Мухаммеда.

— Чего ж ты ждешь? Открой!

— Не гневайся на меня, храбрейший богатырь, но ключ от этой двери хранится у падишаха.

— Значит, у тебя нет ключа?

— Нет, мой повелитель! Нет, мой всевышний аллах!

— Тогда провались к чертям! — И Кара-Кончар сбросил сторожа. С отчаянным воплем полетел он вниз, по пути задевая за рухнувшие балки, и скрылся во мраке под визг и лай всполошившихся собак.

Кара-Кончар припал глазом к небольшому отверстию в двери. Он увидел только обрывок старого ковра, освещенный косым лучом солнца.

«Где она?— думал он.— Каморка пуста. Неужели она погибла?»

Вдруг тень скользнула перед ним, и показалось темное лицо. Большие черные глаза впивались пристальным взглядом.

Кара-Кончар давно готовил много прекрасных слов из старых песен, но все они разлетелись, как испуганные пчелы. Он мог только сказать:

— Это я!

Робкий, слабый голос прошептал:

— Освети твое лицо, чтобы я могла тебя узнать.

Кара-Кончар отодвинулся и поднял горевший факел.

— Я узнаю шрам через все лицо от лапы зверя. Это ты, кого никто и ничто не удержит.

— Отойди от двери, сейчас ты будешь на свободе.

Кара-Кончар заметил, как стройная тень очень исхудавшей девушки отступила назад, как легко она опустилась на обрывок пестрого ковра. Луч солнца упал на смуглое, почти голое тело. Его едва прикрывали лохмотья красной ткани и несколько нитей синих бус. Большие черные глаза смотрели мрачно и настороженно.

— Пусти меня, Кара-Кончар,— сказал один из спутников.— Оружейник скорее вскроет замки, чем богатырь Кара-Кумов.

Кузнец отбил молотком замок. Железная дверь пода-

лась. Гюль-Джамал продолжала сидеть, закрываясь руками.

— На мне вся одежда истлела. Я не могу встать перед тобой.

Кара-Кончар отступил и сказал молодому кузнецу:

— Ты не должен смотреть на женщину. Брось ей твой чапан, я тебе подарю другой, шелковый.— Он повернулся и поднялся по узкой полуразрушенной лестнице на крышу башни.

Он увидал кругом клубы дыма; в вихре искр и огня они неслись к облакам. Город пылал. Вокруг городских стен в тучах пыли передвигались отряды всадников. Вдали на башне развевалось белое семихвостое знамя Джучи-хана.

На площадку вышла Гюль-Джамал в синей чалме и мужском чапане, похожая на тонкого, стройного мальчика. С изумлением подняв изогнутые брови, она всматривалась вдаль.

— Что происходит в Гургандже? Что это за страшные люди скачут перед стенами города?

— Война примчалась и сюда, — ответил Кара-Кончар. — Враги осадили Гургандж... Теперь мы с тобой будем всегда бороться рядом. Огонь войны и слезы на твоих печальных глазах нас соединили.

— В этой страшной башне я все забыла и научилась только ненавидеть. Я пойду с тобой всюду, как яростная тигрица, а не прежняя беззаботная Гюль-Джамал...

Кара-Кончар уже не слушал ее слов. Прикрывая глаза рукой, он всматривался в сторону сквозь проносившиеся клубы дыма и пыли.

— Что наделали эти безумцы! Смотри: великая река Джейхун вышла из берегов и движется на нас... Она смывает дома; они разваливаются, как детские игрушки... Смотри: высокие тополя, точно подрубленные, с треском падают... Эти тупоголовые, беспощадные дикари разрушили древнюю плотину, которая уже тысячу лет сдерживала течение могучей многоводной реки...[1] Теперь река, все сокрушая по пути, зальет и погубит весь многолюдный город... Гюль-Джамал, надо

[1] „Монголы сами разрушили плотину, после чего вода хлынула и затопила весь город. Строения разрушились, и место их заняла вода". (Ибн ал-Асир, XIII в.)

немедленно бежать из этой старой башни: под напором воды она рухнет и нас раздавит...

Уже большая часть города была разрушена беспрерывными штурмами пленных, которых монголы гнали на приступы. Однако жители Гурганджа продолжали защищаться с отчаянной яростью. Монголы брали квартал за кварталом. Привыкшие биться в поле, с коня, монголы с трудом передвигались по узким улицам, заваленным обломками горевших построек, но продолжали упорно наступать и метко поражали защитников длинными стрелами.

Самыми яростными бойцами были ремесленники Гурганджа; они знали, что, в случае плена, их участь предрешена: самых искусных и сильных монголы отошлют на свою далекую родину, а остальных, непригодных, перебьют.

Жены и девушки сражались на стенах и крышах домов рядом со своими отцами, мужьями и братьями. И если кто-либо из них, пораженный стрелой, падал, то женщины бесстрашно складывали перед раненым стенку из кирпичей и земли, чтобы оградить упавших от новых стрел.

Героическая защита Гурганджа вписала одну из самых необычайных страниц в печальную повесть о гибели великого Хорезма; другие города большей частью выказывали слепую доверчивость к монголам, малодушие и слабость, почему бесславно погибли. Вокруг Гурганджа монголы потеряли очень много своих воинов, и кости павших образовали целые холмы, которые потом много лет были видны между развалинами.

Когда остались невзятыми только три квартала, измученные, израненные защитники Гурганджа решили сдаться и послали избранных лиц к хану Джучи просить милости и пощады. Сын Чингиз-хана ответил:

— О чем вы думали раньше? Почему вы не выказали покорности, когда мои войска подходили к городу? Теперь, когда я потерял столько моих лучших бойцов, могу ли я запретить моим воинам насытиться яростью и грабежом? Никакой пощады вам не будет.

Монголы бросились в уцелевшую часть города. Одних защитников они взяли в плен, других зарубили, все имущество разграбили.

По приказанию хана Джагатая, не желавшего, чтобы

жемчужина Хорезма, Гургандж, досталась старшему брату, монголы разрушили главную плотину, распределявшую воду по всему Хорезму. Вода затопила огромный город и снесла здания. Место города и потом много лет оставалось покрытым водой. Кто спасся от татар, тот утонул в волнах разлившейся реки или погиб под развалинами. Сохранилось только несколько зданий: часть старого дворца Кэшки-Ахчак, построенного из кирпичей, и две шахские гробницы.

Вода разбушевавшейся реки затопила также и несколько других городов Хорезма, а сама река переменила течение и долгое время направлялась через пески в Абескунское море.

Во время отчаянной защиты Гурганджа Хаджи Рахим находился на стенах среди сражавшихся. Зная арабские способы перевязывания и лечения ран, он помогал пострадавшим.

Когда внезапно разлилась река Джейхун, он два дня просидел на высокой кирпичной гробнице-мавзолее шаха Текеша. В плывшей мимо лодке оказался рулевым уже знакомый дервишу кузнец Керим-Гулем. Тот пересадил его в свою лодку, и они вместе плавали по бушевавшей водяной равнине, спасая всех, кого могли. Им не удалось больше встретить Кара-Кончара и Гюль-Джамал. Значительно позднее Хаджи Рахим слышал не раз сказку маддаха[1] о подвигах Кара-Кончара, охотившегося в Кара-Кумах за монголами, и о его беспредельной любви к пастушке Гюль-Джамал, насильно увезенной в гарем последнего хорезм-шаха.

Маддах заканчивал сказку описанием разлива реки, смывшей славный и богатый Гургандж. В этот поток разбушевавшихся вод попал Кара-Кончар. Некоторые люди видели, как он отчаянно боролся с волнами, чтобы спасти Гюль-Джамал, но оба исчезли в бурных потоках... В одном месте, где обнажилась возвышенность, нашли два тела: Гюль-Джамал и Кара-Кончар лежали друг около друга, и маленькая ручка туркменки была зажата в могучей ладони Кара-Кончара...

Маддах заканчивал сказку поучением: «Любовь по истинному влечению — это та любовь, которой нет конца

[1] Маддах — народный рассказчик.

иначе, как только со смертью...[1] Но если при этом девушки плакали, то маддах говорил: «Знающие люди мне передали также иное: будто бы известие о смерти Кара-Кончара в волнах Джейхуна неверно,— он выплыл из потоков реки на своем вороном коне и спас Гюль-Джамал. Он увез ее в глубину Кара-Кумов, в свою юрту близ колодцев Бала-Ишем. Там они прожили счастливо много лет, чего и вам всем желаю!»

Глава десятая

ХАДЖИ РАХИМ У ЮНОГО БАТУ-ХАНА

Не презирай слабого детеныша, — быть может, это детеныш льва.

(*Арабская поговорка*)

Хаджи Рахиму удалось с трудом пробраться между буйствовавшими монгольскими отрядами и прибыть в лагерь Джучи-хана. Привязанная на колпаке дервиша золотая пластинка с соколом охраняла его и привела к белой юрте правителя северо-западного улуса, великого царства монголов. Хаджи Рахим слышал, что Джучи-хан, старший сын грозного Чингиз-хана, был единственным из всех лиц, окружавших монгольского владыку, кто осмеливался с ним спорить. Но говорили также, что Чингиз-хан не доверял своему первенцу и постоянно подозревал его в попытках организовать заговор. Поэтому Чингиз-хан назначил его правителем самого отдаленного крайнего улуса, где бо́льшую часть земель еще приходилось завоевывать. Чингиз-хан тогда сказал сыну: «Отдаю тебе все земли на запад так далеко, как может ступить копыто монгольского коня!»

В белой юрте, на низком троне, сидел, подобрав под себя ноги, Джучи-хан. Он был похож на отца высоким ростом, медвежьими ухватками и холодным взглядом зеленоватых глаз. От безбородых монголов он отличался длинными усами и узкой черной бородой. Искусно вплетенные в бороду конские волосы переходили в тонкую косичку, которую Джучи закидывал за правое ухо. Перед троном на коленях, пригнувшись до земли, покорно

[1] Из поучений Ибн-Хазма (XI в.)

ожидала милости великого властителя толпа просителей: и ханов, и улемов, и купцов, и простых хорезмийцев.

Хаджи Рахим, громко повторяя: «Я-гу-у, я-хак!», шагая через спины просителей, прошел прямо к трону Джучи-хана и остановился, опираясь на посох.

Пристальным, мрачным взглядом уставился Джучи-хан на дервиша и спросил:

— Чего просишь, кипчакский шаман?

Хаджи Рахим объяснил, что принес собственноручное письмо великого визиря Махмуд-Ялвача.

— Почему так поздно? Я жду письма давно.

— Я находился в осажденном городе Гургандже.

— Значит, ты был заодно с моими врагами?

— Да, я как лекарь помогал раненым.

Хаджи Рахим вскрыл конец посоха, залепленный воском, и вытащил свернутый листок бумаги с красной печатью. Писарь Джучи-хана развернул листок и осмотрел его с удивлением.

— Здесь написано всего три слова: «Этому человеку верь!»

— Ясно и достаточно!— сказал Джучи.— Приведите моего сына Бату-хана!

Нукеры побежали и вскоре вернулись. Впереди них прыгал мальчик лет девяти, с небольшим луком и тремя красными стрелами[1]. Он вырывался от двух стариков, которые старались его вести под руки. Подбежав к Джучи-хану, мальчик привычным жестом упал на колени, коснулся лбом ковра и вскочил, посматривая на всех блестящими карими глазами.

— Вот мой сын Бату-хан!— сказал Джучи, косясь на мальчика.— Я просил преданного Махмуд-Ялвача прислать ученого мирзу, который научил бы моего сына читать, писать и говорить на том языке, на каком объясняются мои новые поданные, жители Хорезма. Сумеешь ли ты быть таким учителем?

— Я могу научить мальчика читать книги туркменские, персидские и арабские и сделаю это с радостью,— ответил Хаджи Рахим.— Я только не умею объяснять священные книги, как это делают имамы в мечетях. Я занимаюсь по тем книгам, в которых описываются

[1] Три красные стрелы — признак высокого ханского рода.

путешествия по вселенной и в которых говорится, что такое добро и зло, любовь к родной земле и долг каждого человека...

— Это полезно и хорошо!— сказал Джучи.— Такой учитель поможет содрать с моего сына кожу степного дикаря и сделать его правителем народов. Бату, слушайся твоего нового учителя! А тебе, мирза, разрешаю бить моего сына тростью...

Мальчик отвернулся.

— Если он будет мне рассказывать про богатырей и про войны, я, пожалуй, стану его слушать!

Хаджи Рахим ответил мальчику:

— Я тебе расскажу про завоевания румийского полководца Искендера Двурогого. Этот царь, будучи совсем молодым, завоевал много стран, где у царей было больше, чем у него, и оружия, и сокровищ, и войска, но они все же были Искендером разбиты...

Мальчик повернулся к дервишу и с любопытством стал его разглядывать.

— Каким путем хан Искендер достиг таких побед?— спросил Джучи-хан.

— Говорят, что когда об этом спросили самого Искендера, он будто бы ответил: «Не угнетал я подданных завоеванной страны».

Джучи-хан посмотрел на своего сына и сказал:

— Мой отец, единственный и величайший, Чингиз-хан, завоевал половину вселенной, а Искендер Двурогий — вторую половину. Что же остается завоевать тебе, Бату-хан?

Мальчик, не задумываясь, ответил:

— Я отниму все земли у Искендера!..

С этого дня Хаджи Рахим остался в лагере Джучи-хана, сделавшись учителем его сына Бату. Он занимался с ним несколько лет до внезапной гибели Джучи-хана от рук подосланных убийц. Во время облавной охоты Джучи-хан погнался за оленем и отдалился в камышах от своих нукеров. Его с трудом нашли. Он лежал с переломанным, по монгольскому обычаю, хребтом. Таинственные убийцы скрылись и не были обнаружены. Некоторые шептали, что они были подосланы самим Чингиз-ханом[1].

---

[1] Об этом говорят восточные летописцы: Джувейни (XIII в.) и другие.

Джучи был еще жив, но не мог сказать ни слова или пошевельнуть рукой. Только глаза его смотрели печально и мрачно, пока не закрылись навеки.

В это время приехал, возвратившись из похода на запад, прославленный полководец Субудай-багатур. Он посадил мальчика Бату-хана к себе на седло и сказал:

— Здесь тебя ждет такой же конец, какой увидел мой повелитель Джучи-хан. Ты едешь со мной в Китай, где научишься военному делу. Я воспитаю тебя, как родного сына, сделаю полководцем.

Расставшись с Бату-ханом, Хаджи Рахим снова остался одиноким скитальцем. Он сильно горевал о своем младшем брате Тугане, который исчез в Гургандже во время разлива реки. Погиб ли Туган, или спасся от волн реки и мечей монголов? Скитался ли в других областях свободным или рабом? Об этом постоянно думал Хаджи Рахим и ждал того дня, когда он его снова встретит.

Хаджи Рахим обошел разные города, всюду расспрашивал очевидцев о скорбных днях, пережитых народами Хорезма во время вторжения беспощадных монголов. Он записывал рассказы достоверных людей и, наконец, решил написать целую книгу о Чингиз-хане, о том, как он стал могущественным и захотел завоевать весь мир, и о том, как все гибло и обращалось в пустыню там, где проходили монголы.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

БИТВА ПРИ КАЛКЕ

Глава первая

ПРИКАЗ ЧИНГИЗ-ХАНА

> **...Вид их был адский и наводил ужас. У них не было бороды, только у иных несколько волос на губах и подбородке. Глаза узкие и быстрые. Голос тонкий и острый. Они сложены прочно и долговечны.**
>
> **(*Киракос, армянский историк, XIII в.*)**

Весной года Дракона (1220), в месяц Сафар (апрель) Чингиз-хан призвал к себе двух полководцев, испытанных в выполнении самых трудных поручений: старого одноглазого Субудай-багатура и молодого Джебэ-нойона[1].

Немедленно они прибыли в шелковую юрту «потрясателя вселенной» и пали на войлок перед золотым троном. Чингиз-хан сидел на пятке левой ноги, обнимая рукой правое колено. С его круглой лакированной шапки с большим изумрудом свисали хвосты чернобурых лисиц. Желто-зеленые кошачьи глаза смотрели бесстрастно на двух склоненных непобедимых багатуров. «Единственный и величайший» заговорил низким хриплым голосом:

— Лазутчики меня известили, что сын желтоухой собаки, хорезм-шах Мухаммед, тайно покинул свое войско. Заметая следы своего бегства, Мухаммед недавно показался на переправах через реку Джейхун. Он везет с собой несметные богатства, накопленные за сто лет шахами Хорезма. Его надо поймать раньше, чем он соберет второе большое войско... Мы вам даем двадцать тысяч

[1] В это время Чингиз-хан, взяв Бухару и Самарканд, готовился к походу на Индию.

всадников. Если у шаха окажется такое войско, что вы призадумаетесь — можно ли сразиться, воздержитесь от боя... Но сейчас же меня известите!.. Тогда я пошлю Тохучар-нойона, и он один справится там, где вы вдвоем не сумеете победить... Мы думаем, однако, что это наше повеление сильнее, чем все войска Мухаммеда. Пока вы не будете тащить Мухаммеда на цепи, ко мне не возвращайтесь!.. Если же разбитый вами шах с несколькими спутниками будет убегать, чтобы найти приют в крепких горах или мрачных пещерах, или, как хитрый волшебник, исчезнет на глазах людей, то вы черным ураганом промчитесь по его владениям... Всякому городу, проявившему покорность, окажите снисхождение и оставьте там небольшую охрану и правителя, забывшего улыбку... Но всякий город, ставший на путь сопротивления, берите приступом! Не оставляйте там камня на камне, и обращайте все в угли и пепел!.. Мы думаем, что это наше повеление вам обоим не покажется трудным...

Джебэ-нойон выпрямился и спросил:

— Если шах Хорезма Мухаммед чудесным образом будет убегать от нас все дальше на запад, сколько времени гнаться за ним и удаляться от твоей золотой юрты?

— Тогда вы будете гнаться за ним до конца вселенной, пока не увидите Последнего моря.

Субудай-багатур, изогнутый и кривобокий, с кряхтеньем поднял голову и прохрипел:

— А если шах Мухаммед обратится в рыбу и скроется в морской бездне?

Чингиз-хан почесал переносицу и перевел недоверчивый взгляд на Субудая.

— Сумейте схватить его раньше! Разрешаем отправиться.

Оба полководца поднялись с колен и попятились к выходу.

В тот же день с двадцатью тысячами монгольских и татарских всадников они помчались на запад.

Глава вторая

ДОНЕСЕНИЕ „ВЕЛИЧАЙШЕМУ“

Выполняя повеление Чингиз-хана, его полководцы Джебэ-нойон и Субудай-багатур с двумя туменами всадников два года рыскали по долинам и горным дебрям

северного Ирана, разыскивая следы бежавшего владыки Хорезма, шаха Мухаммеда. Ничего они найти не могли. А народная молва им сказала, что хорезм-шах, бросивший свою родину и затем покинутый всеми, умер на одиноком островке Абескунского моря.

Тогда Джебэ и Субудай призвали монгола, умевшего петь старинные песни про битвы богатырей, и медленно пропели ему свое донесение «единственному и величайшему». Они заставили монгола повторить их слова девять раз[1] и затем послали его к Чингиз-хану в его стоянку в равнине близ города Несефа[2], богатой зелеными лугами и чистыми водами. Так как проезд по дорогам был еще опасен из-за нападений и грабежей голодных шаек беглецов, покинувших сожженные монголами города, то для охраны гонца было выделено триста надежных нукеров.

Гонец всю дорогу распевал старые песни про монгольские голубые степи, про лесистые горы, про девушек Керулена, похожих на алое пламя костров, но ни разу не пропел донесения пославших его багатуров. Прибыв в стоянку великого кагана, пройдя через восемь застав телохранителей-тургаудов и очищенный дымом священных костров, гонец подошел к желтому шатру и остановился перед золотой дверью. По сторонам входа стояли два необычайной красоты коня: один молочно-белый, другой — саврасый, оба привязанные белыми волосяными веревками к литым золотым приколам.

Изумленный такой роскошью, гонец-монгол упал ничком на землю и лежал до тех пор, пока два силача-тургауда не подняли его под руки и не втащили в юрту, бросив на ковер перед Чингиз-ханом. Монгольский владыка сидел, подобрав под себя ноги, на широком троне, покрытом золотом.

С закрытыми глазами, стоя на коленях, гонец пропел выученное донесение, заливаясь высоким голосом, как он привык петь монгольские былинные песни:

Донесение величайшему от его старательных нукеров,
Субудай-багатура и Джебэ-нойона,

---

[1] Монгольские вожди, не знавшие письменности, чтобы послать важное донесение, и боясь, что гонец его исказит, составляли его в виде песни, которую гонец заучивал наизусть. Число девять у монголов считалось священным.

[2] Несеф — теперь город Карши к югу от Бухары.

Сын бесхвостой лисы, Мухаммед хорезм-шах,
Кончил жизнь в шалаше прокаженного,
А змееныш его, непокорный Джелаль,
Ускользнул через горы Иранские,
Там бесследно исчез он, как дым.
Мы покончили с ними! Идем на Кавказ,
Будем драться с народами встречными.
Испытаем их мощь, сосчитаем войска,
Пронесемся степями Кипчакскими,
Где дадим мы коням отдохнуть.
Мы запомним пути, мы отыщем луга
Для коня твоего золотистого,
Чтобы мог ты на Запад грозой налететь,
Подогнув под колено вселенную,
И покрыть все монгольской рукой[1].
В мире сил нет таких, чтобы нас удержать
В нашем беге до моря Последнего,
Там, зеленой волной пыль омывши копыт,
Мы курган накидаем невиданный
Из отрезанных нами голов.
На кургане поставим обломок скалы,
Твое имя напишем священное,
И тогда лишь коней повернем на Восток,
Чтоб умчаться обратной дорогою
Снова к юрте твоей золотой,

Окончив песню, гонец, зажмурившись, впервые взглянул в свирепые глаза недоступного простым монголам владыки. Пораженный, он снова упал ничком. Чингиз-хан сидел невозмутимый, непроницаемый, с полузакрытыми глазами и, кивая седеющей рыжей бородой, чесал голую пятку. Он смотрел устало на лежавшего перед ним гонца и сказал как бы в раздумье:

— У тебя горло как у дикого гуся... Тебя подобает наградить...— Он порылся в желтом шелковом мешочке, висевшем на ручке трона, достал кусок запыленного са-

[1] По мнению некоторых военных историков, поход Субудай-багатура, закончившийся битвой при Калке, был глубокой стратегической разведкой для подготовки намеченного Чингиз-ханом вторжения монголов в Восточную Европу. Этот поход был предпринят через 12 лет после смерти Чингиз-хана его внуком Бату-ханом (Батыем) в 1237 году, причем главным военным советником и руководителем этого похода был Субудай-багатур, сделавший указанную разведку.

хара и втиснул его в дрожащий рот гонца. Затем каган сказал:

— Джебэ-нойона и Субудай-багатура еще рано хвалить. Посмотрим, удачно ли закончится их поход... Ответное наше слово мы пришлем с особым гонцом.

Движением пальца каган отпустил гонца. Он приказал его накормить и напоить кумысом, а также достойно угостить сопровождавшую его охрану. На другой день он всех отправил обратно догонять ушедший далеко вперед монгольский отряд.

Прошел год, и никаких известий об ушедших на запад монголах не приходило. Однажды Чингиз-хан сказал несколько слов своему секретарю, уйгуру Измаилу-Ходже, и приказал, чтобы запечатанное письмо (никто не знал его содержания) повез гонец, увешанный бубенчиками, с соколиными перьями на шапке (знак спешности). Охранять гонца он поручил темнику Тохучару с туменом в десять тысяч всадников.

— Ты поедешь до края вселенной, пока не найдешь Джебэ-нойона и Субудай-багатура. Там, на твоих глазах, гонец должен передать наше письмо Субудай-багатуру из рук в руки. Они теперь забрались так далеко, что их теснят тридцать три возмущенных народа. Пора их выручать.

Тохучар в тот же день направился со своим отрядом на запад отыскивать умчавшихся на край вселенной монголов.

Глава третья

В ПОИСКАХ ПОСЛЕДНЕГО МОРЯ

Вперед, крепконогие кони!
Вашу тень обгоняет народов страх.

(Из монгольской песни)

Как две огромные черные змеи, проспавшие зиму, выползают из-под корней старого платана на поляну и, отогревшись в лучах весеннего солнца, скользят по тропинкам, то соприкасаясь, то снова разделяясь, и внушают ужас убегающим зверям и кружащимся над ними с криками птицам, так два монгольских тумена стремительного Джебэ-нойона и осторожного, хитрого Субудай-бага-

тура, то растягиваясь длинными ремнями, то собираясь вместе шумным и пестрым скопищем коней, топтали поля вокруг объятых ужасом городов и направлялись на запад, оставляя за собой закоптелые развалины с обгоревшими, раздувшимися трупами.

Этот передовой отряд войск Чингизхановых прошел по северному Ирану, разгромив города: Хар, Симнан, Кум, Зенджан и другие. Монголы пощадили только богатый город Хамадан, правитель которого выслал вперед с почетным посольством подарки: табун верховых лошадей и двести верблюдов, нагруженных платьями. Упорную битву монголы выдержали в Казвине, где внутри города жители отчаянно дрались длинными ножами. Казвин был сожжен.

Холодные зимние месяцы монголы провели в пределах города Рея[1]. Со всех концов им присылались стада баранов, лучшие кони и верблюды с тюками одежд. Там монголы выжидали весну.

Когда под весенним солнцем зазеленели склоны Иранских гор, монголы прошли по Азербайджану. Большой богатый город Тавриз выслал им ценные дары, и монголы, согласившись на мир, прошли мимо, не тронув города. Они направились на Кавказ, где подступили к столице Аррана Гандже. Но монголы не решились штурмовать этот город, потребовали серебра и одежд, что было им выдано, и они продолжали свой путь в Грузию.

Сильное войско грузин стало на их пути. Субудай с главными силами шел впереди. Джебэ с пятью тысячами всадников укрылся в засаде. При первой же стычке монголы притворно обратились в бегство. Потерявшие осторожность грузины погнались за ними. Татары Джебэ бросились на грузин из засады, а всадники Субудая, повернув обратно, охватили грузин со всех сторон и перебили. В этом бою погибло тринадцать тысяч грузин.

Монгольское войско побоялось, однако, забираться в глубь этой пересеченной горными ущельями страны с очень воинственным населением и покинуло ее, отягченное добычей. Воины говорили, что им тесно в кавказских горных ущельях. Они искали степей, где при-

---

[1] Рей — город, ранее существовавший близ нынешнего Тегерана.

вольно пастись коням. Вырезав город Шемаху, монголы направились к Ширванскому Дербенту. Эта крепость стоит на неприступной горе и закрывает проход на север. Джебэ-нойон послал к ширванскому шаху Рашиду, укрывшемуся в крепости, гонца с требованием:

— Пришли ко мне твоих знатных беков, чтобы мы заключили с тобой дружественный мир.

Ширванский правитель прислал десять родовитых стариков. Джебэ зарубил одного гордого бека на глазах остальных и потребовал:

— Дайте надежных проводников, чтобы наше войско могло пройти через горы. Тогда вам будет пощада. Если же проводники окажутся недобросовестными, то всех вас ждет такой же конец.

Ширванские беки ответили, что они подчиняются этому требованию, провели монгольское войско, обойдя Дербент, горными тропами и показали путь на кипчакские равнины. Монголы тогда отпустили стариков посредников, а сами направились дальше на север.

Глава четвертая

В СТРАНЕ АЛАНОВ И КИПЧАКОВ

На Северном Кавказе Джебэ и Субудай прибыли в страну аланов[1], куда из обширных северных степей на помощь аланам собралось много лезгин, черкесов и кипчакских отрядов.

Монголы бились с ними целый день до вечера, но силы оставались равными, и никто не одержал победы.

Тогда Джебэ послал к знатнейшему кипчакскому хану Котяну лазутчика, и тот прочел Котяну такое письмо:

«Мы, татары, как и вы, кипчаки,— одна кровь одного рода. А вы соединяетесь с иноплеменниками против своих братьев. Аланы и нам и вам чужие. Давайте заключим с вами нерушимый договор не тревожить друг

[1] Аланы — предки нынешних осетин.

друга. За это мы дадим вам столько золота и богатых одежд, сколько вы пожелаете. А вы сами уходите отсюда и предоставьте нам одним расправиться с аланами».

Монголы послали кипчакам много коней, нагруженных ценными подарками, и кипчакские ханы, соблазнившись, предательски покинули ночью аланов и увели свои войска на север.

Монгольские дружины напали на аланов, разгромили и пронеслись по их селениям, предавая все огню, грабежу и убийству. Аланы объявили о своей полной покорности Чингиз-хану, а часть их присоединилась к монгольскому отряду.

Тогда, не имея больше за спиной острых мечей аланов, Джебэ и Субудай внезапно повели свои тумены на север в степь, на кипчакские кочевья. Уверенные в мире и своей безопасности, кипчакские ханы с отдельными отрядами разъехались по своим стоянкам. Монголы гнались за ними по пятам, разорили главные стойбища кипчаков и забрали всякого имущества во много раз больше того, что дали в уплату за измену.

Те из кипчаков, которые жили далеко в степи, услыхав о вторжении монголов, навьючили на верблюдов имущество и бежали кто куда мог: одни спрятались в болотах, другие в лесах[1]. Многие удалились в земли русские и венгерские.

Монголы гнались за убегавшими кипчаками по берегам Дона, пока их не загнали в синие волны Хазарского моря[2] и там многих утопили. Оставшихся в живых кипчаков они сделали своими конюхами и пастухами, чтобы те стерегли захваченные повсюду стада и табуны коней.

Затем они прошли на Хазарский полуостров и напали на Судак, богатый приморский кипчакский город. К нему раньше приходило много чужеземных кораблей с одеждами, тканями и другими товарами. Кипчаки их

---

[1] В верховьях рек Калмиуса и Самар (притока Днепра) были издревле дремучие леса, болота и „волок", по которому перетаскивались ладьи. По этим двум рекам в древности шел оживленный водный торговый путь от Приазовья к Днепру. *(Проф. Брун.)*

[2] В XIII веке Черное море называлось у мусульманских писателей морем Хазарским, а Крым — Хазарией. Позже Хазарским морем называлось Каспийское море.

выменивали на невольников, чернобурых лисиц и белок, а также на бычьи кожи, которыми славилась кипчакская земля.

Узнав о приближении монголов, жители Судака бежали, частью укрылись в горах, частью сели на корабли и отплыли через море в Требизонт. Джебэ и Субудай разграбили город и снова отошли на север для отдыха в кипчакских кочевьях, где отдыхали больше года.

Здесь тянулись обильные травой луга и плодородные поля, распаханные рабами, и бахчи с арбузами и тыквами, и тучные стада крупных коров и тонкорунных баранов. Воины монгольские хвалили эти степи и говорили, что здесь их коням так же привольно, как на родине, на берегах Онона и Керулена. Но родные монгольские степи им дороже, и они их не променяют ни на какие другие степи. Покончив с завоеванием вселенной, все монголы хотят только одного — вернуться на берега родного Керулена.

Джебэ и Субудай со своими отрядами пробыли недолго в главном городе кипчаков Шарукане[1]. В нем были и каменные постройки, до половины врытые в землю, и амбары со складами иноземных товаров, но больше всего было разборных юрт, в которых жили как кипчакские ханы, так и простые кочевники. Они весной откочевывали из города в степь, а на зиму снова возвращались в город.

С приходом монголов заморские купцы, боясь войны, перестали торговать со степью. Город Шарукань, разграбленный и сожженный, опустел, а монгольские войска ушли к Лукоморью[2].

Там монголы поставили курени в низинах между холмами, чтобы укрыться от ветров. Каждый курень ставился кольцом в несколько сот юрт, отобранных у кипчаков. В курене насчитывалась тысяча воинов. Посредине каждого кольца стояла большая юрта тысячника с его высоким рогатым бунчуком из конских хвостов. Около юрт, привязанные на железных приколах, стояли всегда готовые к походу оседланные кони с туго подтянутыми поводьями, а остальные кони паслись огром-

---

[1] По мнению некоторых ученых, город кипчаков Шарукань т. е. (Шарук-ахана) был на месте нынешнего Харькова, который от него и ведет свое название.

[2] Лукоморье — побережье Азовского моря.

ными табунами в степи под надзором кипчакских конюхов.

Монгольское войско продолжало соблюдать строгие законы —«Ясы Чингиз-хана»[1]. Лагери были окружены тройной цепью часовых. В степи, на главных тропах, ведущих в земли булгар, урусов и угров[2], скрывались сторожевые посты. Они ловили всех, кто ехал по степи, расспрашивали их, затем отсылали тех, кто знал новости о соседних племенах, к Джебэ-нойону, а остальных рубили.

У многих нукеров вместе с ними в юртах находились их монгольские жены, выехавшие в поход еще с далекой родины, а также женщины и дети, захваченные в пути. Монголки были одеты так же, как и нукеры, и их трудно было сразу отличить. Они иногда участвовали в битвах, но обычно женщины заведовали верблюдами, вьючными конями и возами, в которых берегли полученную при дележе добычу. Женщины наблюдали также за пленными с тавром владельца, выжженным на бедре, и поручали им разную работу. Они вместе с пленными доили кобылиц, коров и верблюдиц и во время стоянок варили в медных или каменных котлах пищу.

Маленькие дети, рожденные за время походов или захваченные в пути, во время переходов сидели в повозках или в кожаных переметных сумах, иногда по двое, на вьючных конях, а также за спиной ехавших верхом монголок.

В степи, в стороне от монгольского лагеря, растянулся сборный табор воинов разных племен, приставших на пути к монголам. Здесь были видны и туркменские пестрые юрты, и тангутские рыжие шатры, и черные шатры белуджей, и простые шалаши аланов или всадников неизвестно какого племени. Вся эта разгульная орда, подгоняемая монголами, первая посылалась на приступ, а после боя подбирала остатки захваченной монголами добычи.

---

[1] „Яса", или „Ясак" — сборник записанных постановлений и изречений Чингиз-хана, долго служивший для монголов кодексом законов. Теперь „Яса" совершенно забыта и от нее сохранились только незначительные отрывки.

[2] Угры — венгры.

Глава пятая

В ТАТАРСКОМ ЛАГЕРЕ БЛИЗ КАЛКИ

Субудай-багатур приказал поставить себе юрту на высоком кряже морского берега, около устья ленивой мутной реки.

Нукеры весело исполнили приказ багатура, предчувствуя стоянку и отдых. Двенадцать верблюдов привезли несколько разобранных юрт. На верблюдах сидели перепуганные кипчакские пленницы в остроконечных войлочных шапках. По требованию монголов они пели песни, когда ставили полукруглые решетки, обтягивали их белыми войлоками и наискось перевязывали пестрыми ткаными дорожками.

Субудай, хмурясь, спросил:

— Почему три юрты?

— В одной ты будешь думать твои думы, в другой мы поместим твоих любимых охотничьих барсов, а без третьей нельзя — в нее мы для тебя заперли самых лучших кипчакских пленниц, умеющих петь и плясать.

Субудай оборвал нукеров:

— Угга! (Нет!) Пусть во второй юрте рычат барсы, а в третьей юрте пусть для меня варит обед старый Саклаб. Кипчакские пленницы пусть мне в походе не мешают. Раздайте их сотникам.

Саклаб с котлами, большими деревянными ложками и длинным тонким ножом на поясе расположился в третьей юрте. Высокий, худой, костлявый раб, с седыми космами был схвачен татарами в пути около Астрабада. Нукеры объяснили тогда Субудаю: «Этот пленный старик — родом урус. Он был поваром у мирзы самого хорезм-шаха Мухаммеда и задумал бежать к себе на родину. Он говорит на всех языках и умеет готовить всякие кушанья. Старик будет тебе готовить и пилав с миндалем, и чилав со сливами, и каймэ из гороха, и каймак из сливок, и халву, и пахлаву. При нем находится его приемыш, молчаливый юноша по имени Туган. Он будет помогать Саклабу готовить обед». Тогда Субудай рассердился и сказал:

— С меня хватит одного старика Саклаба, чтобы изготовить обед. А никаких помощников мне не надо. Все любят быть помощниками при котле. Этого юношу Тугана вооружить мечом и дать ему из табуна лысого

шелудивого коня. Отправить его в передовую сотню и пусть учится военному делу. Если будет из него хороший воин, то скоро у него появятся и добрый конь, и седло, и броня. А если будет он плохой воин, то его убьют в первой схватке. Потеря небольшая!..

В юрте с белым верхом, повернутой дверью к югу, в сторону моря, Субудай сидел у входа на седельной подушке. Он подолгу с удивлением смотрел выпученным глазом на серое беспокойное море, где и вода, и ветер, и рыбы, и даже летающие над волнами птицы совсем иные, чем в голубых озерах монгольской степи. Издалека катились к берегу однообразные волны, и в туманной синеве иногда показывались белые паруса иноземных кораблей — они боялись приблизиться к занятой татарами земле.

Здесь была привольная степь, высокая трава, озерки с плавающей птицей. Кругом пасся скот, отобранный у кипчаков: быки были белые, длиннорогие, бараны жирные, курдючные, тоже белые; и войлоки у кипчаков белые и юрты белые. Воины Субудая каждый день ели мясо и, ничего не делая, валялись на персидских коврах. Иногда монгольские ханы-тысячники выезжали на охоту с соколами или устраивали скачки, испытывая коней — своих, монгольских, и захваченных в пути: туркменских, персидских, кавказских и других.

Вверх по течению реки Калки, среди степи на кургане поставил свою юрту второй полководец Джебэ-нойон. Вокруг расстилалась зеленая равнина. Через нее к северу уходила цепь сторожевых курганов.

Хотя Джебэ и Субудай были посланы Чингиз-ханом на запад одновременно и для одного дела, но оба полководца друг с другом не всегда ладили, постоянно спорили, и каждый старался на деле доказать ошибку другого. Чингиз-хан не без хитрой мысли отправил двух соперников. Не раз он делал это и с другими своими нукерами, посылая на одно дело двоих,— ведь соперники всегда стараются отличиться.

Джебэ, стремительный в походе, постоянно вырывался вперед. Его отряд не раз попадал в самое опасное положение. Он искусно уходил от напиравшего противника. Когда уже отовсюду грозила гибель, тогда появлялся и выручал Субудай. Он нападал на неприятеля сплоченными рядами тяжелой монгольской конницы, в

которой и нукеры и кони были покрыты железными китайскими латами.

Высокий, прямой, никогда не смеющийся Джебэ, со стеклянными неподвижными глазами, после боя являлся к Субудаю, покрытый пылью и забрызганный кровью. Сидя у костра, он объяснял Субудаю, что не сделал никаких ошибок, что врагов было слишком много. А Субудай посмеивался, довольный, что он опять был спасителем Джебэ, и предлагал ему лучше не объяснять своих ошибок, а попробовать зажаренного на вертеле, как у самого хорезмского падишаха, нашпигованного чесноком и фисташками молодого барашка.

Джебэ был горд, самоуверен, вспыльчив. Он думал, что нигде не сделает промаха, если на шестьдесят шагов попадает стрелою в голову бегущего суслика. За свою меткость и стремительность он и был прозван «Джебэ»— стрела[1]. Под этим именем его знали все в войске, хотя настоящее его имя было другое. Перед битвой он всегда сам осматривал местность, проносясь на высоком поджаром коне по передовым опасным местам, и его не раз с трудом выручали от гибели телохранители-тургауды.

Субудай, с клочками седых волос на подбородке, казался стариком; никто не знал, сколько ему лет. Когда-то в юности он был ранен в плечо, мышцы были перерублены, правая рука с тех пор осталась скрюченной, и он действовал одной левой рукой. Лицо его было рассечено через левую бровь, отчего левый глаз, выбитый, был всегда зажмурен, а правый, широко раскрытый, казалось, сверлил и видел каждого насквозь.

Все нукеры в войске говорили, что Субудай хитер и осторожен, как старая лисица с отгрызенной лапой, а злобен, как барс, побывавший в капкане,— с Субудаем не страшен никакой враг, и с ним не пропадешь.

Джебэ упрямо обдумывал план пути, чтобы доехать до Последнего моря, омывающего вселенную. Донесение Чингиз-хану, посланное с распевавшим песни гонцом,

---

[1] Джебэ выдвинулся из рядов простых нукеров. „Так как Джебэ был храбрый человек, Чингиз-хан дал ему командование над десятком; так как он хорошо служил, — сделал его сотенным беком; так как он выказал старание и усердие, — стал тысячником. После того Чингиз-хан дал ему бекство „тьмы“ (тумена) и долгое время он состоял на службе в свите, ходил с войском и оказал хорошие услуги“. (Рашид ад-Дин.)

сочинял Джебэ, а Субудай только ободрял, покачивая головой, и посмеивался:

— Далеко ли ты дойдешь? И скоро ли будет то место, откуда ты, как сайгак, побежишь обратно, и мне в последний раз придется тебя выручать?

Разведчики, наблюдавшие за степью, ловили пробиравшихся путников, приводили к Джебэ, и он сам их расспрашивал: о племенах, обитающих к западу и к северу, о путях к ним, о реках и переправах через них, о корме для коней, о богатых городах и сильных крепостях, о войске, оружии и о том, хорошо ли воины умеют драться, попадать стрелами в намеченную цель и далеко ли Последнее крайнее море.

Глава шестая

БРОДНИК ПЛОСКИНЯ В ТАТАРСКОМ ПЛЕНУ

Однажды разведчики привели к Джебэ несколько человек из племени, раньше не виданного. Занимались они перевозкой на паромах и лодках дорожных путников. Они были высокие, плечистые, с широкими рыжими бородами, в овчинных потрепанных полушубках, кожаных портах и мягких поршнях[1], переплетенных ремнями. Серые рысьи шапки были лихо сдвинуты на ухо.

— Кто вы такие? Откуда пришли?— спросил Джебэ.

Один, повыше и пошире остальных, отвечал по-кипчакски:

— Мы зовемся «бродники», потому что мы бродим по степи. Отцы и деды бежали сюда, в степь, от князей, ища себе воли...

— Если вы не почитаете ваших господ и убежали от них, значит, вы разбойники и бродяги?

— Мы не то что разбойники и не совсем бродяги... Мы — вольные люди, вольные охотники и рыбаки.

— А ты кто?— спросил Джебэ самого высокого бродника.

— Я зовусь Плоскиня! Наши бродники избрали меня своим воеводой.

Джебэ сейчас же отправил нукеров к Субудай-багатуру сказать: «Приезжай! Пойманы нужные нам люди».

---

[1] Поршни — сапоги без каблуков.

Нукеры прискакали обратно с такими словами: «Субудай-багатур сидит на ковре. Около него торба бобов. Он сказал: «Не поеду, занят»...

Бродник Плоскиня заметил:

— Это значит: «Кто по ком плачет, тот к тому и скачет».

Джебэ оставил под стражей всех пойманных бродников, а сам вместе с Плоскиней, окруженный нукерами, отправился к Субудаю.

На потухающем багровом небе резко чернели три юрты Субудая. Над ними вились дымки и торчали воинские значки — шесты с конскими хвостами и рогами буйволов. Субудай сидел в юрте на персидском шелковом ковре. Освещенный дрожащим светом костра, он левой рукой доставал из пестрой торбы бобы и старательно расставлял их странными длинными нитями.

— Кто это?— спросил Субудай. На мгновение он уставился вытаращенным глазом на Плоскиню и опять занялся бобами.— Садись, Джебэ-нойон.

Джебэ опустился на ковер около Субудая и бесстрастно косился на то, что делал багатур. Никогда он не мог вперед угадать, что сделает старый барс с отгрызенной лапой.

Бродник Плоскиня, высокий осанистый, с широкой рыжей бородой, ниспадавшей на грудь, бегающими глазами осматривал юрту и что-то прикидывал в уме. Он продолжал стоять почтительно у входа. Его сторожили два увешанных оружием монгола.

Поглядывая на руку Субудая, быстро передвигавшую бобы, Джебэ рассказывал, что слышал от пленных, и советовал использовать Плоскиню как проводника.

— А что делают сейчас кипчакские ханы?— прервал Субудай.

— Все они струхнули,— ответил Плоскиня.— Когда ваши татары примчались в их город Шарукань, кипчакские ханы разбежались — одни в русские пределы, другие в болота.

— Кто убежал к урусам?

— Много убежало — и первым главный их богач Котян, и половцы Лукоморские, и Токсебичи, и Багубарсовы, и Бастеева чадь, и другие.

Субудай оторвался от бобов и пристально уставился на Плоскиню.

— А где же теперь главное войско урусов?

— Кто, кроме бога, это знает?

Субудай съежился, его лицо искривилось, и раскрытый глаз загорелся гневом. Он погрозил скрюченным пальцем с обгрызенным ногтем.

— Ты говори все, что знаешь! Не заметай следы! А то я положу тебя под доску, а на доску посажу двадцать нукеров. Тогда ты запищищь, да и сдохнешь..

— А зачем мне молчать?

— Говори, где теперь урусские князья? Готовятся ли урусы к войне?

— Дай смекнуть!— сказал Плоскиня и, расставив длинные ноги, закатил кверху глаза.

Субудай раза два метнул на бродника подозрительный взгляд и снова стал на ковре передвигать бобы. Наконец он зашипел:

— Послушай ты, степной бродяга! Если ты мне все толково расскажешь, так и быть, дам тебе награду. Смотри сюда, на бобы. Видишь эту нитку бобов — это река Дон... А эта длинная нитка — это река Днепр... Подойди сюда поближе и покажи, где должен быть город урусов Киев?

Плоскиня сделал шаг, но оба монгольских часовых бросились на него и сорвали пояс с мечом. Тогда бродник, осторожно опустившись на колени, подполз к Субудаю.

— Так! Понимаю!— говорил он, морща лоб и сдвинув меховую шапку на затылок.— Вот это наш Днепр... А это устье Днепра у моря, где Олешье... А вот здесь малая речушка — это, знать, Калка, где мы стоим сейчас... Но только послушай, мой светлейший хан! Ведь Днепр не так течет прямо с севера на юг, а как согнутая рука, углом. Вот здесь, где плечо — это город Киев, а где кулак — там уже Черное море. А где выпирает в степь локоть — там на Днепре остров Хортица, и вот около Хортицы, значит, у локтя, собирается русское войско.— Плоскиня передвинул бобы так, что Днепр выгнулся углом.

— Сколько отсюда до Киева?— спросил Субудай. Он вынул из торбы вместе с бобами горсть золотых монет, подбросил их на ладони и положил около себя.

У Плоскини глаза разгорелись, и он облизал языком сухие губы.

— А на что тебе Киев? От Киева русские не пойдут. Ведь до Киева отсюда далеко, верст шестьсот...

— Что такое «верст»? — рассердился Субудай.— Не понимаю «верст»!.. Ты скажи мне, сколько до Киева конских переходов.

— Если отсюда на Киев поедешь на одном коне, то будешь прямиком ехать дней двенадцать. А о-двуконь — проскачешь шесть дней.

— Вот теперь ты мне стал говорить толком.

— Но русские от Киева прямо в степь не ходят. Они спускаются на ладьях по Днепру до «локтя», вот до этого угла, до острова Хортицы. Здесь они плавятся на другую сторону и тут «Залозным шляхом»[1], короткой дорогой идут сюда, на Лукоморье. Здесь хорошего конского ходу всего три-четыре, а о-двуконь проедешь и в два дня.

— Всего два дня? — удивился Субудай. — В два дня урусы могут пройти сюда от Днепра?

— Видишь, вот отсюда, от загиба, от Хортицы, наши русские часто делали набеги на половецкие кочевья. Если ехать без повозок, то в два-три дня проедешь.

Субудай, видимо, был доволен, получив важные для него сведения. Он посмеивался, хлопая себя по колену, и приказал подать кумыс. Он подробно расспрашивал Плоскиню о дорогах, о бродах через реки, о войске урусов; о том, какие у них кони, как вооружены ратники, хорошо ли дерутся?

— Бьют они здорово, особливо секирами да и простымы топорами.

— Сколько у этих урусов войска?

— Если все ближние князья приведут к Хортице свои дружины: киевские, черниговские, смоленские, галицкие, волынские и прочие помельче, то в степь двинутся пешцев, стрелков и всадников тысяч пятьдесят.

— Значит, у них пять туменов? — сказал Субудай и положил пять золотых монет около того «загиба» в

---

[1] Залозный шлях — очень древний торговый путь от Азовского моря к Днепру. „Залозный“ произошло от древнего произношения слова „железо“, так как по этому кратчайшему пути караванами провозилось железо, бывшее в древности ценным металлом и доставлявшееся из Китая и других мест Азии (Забелин, Брун). Это наименование „Залозный“ сохранилось в измененном названии станции „Лозовая“.

Хортице на Днепре, где начинался поход в степь.— А сколько всадников выставят кипчаки?

— Пожалуй, тоже наберется тысяч пятьдесят[1]. На этой стороне Днепра уже скопилась несметная туча кипчаков.

Субудай положил еще пять золотых.

— Итак, против нас будет всего десять туменов урусов и кипчаков? — заметил Субудай и посмотрел на непроницаемого, молчаливого Джебэ. — Помнишь, Джебэ-нойон, с каким войском от Черного Иртыша мы пошли на Хорезм... Покажем теперь, хорошие ли мы ученики «потрясателя вселенной» Чингиз-хана!

Плоскиня, стоя на четвереньках, посматривал то на золотые монеты, то на задумавшихся монгольских ханов. Хитрые, злые искры мелькнули в глазах Плоскини, когда он вкрадчиво спросил:

— А что же ты, светлейший татарский воевода, не положил еще несколько золотых на то место, где стоит твоя татарская сила? Похвастай, сколько у тебя войска!

Субудай сжал скрюченные пальцы в кулак и ткнул в лицо Плоскини.

— Вот сколько нашего татарского войска! А вот что я сделаю с урусами и кипчаками!.. — Субудай злобно сгреб десять положенных им золотых монет и бросил их в торбу с бобами. — Всех их засуну в мою торбу и сожру, как творог.

Плоскиня попятился.

— Ты мне дай что-нибудь от твоей ханской милости за усердие!

— Угга! Я денег никому не даю, а мне их все приносят, и я все отсылаю моему повелителю, Чингиз-хану непобедимому... Впрочем, ты можешь заработать награду. Есть у тебя сыновья?

— Слава богу, четыре имеются.

— Где они? Далеко?

— Сидят на бродах по Дону.

— Я пошлю за ними сотню всадников, они мигом их достанут сюда. Ты им прикажешь пробраться соглядатаями на сторону урусов и там высмотреть, где урусские

---

[1] Численность русских и половецких войск Плоскиня умышленно преувеличил, чтобы напугать монголов. В действительности их было значительно меньше. Летописи точного подсчета не дают.

полки и сколько их. Пусть они узнают, что думают урусские воеводы, затем скорее возвращаются назад, чтобы мне все точно рассказать. Тогда я отпущу и тебя и твоих сыновей на волю и дам в награду косяк лошадей и каждому по горсти золота. Ну, что медлишь? Что переминаешься?

Плоскиня стоял твердо, расставив длинные ноги, тяжело вздохнул и сказал:

— Руби мне голову, преславный хан, а моих сыновей не тронь!

Субудай засипел и ударил кулаком по ковру.

— Ты так со мной говоришь? Эй, нукеры! Отведите-ка моего почетного гостя в юрту с барсами и поставьте тройную стражу. А Саклаб пусть угощает его вволю, как хана...

— А ноги ему спутать? — спросил нукер. — Такой волк сбежит!

— Да не забудь почтить его крепкой железной цепью!..

Глава седьмая

ТРЕВОГА В КИЕВЕ

> Вы ведь своими крамолами начали наводить поганых на землю русскую, из-за распри ведь стало насилие от земли половецкой... Загородите полю ворота своими стрелами острыми за землю русскую, за раны Игоревы буйного Святославича!
>
> *(„Слово о полку Игореве")*

У левого степного берега Днепра, против Киева, паром был с утра захвачен половцами, наехавшими внезапно. Они влезли на паром, угрожали перевозчикам, не давая им убежать. От множества людей паром накло-нился, зачерпнув воды. На пегом, как барс, коне подъехал старый грузный половецкий хан. Его провожала сотня джигитов. Один из них гарцевал впереди и держал на длинном шесте ханский бунчук с конскими хвостами и медными побрякушками. Другой бил в бубен. Двое пронзительно дудели на дудках. Один джигит на диком, храпевшем коне хлопал плетью, стараясь проложить хану дорогу к перевозу.

В стороне, перед теснившимися слушателями, тощий запыленный странник с котомкой за спиной рассказывал, что все половцы сейчас бегут с Дикого поля[1], а за ними гонится незнакомое, страшного вида племя «татары»,— «лица их безбородые, носы тупые, и у каждого взхломаченная коса, как у ведьмы. От одного вида безбожных татар люди падают замертво...»

— Что это за люди? Расскажи нам, странник божий, видно, ты человек сведущий и книжный.

Странник, опершись на длинную палку, стал говорить:

— Прииде с востока в бесчисленном множестве некий ядовитый народ, в нашей стране неслыханный, глаголемый «татаре», и с ним еще семь языков. Якоже половцы доселе окрестных народов пленяху и губяху, ныне же их погибель наста. Татаре не токмо половцев победиша и загнаша, но даже да основания искорениша, а на их землю сами седоша...

— Откуда свалилось это племя?

— О сем глаголют сказания в святых книгах, о них же епископ Мефодий Патарийский свидетельствует, яко греческий царь Александр Македонский в древние времена загна поганый народ Гоги и Магоги в конец земли, в пустыню Етриевську, между востоком и севером. Задвинул он их горами и приказал сидеть там до скончания срока. И тако бо епископ Мефодий рече, яко к скончанию времени горы снова раздвинутся, и тогда выйдут оттуда Гоги и Магоги[2] и попленят всю землю от востока до Евфрата, и от Тигра до Понтьского моря — всю землю, кроме Эфиопья...

— Всю землю! — воскликнули в толпе слушателей.— Стало быть, и нашу землю?..

Странник продолжал:

— А разве не видите, что кругом делается? Это знаменья последнего времени! Явилась страшная звезда, лучи к востоку довольно простирающе, иже знаменова новую пагубу христианом и нашествие новых враг... То вышли из-за гор и на нас идут поганые Гоги и Магоги!

---

[1] Дикое поле — причерноморские степи.

[2] Гоги и Магоги — сказочный народ диких великанов, которые якобы Александром Македонским были загнаны за далекие северо-восточные горы.

Ныне пришло реченное скончание времени. Конец миру близко!..

Послышилась вздохи и причитанья. Странник снял войлочную шапку, и слушатели в нее опускали баранки и мелкие черные монетки.

С правого берега на больших просмоленных ладьях приплыли дружинники великого князя киевского. Они разогнали толпу, расчистили место перевоза и помогли старому половецкому хану взойти на паром. В шелковом малиновом чекмене, подбитом соболем, в белом остроконечном колпаке, опушенном красной лисой, и в червленных сапогах, расшитых жемчужными нитями, хан важно стоял, держась за перила рукой в кожаной «перстатой» рукавице. Другой рукой он сжимал рукоять кривой сабли, сверкавшей алмазами.

Хан, дородный, величавый, казался спокойным, только глаза его тревожно бегали, косясь на темные воды Днепра. Ветер усиливался, поверхность реки рябила, и седые барашки пенились на катившихся волнах.

Хан платил щедро. Паромщики получили от него немало горстей серебряных денег и старались изо всех сил. Целый день они перевозили огромный караван: отборных коней, закутанных в расшитые попоны, ревущих от страха верблюдов, грузных буйволиц с длинными рогами, падающими на плечи, приодетых тут же на берегу иноземных пленниц, смуглых, чернобровых, разукрашенных бусами и лентами. Все это везлось в дар русским князьям.

В толпе говорили, что это прибыл старейший половецкий хан Котян, владелец сотен тысяч коней, бродивших по беспредельным равнинам «Дикого поля» с его тавром: след копыта в виде полукруга и под ним две черты.

— Котян — хозяин степи! Он один может выставить огромную воинскую рать. Не зря он приехал в Киев. Нужда его погнала. И другие половецкие ханы потянулись со всеми своими родами на русскую сторону и теперь переходят Днепр по всем бродам и переметным мостам. Половецкие отряды входят в воду на конях в бронях за щитами и с копьями... Что-то будет? Нет ли у них злого умысла? И песен веселых половцы больше не поют. Только песни тягучие, как верблюжьи стоны, слышны издалека, когда идут из степи в нашу сторону...

В хоромах великого князя киевского, Мстислава Романовича,[1] спешно готовились к съезду: ожидались и большие и меньшие князья. Ко всем были посланы гонцы с заводными конями сзывать на защиту Русской земли.

Киевскому князю нелегко было принять с честью именитых гостей — каждый являлся со своими дружинниками; чем был выше князь, тем с большей свитой он ехал. Княжеские слуги заставили всех хлебников и мясников Киева печь пироги с начинкой и пшеничные караваи и везти на княжеский двор. Теперь не та сила, какая была у киевского князя сто лет назад, в пору Мономаха. Тогда под рукой киевского великого князя была почти вся Русская земля: и Киев, и Переяславль, и Смоленск, и Суздаль, и Ростов, и даже далекий богатый Новгород принадлежали ему всецело. Тогда ему повиновались все князья, а половцы не смели пошевельнуться. По всем границам он разнес славу русского имени. Но годы шли, род Мономаха дробился. Князья раздавали города и волости своим сыновьям, племянникам и внукам, и теперь Мстислав Романович владел Киевом урезанным и слабым. За последние двадцать пять лет разгромы, сделанные русскими князьями, истощили Киев, когда галичане, и владимирцы, и суздальцы, и призванные недобросовестными князьями дикие половцы[2] грабили и жгли древнюю столицу.

Нелегко было киевлянам восстановить свой стольный город после стольких разгромов; много домов стояло разрушенных, с выбитыми оконницами и дверьми...

Сейчас снова из степи надвигалась беда. Она собрала вместе непримиримых князей, гордых и упрямых, враждовавших между собой всю жизнь из-за лучшего престола, более доходного города, людной волости. Теперь старые враги, половцы, сами с поклоном прибежали в Киев, прося подмоги. Унылые и поникшие, они сидели толпой на корточках перед воротами княжьего двора.

---

[1] Мстислав Романович (1214 — 1223) — последний киевский князь из рода Мономаховичей.

[2] Сильнейшие разгромы Киева были в 1162, 1169, 1202, 1204, 1207, 1210 годах. Особенно памятным был разгром 1204 года, когда князь Рюрик Ростиславич в борьбе за власть призвал к себе на помощь диких половцев. Они жгли город, избивали мирных жителей, разграбили имущество и увели с собой в плен множество киевлян с малыми детьми.

Когда стали прибывать русские князья, половцы к ним подбегали, целовали поводья коня, протягивали руки, твердя:

— Исполчите полки! Придите в нашу степь! Обороните нас! Помогите прогнать злых недругов!

Князья, каждый со своей свитой, собирались во дворе княжьего дома; они стояли отдельно, спорили, иногда переходили, чтобы послушать, где что говорят, но, как ни упрашивали их киевские тиуны, не подымались в великокняжеские гридницы.

Половецкий хан Котян также находился во дворе, гордый, как всегда. Около него, сложив руки на животе, хмурые и неподвижные, стояли его степные советники в остроконечных колпаках, с темными от солнца и степного ветра лицами. Старый переводчик из степных бродников объяснял хану, кто из князей уже прибыл, как звать того или другого и кто особенно влиятелен и силен. Котян, взвесив, кому надо выказать почет, подходил с перевальцем, склонялся, с трудом коснувшись пальцами земли, и, снова с достоинством выпрямившись, оглаживая полуседые длинные усы, говорил одно и то же:

— Окажи помощь, будь братом! На всех нас идет гибель! Вместе рядом станем, гибель отгоним. Не побрезгай маленьким подарком. Прими мой почет! Никого не забыл я, всем хочу оказать честь — и наволоками, и конями, и скотом, и пленницами.

Уже солнце приближалось к полудню, а князья все еще стояли вразброд и до хрипоты пререкались на шумном княжьем дворе: все посматривали, кто войдет первый в гридницу князя киевского. Говорили, что князь Мстислав Романович еще поджидает кого-то — не гонцов ли с севера от властного и надменного князя суздальского, Юрия Всеволодовича, который ждет съезда у себя во Владимире и не поедет на совет князей в оскудевший Киев. Да еще не видать князя галицкого Мстислава Удатного[1],— он особенно всех сзывал на снем (съезд), и гонцы его всех понуждали: беда грозит неминучая, приезжайте вборзе![2]

---

[1] Современники называли князя галицкого Мстислава Мстиславовича Удатным (удачливым), позднейшие летописцы переделали это прозвище в „Удалой“.

[1] Вборзе — вскоре, немедля.

Все разом оживились и заговорили:

— Мстислав Удатный приехал! — и с любопытством, отталкивая друг друга локтями, старались взглянуть на князя, прославленного удачными походами и победами над уграми и ляхами.

Мстислав Удатный вошел походкой легкой, несмотря на годы. Он остановился, окинув собравшихся живым взглядом черных проницательных глаз, точно отыскивая кого-то, и долго крутил длинный свисший ус. Готовый к бою, он был в золоченом шлеме, блестевшем в солнечных лучах, и в легкой кольчуге с золотой отделкой. Красное корзно[1] развевалось при его стремительной походке. Он заметил в углу двора хана Котяна и прямо направился к нему. Тот заторопился и, протянув руки, пошел навстречу Мстиславу. Они прижались плечами, и Котян приник головой к груди галицкого князя. Белый колпак Котяна свалился в пыль, и все заметили, что плечи половецкого хана судорожно вздрагивали.

— Плачет! Пусть поплачет! — зашептали в толпе.— Эти злодеи немало наших людей сделали своими колодниками, теперь сами узнают, что такое горькие сиротские слезы! Мстислав женат на дочери хана Котяна, потому и распинается за богатого тестя!

Дружинники известили киевского князя о приезде Мстислава Удатного. Однако Мстислав Романович все еще медлил и не выходил на крыльцо, чтобы встретить двоюродного брата,— старые счеты мешали! А Мстислав, обняв Котяна, отошел с ним в угол двора, и долго они стояли там и тихо беседовали.

Опять все зашевелились, и послышались восклицания:

— Суздальцы приехали! Будет сильная подмога! Где же нам двинуться без суздальцев! Нет, это не суздальцы, а ростовский молодой князь Василько Константинович.

Во двор вошел стройный молодой воин. Светлый пушок едва покрывал его подбородок. Он так же, как Мстислав Галицкий, был готов к бою — кольчуге и стальном шлеме и с длинным прямым мечом у пояса. Одет он был скромно, алое корзно выцвело. Вся одежда его была в пыли и забрызгана грязью — видно, только что он сошел с коня. Рядом с ним плелся старик с длинными полуседыми

---

[1] Корзно — плащ.

кудрями, падавшими на плечи; на сыромятном ремне, перекинутом через плечо, висели гусли.

— Это слепой певец! Славный певец Гремислав! Раньше был воевода, не раз громил половцев, а князь рязанский Глеб из злобы засадил его в поруб[1], ослепил и держал три года. Там Гремислав в заточении начал песни слагать, и его взяли из поруба. С тех пор он бродит из одного города в другой и поет бывальщину про времена стародавние... Сегодня, знать, мы услышим Гремислава.

Молодой князь Василько с приветливой улыбкой и с почтением к старшим князьям обошел всех. Князья сами шли ему навстречу и спрашивали:

— А что же не едут суздальцы? Ты им сосед, ты знаешь, почему их нет? Великий князь суздальский Юрий Всеволодович твой родной дядя, уговорил ли ты его?

— Все еще думает! А приедет ли — о том и ведуны не скажут...

На крыльцо княжьего дома вышли парами десять дружинников, все как на подбор, видные, в кольчугах и шлемах, с короткими копьями. Они спустились по ступенькам и остановились по обе стороны лестницы, ожидая князя Мстислава Романовича. Он вышел медленно, опираясь на посох с золоченым орлом. Строгие глаза с прямыми бровями глядели устало и нерадостно. Слегка раздвоенная борода с проседью, крест и золотая иконка на груди, парчовый кафтан, весь иконописный облик князя говорили больше о его церковных бдениях и ночных молитвах, чем о воинских заботах. Князь, слегка прихрамывая, спустился по лестнице и остановился на последней ступеньке.

— Просим милости, гости дорогие! — сказал он грустным, точно удрученным заботой голосом.

Все князья во дворе стали кричать разом, перебивая друг друга:

— Зачем нас вызвал? Спасать диких половцев? Удавил бы их кто-нибудь! Без них станет легче! Пускай сами себя спасают, а мы посмотрим!

Грузный хан Котян выделился из толпы и, переваливаясь на кривых ногах, поспешил к крыльцу. Коснулся рукой земли, тронул шитое золотом одеяние княжеское и, захлебываясь, сказал:

— Княже пресветлый! Ты прежде был ласков ко мне,

---

[1] Поруб, или „подклет“ — подвальное помещение.

как и я к тебе! Будь нам вместо отца! Помоги прогнать злобный народ хана Чагониза! Как волки, рыщут по нашей земле эти злодеи, называемые татары. Всю нашу землю сегодня у нас отняли, а завтра придут к вам и вашу русскую землю возьмут. Обороните нас! Если не поможете нам, все мы ныне иссечены будем, а вы, русские, завтра будете иссечены! Надо нам всем соединиться и обороняться одной ратью.

— Не каркай! Чего наплел!— слышались недовольные голоса.— Тише, дайте говорить! Чего без пути лаять?

Другие возражали:

— Половцы — враги наши! Они сейчас в нашей земле без мощи и силы. Перебить всех и богатства их забрать!

Новые голоса, перебивая друг друга, смешались в дикий шум. Князь киевский беспомощно озирался, подымал руки. Крики усиливались.

Князь Мстислав Удатный, решительный и быстрый, взошел на ступеньки крыльца.

— Князья преславные и воеводы честные, и все удальцы русские!— говорил Мстислав.— Не все ли мы сыны одной земли святорусской? Забудем старые споры, и распри, и войны с половцами! И мы их били и полонили, и они нас жгли и громили... Сейчас тяжелые дни пришли и для половцев и для нас. Когда наступает новый неведомый враг, лучше дружба, чем война с половцами. Если мы сейчас им не поможем против безбожных татар хана Чагониза, то половцы могут им передаться, и силы вражьи станут еще больше.

— А что за люди татары? Может, вои простые, попроще, чем половцы. Сколько их?

— Хан Котян вместе с аланами дрался против татар Чагониза. Говорит, что нападают они дружно, рубятся лихо. Пришли они издалека, пройдя страну Обезов[1] и Железные Ворота. Половцам одним было не под силу остановить татар. Разграбили татары вежи половецкие, заполонили и жен, и коней, и скот, и все богатства Котяна и других половецких воевод... Теперь татары так ополонились, что не знают, куда девать свой полон, обожрались, как пес на дохлятине, и поставили свои богатые товарища[2] у Лукоморья, на берегах Хазарского моря... А сами

---

[1] Обезы — племя, обитавшее на Севернем Кавказе.
[2] Товарище — склад товаров.

татары налегке, изъездом, без возов, двинулись на русскую землю. А если кто говорит, что я не для ради земли святорусской стараюсь, а для ради моего тестя, теперь нищего хана Котяна, то все это на меня лжа!..

Толпа слушала прославленного князя Мстислава, затаив дыхание. Раздались отдельные возгласы:

— До берега Хазарского моря далеко, дней двадцать ходу.

— Не впервой нам встречать незваных гостей! Князю киевскому придется встречать их, пусть он и печалится об этом!

Толпа гудела, знала она, что нет у князей одной братской любви, нет одной воли и говорит в них давнишняя злоба, и жгут их старые счеты.

Послышалось пение. Церковная процессия в парчовых ризах явилась в нужное время, чтобы утихомирить разгоревшиеся страсти и споры князей. Четыре широкогрудых дьякона, размахивая кадилами, мальчики с зажженными толстыми, в руку, восковыми свечами, старые протопопы с металлическими крестами в руках, наконец митрополит в большой золотой митре, смуглый чернобородый грек, поддерживаемый под руки двумя мальчиками,— все приблизились к крыльцу с протяжным пением и остановились, сразу внеся тишину.

Князь киевский подошел к митрополиту, склонился, сложив ладони, поцеловал благословлявшую старческую руку и тихо шепнул:

— Скажи поучение, святой отец! Уговори князей стоять дружно, любовно, забыв старые обиды!

Митрополит поднялся на крыльцо, благословляя всех на три стороны, и начал говорить заученную речь, плохо выговаривая русские слова.

— Братие и сыны мои любезные! Научитесь быть благочестивыми делателями по евангельскому слову! Понуждайтесь на добрые дела, господа ради! Языку удержание, уму смирение, телу порабощение, гневу погубление!..

Князь киевский стоял, кротко склонив голову. Мстислав Галицкий тревожно оглянулся, заметил раскрытые рты и недовольство на лицах. А митрополит продолжал:

— Если ты чего-нибудь лишаем — смирись и не мсти! Если ненавидим и гоним — терпи! Если хулим — моли! Господь указал нам побеждать врага тремя добрыми делами: покоянием, слезами и милостыней...

Мстислав осторожно подошел к четырем дьяконам и шепнул:

— Грек ума решился! Все перепутал! Кому он о слезах и покоянии говорит? Ведь князьям говорит, а не челяди и смердам! Скорее начинайте какой-нибудь псалом или тропарь,— каждому дам по барану!

Митрополит что-то продолжал лепетать, а все четыре дьякона разом начали петь тропарь, за ними подхватили все протопопы и мальчики и низкими и тонкими голосами. Княжеские тиуны окружили удивленного митрополита и помогли ему войти в княжескую гридницу.

На верхнюю ступеньку лестницы поднялся молодой князь ростовский Василько.

— Я прискакал из далекого севера, от Ростова великого. Для ради русской земли и для ради христиан говорю я вам вот что. Прибыли к нам спешно гонцы от князя киевского, Мстислава Романовича, торопя ополчить полки и спешить на защиту русской земли. Привел я свою малую дружину, а самый сильный из нас, князь суздальский Юрий Всеволодович, все еще гадает: придут ли татары к нему в Суздаль, или обойдут стороной? И здесь я слышу такие же речи: «каждый промышляй о своей голове!» А святой митрополит говорит слова, пристойные не воину, а древнему старцу перед кончиной,— о покаянии и слезах... Тихой кротостью не остановим врага, не удержим земли русской...

— Верно, верно сказал Василько!— закричали в толпе.

— Народ неведомый и злой идет быстро, изъездом... Надо с честью встретить незваных гостей. Надо отбиться от них и притомить навсегда. Татары не крылаты, не перелетят через Днепр, а если и перелетят, то ведь сядут, и мы тогда увидим, что бог даст...

— Примем их на мечи и секиры!

— Пусть же наши стольные князья,— продолжал Василько,— пройдут в гридницу князя Мстислава Романовича и по древнему обычаю сядут тесным кругом на одном ковре и решат: встретить ли поганых недругов слезами и покаянием или испытанными дедовскими секирами и отточенными мечами?

— Верно сказал князь Василько!

— Пусть так и будет!— закричали со всех сторон.

— А кто будет на́больший? Кто поведет полки? Я под

рукою Мстислава Романовича не пойду!— кричали с одной стороны.

С другой подхватывали:

— Пусть поведет рать Мстислав Мстиславич Галицкий. Недаром его прозвали «Удатный», он удачу принесет!..

Двадцать три князя прошли в гридницу киевского князя, чтобы решить, что делать. Думали долго, а договориться не могли. Мстислав Удатный доказывал, что надо напасть на татарский лагерь у Лукоморья. «Захватив товари́ща, обогатив всех, тогда не только князь, но и простой ратник получит добычу немалую».

Эта мысль о походе до Лукоморья многим нравилась, но князья никак не могли избрать одного воеводу для всех полков.

Тем временем из степи прибежал один из бродников. Он донес, что незнакомые татары густо движутся к Днепру. Это ускорило решение идти против татар, плавясь через Днепр у острова Хортицы.

Князья сошлись на одном: каждый князь идет сам по себе своей ратью, никто другому пусть пути не перебивает. Кто удачливый придет первый к Лукоморью и захватит татарский лагерь, тот по-честному должен поделиться с другими князьями.

Все поцеловали крест: не преступить клятвы, и если кто из князей поднимет брань против другого князя, то быть всем заодно на зачинщика. Потом поцеловались между собой. Тут Мстислав Киевский и Мстислав Удатный подставили друг другу затылки.

Когда князья встали с ковра, князь Василько был черный от думы и заботы. Хмурый, он вышел на крыльцо. Его поджидал старый певец Гремислав.

— Добром мы не кончим,— сказал Василько.— Не так надо воевать. Не богатства татарского надо искать, а так разметать врагов, чтобы больше не пошевелились. А идти вразброд, когда каждый воротит лицо от другого,— это своей волей накликать на себя беду.

Наступил теплый вечер. Над княжьими палатами сияли светлые звезды. Во дворе стояли длинные дубовые столы, приготовленные для обеда. Когда все гости расселись на дубовых скамьях и затихли, пробуя княжеские пироги и жареных лебедей, а отроки с пылающими факелами стали вокруг столов, все ясно увидели в красном дрожа-

щем огне старого певца Гремислава, сидевшего на верхней ступеньке княжеского крыльца. Нежно зазвенели переборами звонкие гусли, а старый певец, подняв к небу красные впадины глаз, запел слегка надтреснутым голосом любимую бывальщину.

Гремислав пел о смелом походе Игоря Святославича на половцев, о ссорах и раздорах князей, о гибели из-за этого без пользы храбрых русских воинов, о том, как эти ссоры «отворяли врагам ворота на русскую землю»...

Многие слушавшие склонили головы на руки и задумались: не такой ли бедой грозит и сейчас несогласие и взаимная ненависть князей, и не погубят ли эти распри и вражда великое русское дело — защиту родной земли?.

Глава восьмая

ПЛАН СУБУДАЙ-БАГАТУРА

Субудай призвал десять своих тысячников. Джебэ пришел также с десятью. Сидели все в юрте кругом, и старые и молодые. Слушали, что говорил Джебэ. А Джебэ смотрел поверх голов и точно что-то видел вдали.

— Киев богатый город...— говорил Джебэ.— Дома для молитвы имеют крыши высокие, круглые и покрыты они червонным золотом. Мы обдерем эти золотые крыши и возле шатра Чингиз-хана поставим коня, отлитого из чистого золота, такого же большого, как его белый конь Сэтэр.

— Поднесем Чингиз-хану золотого коня! — воскликнули монголы.

— У урусов много ханов; называются они по-ихнему «конязь». И все эти ханы — «конязи» — между собой грызутся, как собаки из разных кочевий. Поэтому разгромить их будет нетрудно. Никто не собрал этих «конязей» в один колчан, и нет у них своего Чингиз-хана.

— Такого другого вождя, как наш великий Чингиз-хан, нигде во всем мире не найдешь!

— Я говорю вам: мы должны налететь на русскую землю быстро, поджечь ее со всех концов и захватить Киев, пока...— и Джебэ остановился.

— Пока что? — спросили тысячники.

— Пока не пришел еще ответ на донесение наше единственному и величайшему.

— Чингиз-хан прикажет ждать его прихода! Чингиз-хан захочет сам войти в Киев! — говорили монголы.— Мы уже брали такие большие города, как Бухара, Самарканд, Гургандж, и нам взять Киев нетрудно. Мы должны поскорее взять Киев!

Все косились на Субудая и ждали, что скажет этот хитрый и осторожный «барс с отгрызенной лапой». Он сидел, изогнувшись вбок, и поочередно колючим глазом всматривался в каждого.

— Не так-то легко будет разбить урусов, как думает Джебэ-нойон,— сказал тысячник Гемябек.

— Урусов и кипчаков много — сто тысяч, а нас мало — двадцать тысяч да еще один тумен всяких бродяг; они разлетятся, как стая воробьев, если мы начнем отступать. Опасно нам войти в русские земли, где много, очень много сильного войска. Нам нельзя идти на Киев... Отсюда нам нужно идти обратно, под могучую руку Чингиз-хана...

— А не вспомнишь ли ты, храбрый багатур Гемябек,— сказал Джебэ,— что дзиньцев[1] было еще больше, чем урусов, когда мы вместе с тобой и другими багатурами ворвались в их распаханные равнины за большой китайской стеной?

Субудай задвигался и замахал рукой. Все притихли и наклонились в его сторону.

— Начиная дело, надо вспомнить, как раньше поступал «единственный». И затем надо подумать, что бы он сделал на нашем месте,— медленно говорил Субудай.— Сперва надо перехитрить врага, погладить его по щетинке, чтобы он зажмурился и, раскинув лапы, растянулся на спине... А тогда бросайтесь на него и перегрызайте ему глотку!

Все выпрямились и переглянулись. Теперь стало ясно, что придется делать. Нечего и думать о возвращении назад, под защиту могучей руки великого когана... Субудай продолжал:

— Урусов много! Они так сильны, что могли бы нас раздавить, как давит нога верблюда спящую на дороге саранчу. Но у них нет порядка! Их «конязи» всегда между собой грызутся. Их войско — это стадо сильных быков, которые бредут по степи в разные стороны... Однако

---

[1] Цзиньцев — китайцев.

у урусов есть свой Джебэ! Его зовут «багатур Мастисляб»... Говорят, что этот Мастисляб много воевал и до сих пор видел только победы, но у них нет своего Субудай-багатура, чтобы, когда Мастисляб зарвется вперед в опасное место, его поддержать и выручить!..

— Мы его поймаем, этого Мастисляба, и отвезем к Чингиз-хану!— воскликнули монголы.

— Я обещаю,— добавил Субудай,— что тот, кто поймает Мастисляба и снимет его золотой шлем, тот сам отвезет его к Чингиз-хану.

Совещание продолжалось долго. Все говорили шепотом, чтобы часовые-нукеры не услышали решений монгольских полководцев.

На другой день Джебэ выступил на запад со своим туменом всадников, а Субудай с другим туменом остался на берегах реки Калки, для того чтобы подкормить коней и подготовить их к решительной схватке.

Глава девятая

МОНГОЛЫ НА БЕРЕГАХ ДНЕПРА

Весна была необычайно жаркая. Много дней дули суховеи. Буйно поднявшаяся трава начала вянуть и свертываться. Солнце беспощадно жгло и казалось сверлящим на небе глазом Субудая, подгонявшим всех.

Джебэ-нойон разделил свой тумен на пять частей. С одной частью в две тысячи коней он ускакал вперед к Днепру, а четыре отряда остальных всадников расставил вдоль вьющегося по степи протоптанного веками шляха.

Несколько татарских сотен поскакали в стороны, в степные просторы, и всюду, где находили кипчакских кочевников со стадами, сгоняли их к шляху.

Джебэ во главе сотни запыленных нукеров подъезжал к широкому, сверкающему в лучах солнца Днепру. Черные осмоленные лодки передвигались по синей глади реки.

— Гляди, вот русские ратники!— сказал переводчик.

На бугре около берега стояли русские воины в железных шлемах, с короткими копьями. Закрываясь рукой от солнца, они всматривались в степную даль. Увидев, что приближаются не кипчаки, а всадники иного племени, русские сбежали к реке и в лодках отъехали от берега.

Джебэ в остроконечном стальном шлеме, угрюмый и бронзовый от зноя, сдержал коня над береговым обрывом и узкими неморгающими глазами долго рассматривал холмистую равнину противоположного берега. Там чернел многолюдный лагерь, рядами стояли повозки с поднятыми кверху оглоблями. Паслись табуны разношерстных лошадей. Пешие и конные воины передвигались по равнине, и ярко вспыхивали солнечные искры на металлических частях оружия.

Несколько лодок кружилось близ берега. Гребцы усердно гребли, борясь с течением многоводной реки. С одной лодки закричали:

— Эй вы, гости незваные! Что вы у нас ищете? Какой нечистый ветер вас принес?

Два бродника, сопровождавшие Джебэ, переводили ему слова, долетавшие с лодок.

— Мы идем не на вас, а на кипчаков!— зычным голосом отвечал бродник.— Кипчаки — наши холопы и конюхи. Бейте их, а обозы и скот берите себе. Кипчаки нам много зла сотворили, да и вам они вредят издавна. А мы с вами хотим мира. Войны с вами у нас нет.

С лодки кричали:

— Посылайте ваших послов, а мы с ними поговорим!

— А с кем говорить? Есть ли у вас тут большой начальник?

— Здесь князей много. Они с вашими послами ужо договорятся!

Джебэ выбрал четырех нукеров и одного бродника как переводчика и приказал им отправиться на тот берег. Они должны повидать главного киевского князя и сказать ему: пусть урусы гонят от себя кипчаков, отнимая их скот и богатства, а здесь, в степи, татары их прикончат.

Выбранные нукеры переминались с ноги на ногу, чесали плетьми за спиной и говорили:

— О чем нам с урусами говорить? Лучше начнем с ними драку.

Джебэ сказал:

— Тогда поеду я один с переводчиком.

Нукеры закричали:

— Нет! Не езди к ним! Что без тебя станет с нашим войском? Что будут делать волчата без матерого волка? Там с тебя сдерут шкуру. Оставайся! Мы поедем.

Четыре нукера и бродник спустились к реке и подозвали разъезжающих близ берега русских. Одна лодка пристала и забрала монгольских послов.

Джебэ долго оставался на высоком берегу, осматривая другую сторону. Там в туманной дымке далеко раскинулись луга, рощи и голубые заводи; всюду по дорогам ветер нес тучи пыли, поднятой подходившими отрядами.

Ночью, завернувшись в баранью шубу, Джебэ лежал на кургане около костра. Он поджидал посланных к русским нукеров. Они больше не вернулись. Кипчаки их зарезали.

Кругом в степи мерцали далекие огоньки костров. Всюду равнина жила неведомой жизнью. Какие-то встревоженные всадники пробирались логами через степь, и ночью вспыхивали огоньки далеких костров...

Джебэ не мог заснуть всю ночь. Тяжелые думы, обрывки речей, знакомые лица проплывали перед ним, и он то загорался бешенством, то начинал дремать... И вновь перед ним показывались то железный шлем с черными лисьими хвостами страшного старика Чингиз-хана и его зеленоватые, кошачьи, немигающие глаза, то сверлящее открытое око Субудая, то взмахи сверкающих мечей...

Теперь предстоят битвы с урусами, сильными воинами, которые не бегут, а сами ищут боя. Победа над ними будет очень трудна!.. Теперь наступают такие дни, когда может померкнуть вся слава Джебэ, завоеванная победами его в Китае.

Или он сложит в этих степях свою голову, или имя Джебэ будет опять повторяться всеми в золотой юрте кагана как великого победителя урусов и кипчаков, отнявшего золотой шлем у Мастисляба.

Утром нукеры разбудили Джебэ.

— Смотри, что делается на той стороне... урусы пригнали сверху столько лодок, что вяжут мост через реку. Их повозки уже спустились к самой воде. Там скопилось

много конницы и пеших воинов[1]. Скоро они начнут переходить на эту сторону. Что делать?

— Не мешайте урусам! — приказал Джебэ.— Наблюдайте издали и отступайте в степь!

Глава десятая

УРУСЫ И КИПЧАКИ ДВИНУЛИСЬ В СТЕПЬ

> ...И возгорелось в урусах и кипчаках желание разбить татар: они думали, что те отступили, из страха и по слабости не желая сражаться с ними, и потому стремительно преследовали татар. Татары все отступали, а те гнались по следам двенадцать дней.
>
> (*Ибн ал-Асир*)

Поджарый рыжий конь Джебэ-нойона легко взлетел на одинокий курган и остановился около высокой каменной фигуры степного богатыря. Его широкие сутулые плечи, плоское лицо, короткий меч на бедре, остроконечная шапка и даже чашка в руках были в далекой древности старательно высечены из цельного камня молотком кочевого мастера... Прошли века, и многолюдная страна обратилась в пустынную степь, а каменный богатырь попрежнему прочно стоял, глубоко вкопанный, на вершине кургана и угрюмо смотрел выпуклыми слепыми глазами в ту сторону, куда он когда-то делал свои набеги.

Так же неподвижно, как идол, сидел на коне Джебэ, всматриваясь холодными прищуренными глазами в ту сторону, откуда по дымящейся утренними туманами зеленой степи расползались вереницы быстро передвигающихся черных точек... Уже взмыленный конь остыл и свободно тянул повод, стараясь достать черными губами чахлые стебельки бледной полыни; он уже начал взбивать копытом солончаковую почву, а Джабэ все не мог оторвать взгляда от приближавшихся густых рядов русских воинов.

---

[1] Южнорусские князья на совете в Киеве решили встретить татар на чужой земле и в апреле выступили в поход. На Днепре соединились ополчения: киевское, черниговское, смоленское, курское, трубачевское, путивльское, а также волынцы и галичане — последние прибыли на ладьях.

Впереди всадники... Одни тянутся по дороге, другие широко рассыпались по степи... Над ними подымается черная туча пыли... У них короткие копья... Вот в пыли ясно заметны повозки. Урусы надеются на богатую добычу, они везут на повозках оружие, котлы и мешки с хлебом.

Джебэ натянул повод. Пора уезжать... Урусы уже заметили одинокого всадника на кургане... Вот несколько урусов и кипчаков отделились от отряда. Они быстро направляются в его сторону. Другая группа всадников помчалась вперед по дороге, чтобы отрезать ему путь. Но недаром Джебэ любит своего рыжего жеребца, одного из лучших скакунов в его тумене.

Джебэ съезжает по пыльному солончаковому скату кургана. Сбоку земля разрыта и виден черный узкий вход — вероятно, теперь логовище степных волков. А раньше кто-то рылся в могиле богатыря, хотел украсть его золотой клад...

Джебэ ускоряет бег коня. Надо добраться до оврага. Там притаились в засаде сотни Гемябека. Татарские разведчики залегли в траве и отлично все видят — и приближение урусов и бегство от них Джебэ.

Но урусские всадники все ближе... У них хорошие кони, вперед пущены лучшие наездники. Опаснее других те, что скачут наперерез. Свернуть в сторону нельзя — влево овраги с обрывистыми берегами, справа урусы.

Их девять... Задние три начали отставать... Передние шесть тоже раскололись, они хотят окружить его.

Из под ног коня вылетела стая серых куропаток и унеслась в сторону, снова падая в траву. Заяц метнулся из-под широкого лопуха и понесся прямо, прижав уши. А конь так же легко продолжал скакать, выбрасывая рыжие ноги, прыгая через кусты бурьяна, и быстро уносил пригнувшегося к гриве Джебэ.

Враги недалеко... Джебэ различает их загорелые лица под железными шлемами... Двое урусов прикрываются красными щитами: один совсем молодой с румяным лицом и черными глазами, у другого седые висячие усы. Ближе всех третий в ярко-алом чекмене — кипчак на вороном коне... Он наматывает на руку аркан...

Верен глаз у Джебэ, и не делают промаха его стрелы. Джебэ натягивает свой страшный тугой лук, и кипчак, взмахнув руками, валится с седла. Испуганный во-

роной конь мчится уже без всадника, подняв голову, и ветер развевает его длинную гриву.

Молодой русский воин близко... Через несколько мгновений кони сшибутся. Юноша сильно метнул короткое копье, но оно только скользнуло по плечу стального татарского панцыря... Вторая длинная стрела Джебэ вонзилась юноше между черными блестящими глазами. Прощай, слава! Прощай, яркое солнце, отчий дом!

Джебэ не оглядывается... Он ищет глазами: где же нукеры Гемябека? Вот они! Целая толпа их уже выбралась из оврага и мчится с хриплым свирепым воем навстречу наступающему вразброд русскому отряду.

Русские всадники быстро перестраиваются и смыкаются в тесные ряды. Их красные щиты — круглые сверху и острые снизу — выравниваются дружной и грозной цепью. Воины вынимают свежеотточенные блистающие мечи и стремительно летят на татар.

Но Гемябек и его нукеры твердо помнят приказ Джебэ: приблизившись на полет стрелы, они круто поворачивают коней, проносятся мимо изумленных урусов, посылая губительные стрелы, и во весь опор скачут обратно в степь.

Урусы с криками бросаются вслед. Уже их стройные ряды смешались Все скачут вразброд, стараясь догнать убегающих татар. Некоторые урусы на отличных конях настигают десяток отставших. Они рубят их, сдирают оружие и сапоги и пересаживаются на татарских коней.

Джебэ, окруженный телохранителями, недолго наблюдал за первой стычкой татар с урусами. Он спустился в овраг, где пробивался ключ, напоил коня и приказал всему татарскому отряду уходить дальше.

Вернувшиеся всадники Гемябека сказали, что их начальник, раненый копьем, упал вместе с конем, был окружен урусскими наездниками, но отбился и ускакал в степь. За ним погналось много кипчаков.

Ночью Джебэ с помощью бродников сам допрашивал захваченного русского пленного. Тот рассказал, что это идет передовой отряд под начальством смелого галицкого князя Мстислава Удатного. С ним воины из Галича и волынских городов. Они спустились на ладьях по Днестру до моря, завернули в устье Днепра и оттуда

поднялись до острова Хортицы, где был назначен сбор всех отрядов, идущих на татар.

— Князья между собой не ладят,— говорил пленный,— все идут отрядами розно; в каждом отряде свой начальник, а общего воеводы над всеми нет. Хотя ратники между собой говорили, что нужно бы сделать главным воеводой Мстислава Удатного,— очень уж он в бою опытен и горяч! — но против него спорил князь Мстислав Романович киевский. Он никак не может покориться, потому что считает себя старшим, великим князем. А простым ратникам от той княжьей розни только скорбь и разорение; ведь если татары одолеют, то все князья на борзых конях ускачут, а простые ратники лягут костьми. В поход ратники двинулись на своих пахотных конях, на них далеко не ускачешь. А татары ускользают от них, как вертлявые ужи.

Джебэ спросил: много ли кипчаков? Пленный ответил, что кипчаков, как говорят, очень много. Их отряды идут левым берегом Днепра, торопясь соединиться у Хортицы с русскими войсками. И сейчас впереди, вместе с Мстиславом Удатным, идет кипчакский отряд, а ведет его воевода Ярун.

— А что говорят урусы про татарских воинов? — спросил Джебэ.

— Раньше говорили, что татары воины «простые» (малосильные), похуже еще, чем кипчаки. Потому князья и спешат без опаски захватить татарский лагерь и награбленное татарами добро. А теперь я приметил, что татары и воины добротные, и стрелки меткие.

Джебэ приказал татарам отойти дальше в степь и не разводить ночью огней, а русского пленного зарезать.

Ночью бродники и татарские разведчики подползали к русскому передовому отряду и слушали, что там говорят. Русские воины ночевали посреди круга, составленного из повозок. Кипчаки стояли отдельными лагерями, пели и плясали у костров. Они радовались, что возвращаются в свои покинутые кочевья, откуда выгонят татар.

Разведчики рассказали, что урусы поймали начальника татарской тысячи Гемябека. Убегая, он спрятался в кургане, в волчьей норе. Его вытащили урусы и отдали кипчакам. Те его привязали за руки и за ноги к четырем коням, а кони, поскакав в разные стороны, разорвали

его на куски... Голову Гемябека, продев ремень от повода сквозь уши, повез с собой у седла воевода половецкой рати Ярун.

Глава одиннацатая

ТАТАРСКАЯ ЗАПАДНЯ

Джебэ с татарами отходил, следя за быстро наступавшим передовым отрядом русских. Иногда татары бросались драться с вылетавшими вперед кипчакскими наездниками, но больших боев не было.

Делая длинные переходы, русские иногда днем останавливались, и всадники ловили кипчакских быков, которые разбрелись по весенним лугам. Эти стада были пригнаны по приказу Джебэ. Татарские пастухи охраняли стада, пока не приближались русские и кипчакские воины; тогда пастухи убегали, присоединяясь к татарам.

Джебэ делал все, чтобы растянуть силы русских, чтобы ослабить их зоркость, чтобы они на привалах отъедались бычьим мясом и не ожидали грозы. Русские отряды шли отдельными частями, все более отдаляясь друг от друга, растягиваясь по широкому пыльному шляху. Ложась на ночь спать, они уже не огораживались плетеным тыном и повозками.

Новые русские пленные рассказывали, что ратники довольны походом, обилием захваченного скота: «Теперь в овчинные тулупы оденемся, из воловьих кож новые сапоги сошьем...» «Где же несметная сила татарская? Кипчакских быков больше, чем татар. Так, гоняясь за ними, мы до Лукоморья дойдем, а лагеря татарского и не увидим».

Один отряд русских шел стройнее других; в нем был воинский порядок, ратники шли дружнее, не расходясь по степи. На ночь там всегда ставился круг из повозок, высылались в стороны разведчики. Это были полки киевского великого князя Мстислава Романовича. Киевляне шли отдельно от других; половина была пеших воинов, половина ехала на тяжелых конях-ра́таях. Они тоже иногда останавливались и высылали всадников собирать бродивший по степи отъевшийся на весенних травах кипчакский скот. Затем они варили в медных котлах мяс-

ные похлебки, после которых воины спали врастяжку до утра.

Татары говорили, что кони урусов не такие увертливые и выносливые, как татарские, что стрелы урусов летят не так далеко, но урусы сильнее в рукопашном бою, когда они бьются топорами с длинными рукоятками, и урусы стойки и напористы.

После каждой короткой схватки с русскими отрядами татары убегали далеко в степь, прячась за холмами, ускользая оврагами.

Томили душные дни, ни одна туча не плыла по небу, чтобы закрыть немилосердно пылавшее солнце. Отряды взбивали тучи черной пыли, в которой задыхались и кони и люди. Некоторые отряды сходили с дороги в степь и шли целиной, но и там раскалившаяся земля рассыпалась под ногами, и пыль черной тучей нависала над войском.

За эти жаркие дни начали высыхать ручьи, и воины ворчали: «Зачем нас погнали в степь искать татар? Не пора ли вернуться домой, угнав с собой захваченный кипчакский скот?»

Глава двенадцатая

СУБУДАЙ-БАГАТУР ГОТОВИТСЯ К БИТВЕ

Старый полководец провел два дня в разъездах, осматривая местность, выбирая поле, выгодное монголам для битвы.

Трижды прибывали гонцы на взмыленных конях.

— Джебэ-нойон отступает... Впереди идет отряд длиннобородых... Их ведет «багатур Мастисляб»... Вместе с ними едут кипчаки хана Яруна... Он везет у седла на ремешке голову нашего тысяцкого Гемябека...

В последний вечер перед боем Субудай вернулся в свою юрту на холме, где около рогатого пятихвостого бунчука были рядом воткнуты в землю десять высоких копий с бунчуками тысячников всего отряда. Теперь весь тумен был в сборе и гудел шумным лагерем на равнине.

Субудай лежал на войлоке. Его кости ныли. Он поворачивался с одного бока на другой. Дымя, догорал костер в юрте. Под закоптелым войлочным сводом стлался дым, медленно выходя в верхнее отверстие крыши.

Боковые войлоки юрты были откинуты на крышу, но сквозь деревянную решетку не веяло прохладой. Неподвижный горячий воздух стоял над высохшей равниной Калки.

Старый монгольский полководец не мог заснуть и вслушивался в смутный шум затихающего лагеря. Сквозь решетку юрты он видел огни костров, озарявшие багровыми отблесками сидевших кружками воинов. Доносились обрывки разговоров, однообразный лязг железного клинка о точильный камень. Кто-то запел:

Не видать тебе, воин, зеленых лугов родного Керулена,
Влечет тебя твой путь в долину белых костей...

Сердитый голос закричал:

— Замолчи! Накличешь черную птицу беды!

Песня оборвалась. Где-то послышались крики: «Остановись! Кто едет?» Субудай с трудом поднялся и сел. Приближался гул толпы и равномерный топот коней... Вошел тургауд.

— Приехал Тохучар-нойон. За ним следует весь его отряд — десять тысяч всадников.

— Зачем они мне?

— Нойон поднимается на холм, хочет тебя видеть.

Субудай, кряхтя и откашливаясь, встал и вышел из юрты. В полумраке перед ним стоял высокий воин в железном шлеме.

— Тебе благость вечного неба! Я приехал прямо от золотой юрты поставить мой бунчук рядом с твоим.

— Я без тебя до сих пор справлялся со всеми, кто стоял на моей дороге...

— Это все монголы знают. Сейчас я должен говорить с тобой.

Оба полководца вошли в юрту. Тохучар-нойон, опустившись на войлок рядом с Субудаем, шепотом на ухо говорил ему о приказе Чингиз-хана отправиться на запад в поиски ушедшего вперед войска монголов и о письме великого кагана, которое везет особый гонец.

Субудай долго кашлял и молча покачивал головой. Он нагнулся к Тохучару и тоже шепотом на ухо сказал:

— Я не знаю, что написано в письме величайшего... Ослушаться его нельзя. Может быть, единственный желает нам удачи, а может быть, он приказывает вернуться

назад?.. Тогда мои воины откажутся драться... А завтра сюда прискачут урусы. Если я уйду отсюда перед самой битвой, что они подумают?.. Они скажут, что войско великого Чингиз-хана при одном виде урусской бороды показывает хвосты коней...

Субудай замолк и снова долго кашлял.

— Я не видал письма!.. Я ничего не слышал о нем!.. Сейчас я ложусь спать, а утром, когда прокричит петух, я двинусь навстречу урусам... Если бог войны Сульдэ, бог огня Галай и другие наши боги сохранят меня от стрелы и меча, то мы встретимся с тобой после битвы, а ты перед всем войском передашь мне письмо величайшего... Прощай!

Субудай два раза ночью раздувал угольки в кострище и подбрасывал сухие ветки. Он посматривал на золотистого петуха, привязанного серебряной цепочкой за ногу к решетке юрты. Тот сидел нахохлившись, не обращая внимания на хозяина. Раскрыв круглый блестящий глаз, петух снова затянул его белым веком.

Под утро Субудай задремал. Петух внезапно громко прокричал и захлопал крыльями. Сейчас же в юрту вошел старый раб Саклаб и стал разжигать костер. В соседней юрте два шамана, подражая пению петуха, кричали:

„Хори-хори! Хори-со!“

Субудай покосился на Саклаба,— что с ним? Старый русский раб, расстилая на войлоке шелковый дастархан, имел особенно торжественный вид: седые волосы расчесаны на две стороны и перевязаны ремешком, на загорелой сморщенной шее появилось ожерелье из медвежьих зубов... Саклаб вышел и вернулся с блюдом вареного риса и мелко накрошенной баранины. Он опустил блюдо перед Субудаем на шелковый платок и рядом положил несколько тонких лепешек, сложенных вчетверо.

— Вот тебе плов по-гурганджски, с красным перцем...

— Зачем ты надел медвежье ожерелье? Радуешься, что увидишь своих братьев урусов?..— Субудай близко наклонился к рису и недоверчиво обнюхивал его.

— Яд! Накорми им твоего покойного отца! — прошипел Субудай и оттолкнул блюдо.

— Я раб, я ничтожнее собаки,— покорно сказал Са-

клаб,— но за мою длинную жизнь я никогда никому не сделал зла.

Субудай нахмурился.

— Возьми блюдо, неси за мной! Субудай-багатур хочет молиться.

Хромая и отдуваясь, старый полководец вышел и остановился возле юрты. Он еще с вечера отдал по войску приказ: «Утром, после первого крика петуха, строиться на равнине позади холмов».

Всадники ехали по всем направлениям, дребезжали рожки, стучали барабаны, неслись крики воинов, подгонявших лошадей.

Перед юртой около костра сидели два старых шамана в высоких шапках, мохнатых шубах шерстью вверх, увешанные побрякушками. Заметив полководца, шаманы завыли, ударили в бубны и, приплясывая, пошли по кругу около огня.

Субудай делал последние распоряжения:

— Юрты, ковры и войлоки здесь бросить! Ты, Чубугань[1], поедешь вместе с вьючными конями. Возьми с собой моих трех барсов, петуха и старого Саклаба да присматривай за ним. Не хочет ли он сегодня сбежать к своим братьям урусам... Коней!

Тургауды привели коней; два из них были сменные иноходцы и шесть вьючных. Они везли тяжелые кожаные сумы. Говорили, будто в этих сумах Субудай возил накопленное им золото.

Субудай подошел к бурому мохнатому молодому вьючному коню и сделал знак тургауду. Двое ухватили коня за повод, стали его оглаживать и подвели к костру. Саклаб стоял тут же с блюдом риса. Субудай брал здоровой левой рукой горсти риса, бросал в огонь и протяжно молился:

Слушай, мой господин, красный огонь
Галай-хан!
Отец твой — мелкий кремень,
Мать твоя — закаленная сталь.
Тебе приношу жертву:
Желтое масло ковшом,
Черное вино чашкой,
Подкожный жир рукой.

---

[1] Чубугань — поворотливый.

Принеси нам счастье,
Коням — силу,
Руке — верный удар!

Оба шамана повторяли заклинания Субудая и медленно ударяли в бубны. Когда полководец окончил, шаманы выхватили блюдо с рисом из рук Саклаба и, усевшись на землю, стали, громко чавкая, с жадностью пожирать рис.

Субудай вытащил узкий ножичек и сделал надрез на плече бурого коня. Тот забился, темная кровь потекла по шелковистой шерсти. А Субудай, крепко вцепившись рукой в холку, припал губами к раненому месту, высасывая кровь.

Тургауды стояли неподвижно, почтительно наблюдая, как полководец перед важной битвой насыщался горячей кровью.

На холм поднялся воин в железном шлеме и стальных латах. Он весь до бровей был густо покрыт пылью. Его трудно было узнать. Субудай оторвался от бурого коня. На лице его, испачканом кровью, блестел круглый пытливый глаз.

— Кто ты, багатур?

Воин приложил ладонь к открытой ране коня и мокрой от крови рукой провел по одежде Субудая[1].

— Вещь не прочна, хозяин долговечен! Пыль наружу, масло внутрь! Я Джебэ-нойон!

— Где урусы?

— Близко, совсем близко! Скоро будут здесь... Мои сотни схватываются с ними и убегают, заманивая сюда... Я с тремя сотными слежу за Мастислябом... Он со своей дружиной едет впереди... Я хочу захватить его живым!

— Сам не попадись ему в лапы!

Субудай сел на саврасого иноходца. Впереди него двинулись рядом три монгола. Средний держал рогатый бунчук с пятью конскими хвостами. Субудай медленно спустился с холма на равнину, где ждала сотня тургаудов. Далее по выжженной степи съезжались густые массы всадников.

---

[1] Монгольский обычай — пожелание здоровья и долголетия.

Глава тринадцатая

БИТВА НАЧАЛАСЬ

> ...Не успели урусы собраться для битвы, как татары напали на них в большом числе, и сражались обе стороны с неслыханным мужеством.
>
> *(Ибн ал-Асир)*

Первым показался на овражистых берегах Калки галицкий конный отряд Мстислава Мстиславича Удатного. За ним прискакали половецкие наездники воеводы Яруна. Мстислав увидел широкий круг покинутых татарами закоптелых юрт. Во многих лежали ковры и войлоки, мешки с зерном, а в кострищах не остыла зола.

— Татары бежали отсюда, как зайцы, — говорили дружинники.— Где же мы их нагоним? Долго ли еще тащиться по жаре за смертью?

Князь Мстислав Удатный имел большой воинский опыт — он всю жизнь провел в ратных делах, сражаясь за кого угодно, лишь бы нашлась пожива. Он не обрадовался покинутому татарами лагерю,— не лагерь, а сами татары должны были оказаться в его руках. Хотя Мстислав объявил остановку, но приказал отряду скорее готовиться к бою и надеть кольчуги. На разведку князь выслал своего юного зятя Данилу Романовича с волынцами. Нетерпеливый воевода Ярун также отправился со своими половцами скорее захватить усталых, как все они думали, потерявших силы татар.

Вскоре от князя Данилы прискакал гонец.

— Татары совсем близко! Татары здесь! На холмах видны их разведчики... Видя нас, они скрываются... Что делать?

Князь потребовал свежего коня. Дружинники подвели трех оседланных коней. Два из них были угорские, гнедые, с черными гривами, крепкие, широкогрудые. Сейчас, покрытые пылью, они стояли понуро. Третий, подарок тестя, половецкого хана Котяна, был высокий сивый, с рыжими крапинками туркменский жеребец. Злобный нравом, он имел кличку «Атказ»[1]. Его с трудом подвели два половецких конюха, повиснув на поводу.

---

[1] Атказ — по-кипчакски — конь-гусь.

Мстислав вскочил на Атказа и, сдерживая его накопившуюся силу, спустился к реке. Он приказал всадникам слегка напоить коней и строиться. Князь не ожидал какой-либо уловки со стороны татар: он думал, что они избегают боя из-за своей слабости, и поэтому решил сейчас же, не делая передышки, нагнать татар и их разметать и прикончить.

Блестящий стальной шлем с густой золотой насечкой и высокий туркменский аргамак с лебединой изогнутой шеей, вся лихая посадка сухого, жилистого князя Мстислава — не говорило ли все это дружинникам, что он настоящий витязь, что он любит огонь и опасность битвы, ищет врага и бросается на него и, закаленный в стольких боевых схватках и походах, недаром прозван «Мстислав Удатный»...

Поднявшись на другой берег реки, Мстислав подождал, пока подтянулись всадники, поившие коней.

— Бог нам подмога! — крикнул Мстислав. — Иссечем безбожных татар! Не жалейте это ядовитое племя! Вперед!

Весь отряд двинулся на рысях. Воины оправляли оружие, ожидая, что сейчас будет горячая рубка...

Мстислав увидел впереди равнину, где в тучах черной пыли проносились татарские и русские всадники. Это был отряд волынцев под начальством восемнадцатилетнего зятя его, князя Данилы Романовича. Вот мелькнул голубой стяг его, расшитый золотом. Дружинники теснились по сторонам князя Данилы, его охраняя, а татары кружились по всем направлениям, налетая, сшибаясь, падая и продолжая биться изогнутыми длинными клинками.

Половцы были дальше. Мстислав видел, что половецкий отряд, где покачивался хвостатый значок воеводы Яруна, удалялся в сторону холмов, гоня перед собой облако пыли.

Мстислав решил взять влево, пересечь холмы и, если за холмами идет бой, ударить на татар сбоку, чтобы помочь половцам воеводы Яруна. Он повел свой отряд в обход на холмы и, поднявшись на более высокой бугор, остановился, потрясенный тем, что увидел...

На равнине, выжидая, развернулись густые ряды свежего татарского войска. Всадники стояли неподвижно, в грозном молчании. Отчетливо были видны железные

шлемы, блестящие латы, кривые клинки в руках. Отряд за отрядом, длинной вереницей растянулись татары по равнине... Сколько их? Двадцать полков? Или больше, тридцать? Пятьдесят?

Вот где затаилась татарская сила, скрываясь до последнего страшного дня! А те мелкие отряды, что нападали и убегали по дороге от Днепра, — это была только приманка, хитрая татарская уловка!

Так оплошать, так привести в западню своих преданных дружинников под кривые мечи готовых к бою татар!.. Где выход, где спасенье? Как выиграть время, известить и собрать все русские отряды, растянувшиеся беспечно по длинному пути? «Наших русских войск много, не меньше, чем татарских! Но почему они не собраны вместе такой же грозной неодолимой силой?! Почему каждый князь идет сам по себе, со своей дружиной? Только бы один день отсрочки, чтобы объединить все раздробленные русские отряды! Тогда померяться силой с татарами».

Время упущено! Сейчас татары бросятся вперед и натиском тридцати тысяч свежих коней сметут все на своем пути... «Мертвые сраму не имут!» — прошептал Мстислав и впервые ударил коня плетью. Степной конь взвился на дыбы и сделал бешеный скачок. Он помчался с холма вниз, на равнину, а навстречу ему из-за холмов вылетели густой толпой половецкие всадники. С ревом ужаса и отчаяния они стегали коней, сбили и смешали ряды галицких дружинников Мстислава и беспорядочной массой, опрокидывая встречных, мчались дальше. Вместе с ними конь уносил молодого Данилу Романовича, тяжело раненого в грудь. Он едва держался в седле, вцепившись в гриву коня.

Впереди выезжали на равнину татары сомкнутыми рядами, странно безмолвные с завернутыми до плеча правыми рукавами, с поднятыми изогнутыми клинками. Что-то зловещее было в этом молчаливом движении тесной колонны всадников, когда они, без единого крика, приближались рысью к берегам Калки.

Только фырканье коней, глухой топот и случайный звон оружия нарушали тишину грозного монгольского войска, скованного единой цепью и единой волей.

Татары перешли реку, поднялись на другой берег, и тогда только задребезжали пронзительные сигналы

труб. Они с диким воем помчались на лагерь русских. Там уже заметили стремительное бегство потерявшего разум половецкого отряда, и поспешно сдвигались в круг тяжелые повозки.

Не задерживаясь около первого русского отряда, татары поскакали дальше, налетая на встречные растянувшиеся обозы.

Все отряды русских, тянувшиеся по Залозному шляху, видели гнавших коней половецких всадников и среди них князя Мстислава Удатного. В развевающемся по ветру красном плаще он мрачно скакал на долговязом сивом жеребце.

Многие русские, бросая повозки, садились на коней и спешили назад к Днепру. Другие составляли в круги повозки и с боем встречали топорами налетавшие татарские отряды.

Одна часть татарских войск осадила лагерь князя киевского Мстислава Романовича. Он шел с десятитысячным отрядом ратников, конных и пеших. Он не держал связи с другими отрядами, не знал, что предпримет Мстислав Удатный, и похвалялся, что один, без чужой помощи, истребит «принесенных злым ветром татар хана Чагониза».

В полдень этого черного дня киевляне стали лагерем на высоком берегу Калки. Они, как обычно, поставили кругом повозки, когда мимо них пронеслась лавина обезумевших половецких всадников.

Одиннадцать князей, бывших в киевском войске, сказали:

— Здесь наша смерть! Станем же крепко!

Они перецеловались друг с другом и постановили биться до последнего вздоха.

Киевляне теснее сдвинули повозки, оградились красными щитами и залегли за колесами. Они поражали налетавших татар стрелами, отбивались мечами и секирами.

Глава четырнадцатая

„И БЫСТЬ СЕЧА ЗЛА И ЛЮТА...“

Тучи пыли носились над широкой высохшей равниной, и где особенно клубилась пыль, там рубились люди, мчались кони без всадников, раздавались стоны ране-

ных, крики ярости, треск барабанов, пронзительные звуки труб.

Субудай-багатур находился на холме, окруженный сотней отборных тургаудов. Он посылал всадников узнать: «Как держатся багатуры? Не видать ли свежих русских войск? Не грозит ли откуда-нибудь беда?» Но гонцы возвращались и говорили, что монголы всюду одолевают, что урусы отступают к Днепру, бьются, падают, раненые продолжают отбиваться, но ни один не просит пощады, ни один не сдается в плен.

— Волчья порода!— сказал Субудай.— Волчья им смерть!

Узнав, что киевское войско окружило себя повозками, отстреливается и отбивается, Субудай посылал на этот лагерь отряд за отрядом, приказывая: «Опрокинуть телеги! Прорвать кольцо! Поджечь кругом степь!»

Монголы, напирая на русские заслоны, метали копья, натягивая большие луки, пускали меткие стрелы с закаленными иглами на конце, подкатывали зажженные связки сухого камыша,— но русские держались так же стойко, сбивая стрелами и камнями подлетавших близко всадников, и татары не могли сломить русскую силу.

По приказу Субудая на русский лагерь двинулись, спешившись, сбродные спутники монголов из разных племен; они взбирались на телеги, размахивая булавами и кривыми мечами, издавая дикие вопли и подбадривая друг друга. Русские встретили их ударами топоров на длинных рукоятках, мечами и дубинами и сбивали нападавших, которые валились с разбитыми черепами.

На третий день Субудай призвал старшину бродников Плоскиню. Он пришел почерневший, худой от голода. Высокий, сильный Плоскиня теперь еле шел. Два монгола стояли сзади него и покалывали ножами, чтобы Плоскиня двигался вперед. Субудай сказал:

— Поди к своим братьям урусам и уговори, чтобы они побросали мечи и топоры. Пусть уходят домой... Мы их не тронем. За это получишь от меня свободу.

Плоскиня, придерживая рукой цепь от ножных кандалов, направился к русскому лагерю. Два монгола шли следом за ним и держали конец сыромятного ремня, накинутого на шею Плоскини. Он остановился в нескольких шагах от русских телег. Русские поднялись на телеги и с удивлением смотрели на странного истощенного человека

с тяжелой колодкой на шее. Некоторые его узнали: «Это Плоскиня-лошадник, он пригонял в Киев табуны половецких коней и был у половецких ханов переводчиком!»

Плоскиня начал кричать русским:

— Мне приказал хан татарский, Субудай-богатырь, сказать вам, чтобы вы больше зря не бились. Если вы ихней милости покоритесь, то они вас на все четыре стороны отпустят... Только побросайте все ваше добро — тулупы, повозки и топоры. Все это татарам нужно за их хлопоты, потому в походах очень они поиздержались.

— Да врешь ты все, пустобрех Плоскиня, как врал на торжищах, когда продавал нам запаленных коней!

— Не слушайте его!— кричали старые воины.— Лучше выйти с мечами и пробиваться к Днепру. Хоть половина доберется до избы, а так, без топоров или мечей, мы все в степи поляжем!

Но Плоскиня клялся, что говорит правду, снял нательный крест, целовал его, плакал и говорил:

— Могу ли я говорить иначе, если татары меня сзади ножами подкалывают!

А татары кивали головами и подтверждали, подымая большой палец, что правильно говорит их переводчик.

Несмотря на возражения старых воинов, все же великий князь киевский Мстислав Романович приказал сдавать татарам оружие. Тогда киевские воины стали прощаться друг с другом, кланяясь в пояс, и выходили поодиночке, бросая оружие в одну кучу. Первым делом воины побежали к реке — три дня они не пили воды. Когда же последние воины вышли из лагеря и в пыли потянулись по шляху, разминая плечи и радуясь, что увидят родину, татары стали их нагонять и беспощадно рубить.

Теперь в пустынной бескрайней степи, без оружия, гибель всем казалась неминуемой. Русь далеко, и помощи ждать неоткуда!

Монголы выделили одиннадцать князей, бывших вместе с князем киевским. Они пригласили их на пир к хану Субудай-багатуру. Всадники окружили их тесным кольцом и повели в татарский лагерь.

Субудай-багатур с сотней своих телохранителей-тургаудов проезжал в стороне от киевского лагеря и наблюдал за бойней. Безоружные урусы бились, как могли, бросая камни и комья сухой земли. Раненые схватывались с татарами, стаскивали их с седел, вырывая их

кривые мечи, и снова бились. Один высокий урус, принеся из лагеря оглоблю, бился ею, как дубиной, хотел ударить подъехавшего всадника, и удар пришелся по голове коня. Конь взвился на дыбы и упал вместе с монголом. Урус набросился на лежавшего, вырвал его меч, зарубил и вскочил на коня, продолжая биться мечом... Туча пыли все закрыла...

Но силы были неравные, и монголы одолевали.

Субудай-багатур въехал на холм и оттуда продолжал наблюдать за передвижением по шляху всадников; он первый заметил, что с севера движутся три тучи пыли.

— Что это?— спросил Субудай, показав пальцем на север.

— Это возвращаются монголы Тохучара!— говорили тургауды.— Это кипчаки гонят быков!

— Нет, это идет свежее войско!— сказал Субудай.— Трубите сбор! Сзывайте скорее всех воинов! Довольно сдирать сапоги с мертвых урусов! Будет новый бой!

Пронзительно задребезжали трубы. В нескольких местах, где шла свалка, ответили сигналами другие монгольские трубачи. Некоторые монгольские всадники, оставляя дорогу, где отбивались русские, вскачь неслись к холму, где виднелись пятихвостый бунчук Субудая и неподвижный, как каменный идол, полководец на коне.

А с севера, из степи, все ближе надвигались три облака пыли. Потом пыльные тучи отделились от земли, поплыли в воздухе и медленно рассеялись. Субудай молча смотрел в ту сторону. Его тургауды вполголоса заговорили:

— Идут три отряда. Кто это? Если не кипчаки, то это урусские всадники. Там впереди камыши. Они теперь идут через болото, оттого и пыль кончилась... Глядите, вот и они!

На полях, за которыми тянулись камыши, среди зарослей ивняка показались первые всадники на белых и рыжих конях. Появляясь со всех сторон, вырастая, точно из земли, группы всадников все сгущались и вскоре заполнили равнину.

Некоторое время всадники спокойно оставались на месте, точно приводя свои ряды в порядок. Всадники растягивались полукругом, показались три треугольных знамени — черное с золотом посредине и два красных по сторонам...

Татары, рубившие безоружных киевлян на шляху, окруженные густой пылью, долго не замечали прибытия нового войска, и свалка продолжалась, постепенно подвигаясь на запад к Днепру...

Вдруг середина прибывшего войска рванулась вперед и помчалась с оглушительным криком, направляясь в самую гущу боя.

Правое крыло оторвалось и понеслось дальше, на запад, в обхват дравшихся, а левое крыло медленно, все ускоряя бег, направилось к тому холму, где находился Субудай-багатур.

Старый полководец колебался только несколько мгновений. Он крикнул: «За мной!» Хлестнув иноходца, он быстро спустился с холма и понесся в ту сторону, где стояли войска Тохучара. Там было пусто — Тохучар принял участие в битве — и Субудай несся все дальше.

Но русские его не преследовали. Они сделали полукруг и помчались, вздымая тучи пыли, выручать уходивших к Днепру киевлян.

Субудай остановился, разослав гонцов-нукеров сзывать растянувшиеся по шляху монгольские войска, приказывая немедленно возвращаться к берегам реки Калки.

— Пока победа на нашей стороне,— сказал старый полководец.— Урусы — плодовитое, упорное племя! Из степи может еще появиться войско урусов и отрежет нам возвращение на родину... Пора поворачивать коней!

Джебэ-нойон во главе трехсот всадников, меняя коней, без передышки проскакал до Днепра. Сопровождавший его как переводчик бродник Плоскиня расспрашивал раненых русских:

— Где Мстислав Удатный?

Некоторые отвечали, что видели его мчавшимся, как буря, на чертовском сивом коне.

На берегу Днепра Джебэ заметил отплывавшую черную лодку. В ней алел плащ Мстислава. Князь сидел на корме и поддерживал за повод плывшего за лодкой коня. В лучах вечернего солнца ярко блестел золотой шлем Мстислава, но он не оглядывался на оставленный им «злой берег».

Джебэ наставил лучшую стрелу и натянул тугой лук. Стрела, не долетев до лодки, плеснула по воде. Джебэ

соскочил с коня, упал грудью на землю и, обхватив руками голову, в ярости грыз пожелтевшую сухую траву...

Он встал, посмотрел еще раз на удалявшуюся лодку с алым плащом и, не зная, на ком сорвать свое бешенство, выхватил кривой меч и на несколько частей рассек теперь ему ненужного закованного бродника Плоскиню.

Джебэ вскочил на рыжего коня и, свернув в степь, поскакал обратно, удаляясь от шляха, где в черных тучах пыли продолжались последние схватки и передвигались тысячи людей.

В битве при Калке и на длинном Залозном шляхе погибло много славных русских богатырей и рядовых удальцов. Они пали, выручая безоружных киевских воинов, избиваемых татарами, которые поклялись не сделать сдавшимся урусам зла. Русские люди не забудут сложивших свои головы в этом бою ростовского богатыря Алешу Поповича и его верного щитоносца Торопа, рязанского богатыря Добрыню Золотой пояс, молодого помощника Алеши — славного Екима Ивановича и других суздальских, муромских, рязанских, пронских и иных храбрых северных витязей[1].

---

[1] В 1223 году, зимой, в Суздальской земле, в «славном Ростове, красном городе», был съезд и совещание дружинников, служивших у разных князей. Все говорили, что на Руси «великое неустроение», что князья друг с другом не ладят и, на радость половцам, ляхам и другим иноземцам, в этих усобицах князья гонят дружинников и своих мужиков избивать друг друга.

На этом съезде дружинники «положили ряд» (заключили договор) ехать им всем в древнюю мать русских городов Киев и там служить только одному великому князю киевскому. Дружинники двинулись после съезда из Суздальской земли на юг к Киеву.

Услышав уже в пути, что все южные князья вместе с князем киевским пошли к Синему морю (Азовскому) походом на «татар хана Чагониза», весь отряд дружинников свернул с главного пути в южные степи и малоезжими дорогами направился на соединение с ушедшим вперед русским войском.

Калмиусской тропой северные витязи прибыли к Залозному шляху в тот кровавый день, когда татары, отняв на честное слово оружие от киевских воинов, стали избивать безоружных.

Северные богатыри погибли в схватке с татарами, но дали возможность растянувшимся по шляху русским воинам восстановить порядок и, успешно отбивая натиск татар, добраться до Днепра.

Русские отряды, пробивавшиеся смело, не бросая оружия, дошли до Днепра, где ожидавшие лодки перевезли их на другую сторону. Те же, что поверили татарским уговорам и побросали мечи и топоры, почти все были перебиты, как говорит старая песня:

Серым волкам на растерзание,
Черным воронам на возграенье...

Так по вине недальновидных, завистливых и враждовавших между собой князей, не пожелавших соединить свои силы в единое, крепко спаянное русское войско, Залозный шлях вместо пути великой победы стал «слезным шляхом»— отважные русские ратники усеяли его своими белыми костями, полили своей алой кровью.

Глава пятнадцатая

ТАТАРСКИЙ ПИР НА КОСТЯХ

...А князей имаше, издавиша и покладаше под доски, а сами верху седоша обедати. И тако князи живот свой скончаша.

(Троицкая летопись)

На берегу Калки, на высоком кургане, Субудай-багатур созвал всех своих тысячников и сотников на торжественное моление богу войны Сульдэ. Этого потребовал угрюмый лохматый шаман Бэки. В остроконечной шапке, с медвежьей шкурой на плечах, обвешанный ножичками, куклами и погремушками, старый колдун ударял колотушкой в большой бубен и, приплясывая, ходил по кругу, где в середине лежали связанные Мстислав Романович, великий князь киевский, и другие одиннадцать доверчивых русских князей.

Покачивая головами и причмокивая, татары их осматривали и жалели, что среди пленных не хватало «конязя Мастисляба»,— очень им хотелось посмотреть на прославленного «русского Джебэ»...

Шаман Бэки выкрикивал молитвы и, прижав к волосатому лицу бубен, то свистел дроздом, то гукал, как филин, то рычал, как медведь, или завывал волком — это он «беседовал» с могучим богом войны Сульдэ, подарившим монголам новую победу.

— Слышите, как гневается бог Сульдэ?— ревел шаман.— Сульдэ опять голоден, он требует человеческой жертвы!..

Тысячи татарских воинов расположились на равнине вокруг кургана. Они развели костер и кололи молодых кобылиц.

Татары принесли оглобли и доски, оторванные от русских повозок, и навалили их на связанных князей. Триста татарских военачальников уселись на этих досках. Подымая чаши с кумысом, они восхваляли грозного бога войны Сульдэ, покровителя монголов, и славили непобедимого «потрясателя вселенной», краснобородого Чингиз-хана. Отказавшись от денег за выкуп знатнейших русских князей, татары жертвовали богу Сульдэ этих пленных, дерзнувших вступить в бой с войсками «посланного небом» Чингиз-хана. Багатуры гоготали, когда из-под досок неслись стоны и проклятия раздавленных князей. Стоны и крики постепенно затихали, и их заглушила ликующая песня монгольских воинов:

Вспомним,
Вспомним степи монгольские—
Голубой Керулен,
Золотой Онон!
Сколько,
Сколько монгольским войском
Втоптано в пыль
Непокорных племен!..
Мы бросим народам
Грозу и пламя,
Несущее смерть,
Чингиз-хана сыны.
Пески
Сорока пустынь за нами
Кровью трусов
Обагрены...

Во время пиршества встал полководец Тохучар-нойон и просвистал сигнал, сзывающий стрелков на облавной охоте. Все затихли, услышав знакомый призыв. Тохучар поднялся и стал кричать воинам:

— Великий каган Чингиз-хан — самый мудрый из людей! Он все предвидит и за сто дней и за тысячу лет... Он послал меня за вами с туменом храбрецов,

чтобы я разыскал непобедимых тигров — Джебэ-нойона и Субудай-багатура. Каган мне сказал, что лучший вам от него падарок — это прислать воинскую подмогу в день битвы....

— Верно, верно!— воскликнули монголы.

— Нигде не останавливаясь, мы проходили разные страны. Всюду мы видели следы несокрушимого монгольского клинка. Мы спрашивали: «Где славные багатуры Джебэ и Субудай?» Испуганные жители, падая на колени, махали руками на запад. Мы примчались сюда перед началом битвы, и в нее врезались мои десять тысяч всадников... Соединившись с вами, мы быстро разгромили длиннобородых урусов...

— Слава тебе, Тохучар! Ты прибыл вовремя!

Тохучар продолжал:

— Великий владыка мира Чингиз-хан подумал о вас и через меня прислал свою волю... Его священное письмо привез нарочный гонец. Десять тысяч моих всадников оберегали его, как драгоценный алмаз, и доставили невредимым сюда. Смотрите, вот он!

К Субудой-багатуру подошел старый кривоногий монгол, увешанный бубенчиками, в шапке с соколиными перьями. Из-за пазухи он достал кожаную трубку. В ней хранился запечатанный свиток. Скрюченными пальцами Субудай отодрал восковую печать. Седобородый писарь в мусульманской чалме развернул свиток, прочел написанное про себя, прошептал на ухо Субудаю. Тот встал и закричал:

— Великий каган повелевает! С почтением внимайте!

Все военачальники разом поднялись. Видя это, вскочили остальные татары. Начальники повалились на землю, и за ними воины всего лагеря упали ничком. Подняв голову, они кричали:

— Великий каган приказывает! Мы покоряемся!

Субудай-багатур продолжал:

— Единственный и непобедимый начертал такие слова:

«Когда письмо получите, поворачивайте обратно морды коней. Приезжайте на курултай обсудить покорение вселенной.

Бог на небе, каган — божья сила на земле. Печать повелителя скрещения планет, владыки всех людей».

Субудай обвел взглядом склоненные к земле спины монголов и поднял руку.

— Теперь говорить буду я!.. Меня слушайте!

Все выпрямились и, стоя на коленях, затаив дыхание, смотрели на «барса с отгрызенной лапой».

— Сегодня мы еще повеселимся, а завтра, после восхода солнца, мы все отправимся назад к золотой юрте нашего владыки. Кто промедлит — будет удавлен!

Все воины завыли от радости и, снова усевшись, с криками и песнями продолжали пиршество.

Утром следующего дня, совершив солнцу моление и возлияние кумысом, монголы сели на коней. Они гнали гурты скота и ободранных, изможденных пленных. Запряженные быками повозки с награбленным добром и с тяжело раненными монголами невыносимо заскрипели на всю степь и скрылись в тучах пыли. Впереди монгольского войска ехал Субудай-багатур. Он вез в торбе голову киевского князя Мстислава Романовича, его стальной с позолотой шлем и нагрудный золотой крест на цепочке. Покрытое шрамами, заросшее грязью лицо Субудая кривилось в подобие улыбки при мысли, что он положит свою драгоценную торбу перед золотым троном потрясателя вселенной Чингиз-хана непобедимого.

Позади войска ехал со своей сотней разведчиков мрачный Джебэ-нойон. Он не вез никакой добычи и тянул заунывную, как вой ветра, песню про голубой Керулен, золотой Онон и про широкие степи монгольские...

Монголы направились на северо-восток, к реке Итиль, и далее через южные отроги Урала к равнинам Хорезма. Кипчакская степь освободилась от грозного войска монголов и татар. Они исчезли так же внезапно и непонятно, как пришли. После их ухода некоторые кипчакские племена вернулись в свои разоренные кочевья, другие перекочевали в Угорскую степь и к низовьям Дуная. Тогда и кипчакские и русские князья думали, что татары никогда больше не вернутся, и проводили день за днем в своих старых «ссорах и которах», не готовясь к новой войне, и не подозревали, что татары задумали новый еще более страшный набег на запад...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

КОНЕЦ ЧИНГИЗ-ХАНА

Глава первая

ЧИНГИЗ-ХАН ПРИКАЗАЛ ПОВЕРНУТЬ КОНЕЙ

После смелого бегства султана Джелаль эд-Дина Чингиз-хан послал испытанных полководцев Бала-нойона и Дурбай-багатура в Индийскую страну в погоне за султаном. Они промчались по разным дорогам, но не нашли его следов. Производя по пути погромы, монголы сожгли города, которыми владели союзники Джелаль эд-Дина, ханы Аграк и Азам-Мелик.

Наделав плотов и нагрузив их катапультами и круглыми камнями, годными для метания, монголы спустили плоты вниз по реке Синду и прибыли к городу Мультану. Там они начали обстреливать этот богатый город из камнеметных машин. Неприступные стены, постоянно прибывавшие новые индийские войска и невыносимая жара заставили одетых в овчины монголов прекратить осаду и вернуться в горы к Чингиз-хану.

Великий каган спасался от жары среди высоких горных хребтов в селении, окутанном облаками, и как будто забыв о всех военных делах. На вечерних пирах Чингиз-хан слушал сказочников и певиц, певших персидские и китайские песни. Новые танцовщицы, только что прибывшие после двух лет пути из китайской столицы, разодетые в золотистые шелковые одежды, бегали по темно-лиловым афганским коврам. Они показывали ис-

кусство танца, размахивая длинными руками, подражая полету ширококрылых птиц, или, свиваясь клубками, как змеи, разворачивались и кружились в хороводах.

Здесь заболели маленький сын Чингиз-хана Кюлькан и его молодая мать Кулан-Хатун: оба лежали на шелковых подушках, покрытые шубами, и жаловались то на озноб, то на жар. Чингиз-хан каждый день приходил к больным, совал им в рот кусочки сахара, сидел рядом и спрашивал, где сегодня болит?

Кулан-Хатун плакала и жаловалась на боли во всем теле.

— Это духи здешних гор мучают тех, кто остается в этом злом месте,— говорила она.— Ты видел, какие туманы подымаются из глубины ущелий? Это души убитых твоим войском младенцев. Я и маленький Кюлькан умрем здесь. Только вода голубого Керулена вылечит нас. Отпусти нас обратно в родные монгольские степи.

Чингиз-хан сердился:

— Одна без меня ты никуда не уедешь. А я должен раньше завоевать вторую половину вселенной.

Кулан-Хатун плакала еще сильнее. Чингиз-хан послал за великим советником, китайцем Елю-Чу-Цаем. Тот пришел немедленно с большой книгой в руках. Увидев его, Кулан-Хатун вскочила, вырвала книгу, бросила на ковер и сама легла на нее.

— Сейчас мы узнаем, что скажет небо!— сказал Чингиз-хан.

— Я не хочу знать, что будет со мной,— отвечала Кулан.— Будет то, что я захочу. А я хочу вернуться на берега Керулена, и все в нашем войске этого хотят...

Чингиз-хан подымал и опускал брови, сопел и, наконец, сказал:

— До сих пор не было таких противников, которых бы я не побеждал. Теперь я хочу покорить смерть. Если ты, беспечная и непокорная Кулан-Хатун, будешь рядом со мной, смерть тебя не коснется. Если же ты от меня уедешь, то тайный яд в угощенье или стрела, ударившая из темноты, унесут тебя за облака...— Затем Чингиз-хан обратился к Елю-Чу-Цаю, мудрейшему из его советников:— Ты обещал доставить мне шаманов, колдунов, лекарей и мудрецов, знающих изготовление напитка, дающего бессмертие. Почему я до сих пор их не вижу?

— За ними посланы надежные люди, и все они должны скоро сюда явиться. Но ты идешь с войском так быстро и так далеко, что все эти знающие люди не могут поспеть за тобой...

Чингиз-хан видел, что Кулан-Хатун продолжает все сильнее хворать и быстро исчезает ее цветущая красота. Маленький сын ее Кюлькан тоже по-прежнему лежал рядом с матерью, исхудавший и побледневший. Тогда каган стал проявлять беспокойство и ни в чем не находил утешения. Он часто говорил о смерти и спрашивал у лекарей средство для продления жизни. Многие предлагали чудодейственные напитки. Чингиз-хан приказывал этим лекарям самим принимать их лекарста, а затем рубил им головы, наблюдая, не останутся ли они живы?

Особую удрученность каган стал выказывать после сражения монголов у крепости Балтан, когда неприятельская катапульта попала стрелой, большой, как копье, в Мутугана, любимого внука, сына Джагатаева. Ему предстояло стать главным ханом мусульманских земель, а от случайной стрелы Мутуган скончался.

Тогда Чингиз-хан убедился, что смерть наносит удары, точно слепая верблюдица бьет ногами: в одного попадает — и он дух испустит, другого минует — и будет жить он до старости.

Чингиз-хан так рассвирепел из-за кончины внука, что приказал взять Балтан немедленно. Войско, проломав стену, ворвалось в город и все предало мечу. Чингиз-хан повелел, чтобы воины никого в плен не брали; всю местность превратил в пустыню, чтобы ни одно творение там не жило. Имя этому месту дали «Мау-курган», что значит «Холм печали». С тех пор никто там больше не селился и земля осталась необработанной.

Целыми днями Чингиз-хан сидел около своего желтого шатра, поставленного на вершине горы над обрывом. Под ногами темнели ущелья, казалось, не имевшие дна. Он видел угрюмые хребты и снежные вершины, уходившие в туманную даль, иногда требовал к себе опытных проводников и расспрашивал их о самых кратких путях через Индию и Тибет в монгольские степи.

В лагере воины, обремененные богатой добычей, говорили только о возвращении в родные кочевья. Но никто не решался заявить об этом грозному кагану.

Никто не знал его истинных дум, никто не мог предвидеть, какой завтра будет его приказ,— повернет ли он войско в обратный путь, или же двинется снова в поход, и не придется ли еще много лет скитаться по разным странам, в дыме пожаров истребляя встречные народы.

В войсках уже слышался ропот из-за долгой стоянки в теснинах афганских гор, где мало корму лошадям. Тогда Кулан-Хатун, желая убедить кагана, что пора возвращаться на родину, пошептавшись с великим советником китайцем Елю-Чу-Цаем, придумала сказку. Елю-Чу-Цай научил двух смелых нукеров рассказать ее Чингиз-хану. Эти два монгола явились в ставку и потребовали свидания с Чингиз-ханом, говоря, что имеют сообщить ему нечто весьма важное и чудесное.

Елю-Чу-Цай провел их к Чингиз-хану, и они рассказали:

— Заблудившись в горах, мы увидели одного зверя, который имел подобие оленя, зеленый цвет, конский хвост и один рог. Этот зверь прокричал нам по-монгольски: «Вашему хану надо вовремя возвратиться в в родную землю».

Чингиз-хан выслушал сказку спокойно, но приподнял одну бровь и стал пристально рассматривать стоявших перед ним на коленях багатуров.

— В тот день, когда вам показался чудесный зверь, много ли вы пили кумысу?

Багатуры поклялись, что они были бы рады выпить, но в этих голых скалах не только кобылье, но даже козье молоко достать трудно, и в доказательство верности слов подымали большой палец.

Чингиз-хан обратился к Елю-Чу-Цаю:

— Ты знаешь мудрейшие книги, в которых открыты все тайны земли, моря и неба. Читал ли ты сказание о таком звере?

Елю-Чу-Цай принес большую книгу с чертежами и рисунками разных зверей, рыб и птиц вселенной, перелистал ее и сказал:

— Такой редкий зверь называется «мудрый Го-Дуань», и он понимает языки всех народов. Его речь к нашим двум багатурам означает, что в мире происходит чрезмерное кровопролитие. Ныне уже четыре года, как твое великое войско покоряет западные страны. Поэтому вечное великое небо, гнушаясь беспрерывными убий-

ствами, послало зверя Го-Дуаня объявить тебе, государь, свою волю. Покажи покорность небу и пощади жителей этих стран. Это будет бесконечное счастье для тебя, иначе на тебя разгневается небо и поразит молнией. Так объясняет эта древняя книга китайских мудрецов.

Елю-Чу-Цай говорил торжественно и важно, точно жрец, читающий молитву, а Чингиз-хан, прищурив один глаз, смотрел на своего советника. Потом он перевел взгляд на багатуров, покорно стоявших перед ним на коленях, и подозвал к себе сперва одного, а потом другого. Наклонившись, он прошептал им что-то на ухо, и каждый шепотом же ему ответил.

Тогда каган, весьма довольный, разрешил багатурам удалиться и приказал дать им кумысу, сколько каждый из них сможет выпить.

— Эти багатуры сметливы и находчивы,— сказал каган своему советнику.— Их следует возвеличить. Я спросил их по очереди, каким шагом прошел зверь Го-Дуань. И один сказал, что он бежал рысью, а другой— что шел иноходью. Ни один даже совсем пьяный монгол, взглянув на бегущего зверя, так не ошибется. Но я понял сегодня, что войско устало воевать, что в нем растет тоска по родным степям, и поэтому объявляю, что, согласно воле неба, приславшего мне, своему избраннику, чудесного зверя Го-Дуаня, я поворачиваю войско в обратный путь и направляюсь в родной коренной улус[1].

На другой день, узнав о решении Чингиз-хана, все монгольские воины радовались, пели песни и готовились к походу.

Первоначально Чингиз-хан думал пройти через Индию и Тибет и с этой целью отправил посольство в город Дели к индийскому царю Ильтутмышу. Но путь через горы был еще завален снегами, а царь медлил с ответом и стягивал войска, поставив во главе их Джелаль эд-Дина.

Между тем из Монголии прибыли донесения о новом восстании всегда мятежных тангутов, а вычисления по звездам его советника Елю-Чу-Цая и гадания шаманов не советовали кагану идти через Индию.

---

[1] Коренной улус — главный из уделов, на которые делилась империя Чингиз-хана. В этот удел входили чисто монгольские кочевья.

Тогда Чингиз-хан решил идти обратно тем же длинным путем, каким пришел. По его приказанию население стало расчищать от снега горные перевалы, и в начале весны монгольское войско двинулось в путь.

Глава вторая

ПЕРЕПИСКА ЧИНГИЗ-ХАНА С НИЩИМ МУДРЕЦОМ

Еще во время стоянки в верховьях Черного Иртыша Чингиз-хан, заботясь о своем здоровье и продлении жизни, искал опытных врачей. Ему рассказали о замечательном мудреце Чан-Чуне, который будто бы открыл все тайны земли и неба и даже знает средство стать бессмертным. Про него великий советник и звездочет Елю-Чу-Цай сказал:

— Чан-Чунь-Цзы — человек высокого совершенства. Этот старец давно уже владеет даром быть в обществе облаков, летая к ним на журавлях, и умеет превращаться в другие существа. Отказываясь от всех земных благ, вместе с другими мудрецами он живет в горах, отыскивая философский камень «дань», приносящий человеку долголетие и бессмертие. Погруженный в думы, он то сидит, как труп, то стоит целые дни неподвижно, как дерево, то говорит, как гром, то ходит легко, как ветер. Он много видел, много слышал, и нет книги, которую бы он не прочел.

Для отыскания этого необычайного старика Чингиз-хан приказал немедленно отправить своего испытанного китайского сановника Лю-Чжун-Лю. Он дал ему золотую пайцзу с изображением разъяренного тигра с надписью: «Предоставляется полновластно распоряжаться, как если бы мы сами путешествовали».

В руки Лю-Чжун-Лю было, как высшая драгоценность, пере́дано именное письмо от Чингиз-хана к мудрецу Чан-Чуню, записанное со слов неграмотного великого кагана его советником Елю-Чу-Цаем. В письме говорилось следующее:

«Небо отвергло Китай за его чрезмерную роскошь и надменность. Я же, обитатель северных степей, не имею распутных наклонностей. Я люблю простоту и чистоту

нравов, отвергаю роскошь и следую умеренности. У меня всегда единственное холщовое платье и одинаковая пища. На мне такие же лохмотья, как на конюхах, и я ем так же просто, как корова.

В семь лет я совершил великие дела, и во всех странах света я утвердил мою власть. Такого царства еще не было с древнейших времен, когда мир завоевали наши предки, кочевые племена хунну[1].

Звание мое велико, и обязанности важны. Но я боюсь, что в управлении моем чего-то недостает. Если строят судно, то приготовляют и весла для того, чтобы с их помощью можно было переплыть реки. Подобно этому приглашают и мудрецов и выбирают помощников для покорения и управления вселенной.

Я узнал, что ты, учитель, сроднился с истиной и действуешь всегда по высоким правилам. Многоученый и опытный, ты глубоко изучил законы. Издавна ты пребываешь в скалистых ущельях и скрыл себя от мира.

Но что мне делать? За обширностью разделяющих нас гор и долин я не могу повстречаться с тобой. Поэтому я выбрал моего приближенного сановника Лю-Чжун-Лю, приготовил проворных всадников и почтовую повозку и прошу тебя, учитель, не страшась многих тысяч ли[2], направиться ко мне.

Не думай о дальности и размерах песчаных степей, а пожалей мой народ. Или же, из милости ко мне, сообщи мне средство для продления жизни.

Надеюсь, что ты, познав сущность великого «дао»[3], сочувствуешь всему доброму и не будешь противиться моему желанию. Посему настоящее наше повеление должно быть тебе вполне ясно».

С таким письмом в руках Лю-Чжун-Лю отправился в далекий путь через степи и горы. Он мчался, торопясь выполнить каганскую волю, быстро меняя на станциях[4]

---

[1] Хунну — гунны, жившие в Центральной Азии, — воинственный народ, потом ушедший на запад и вторгшийся в V веке в Европу под начальством Аттилы.

[2] Ли — китайская мера длины, около $^1/_2$ км.

[3] Дао — высшая истина.

[4] По всем главным путям империи Чингиз-хана были устроены станции, где содержались лошади. Эти станции назывались „ям“, откуда произошли слова „ямской“, „ямщик“.

лошадей. Наконец, прибыв в Китай, он добрался до высоких гор, где в глухом ущелье разыскал престарелого мудреца, изможденного и едва прикрытого ветхим рубищем. Это был знаменитый Чан-Чунь. Прочтя письмо Чингиз-хана, он сперва наотрез отказался поехать к нему.

Затем он написал ответ, который Лю-Чжун-Лю отослал с нарочным гонцом к великому кагану, сам же остался возле отшельника, боясь гнева кагана и еще надеясь убедить Чан-Чуня. Вот что писал китайский мудрец:

«Стремящийся к «дао», смиренный житель гор Чан-Чунь получил недавно высочайшее повеление, прибывшее издалека. Да, весь бездарный приморский народ китайцев из-за своей надменности неразумен. Представляя себе, что в делах жизни я туп, в отношении изучения «дао» я нисколько не преуспел, всевозможными способами трудился, не умер, а состарился, и что хотя слава обо мне распространилась по разным государствам, но по святости я ничуть не лучше обыкновенных людей,— то от всего этого я только мучаюсь стыдом. Тайные мысли ведь кто ведает?

Сперва, получив необычайное письмо, я хотел скрыться в горах или уйти на море, но потом решил не противиться твоему повелению и счел необходимым отправиться в путь и бороться со снегами, чтобы представиться государю, которого небо одарило мужеством и мудростью и превосходящему всех, кто был в древности, так что и ученые китайцы и дикие варвары — все покоряются ему.

В путешествии ветер и пыль беспрерывны, небо омрачено тучами, а я стар и слаб, не могу выдержать больших трудностей и боюсь, что до тебя по такому длинному пути я не доеду.

Если же я не прибуду к тебе, владыке народов, то решать военные и государственные дела в моих ли силах? Поэтому прошу милостиво указать: должно ли мне ехать или нет? Вид мой высохший, тело истощенное.

Ожидаю решения.

В год Дракона, в 3-ю луну».

Когда Чингиз-хан получил это письмо, он весьма обрадовался, щедро наградил гонца и ответил новым письмом:

«Кто приходит под мою руку, тот со мной. Кто уходит от меня, тот против меня. Я применяю воинскую силу, чтобы со временем после больших трудов достигнуть продолжительного покоя. Я остановлюсь только тогда, когда все сердца вселенной покорятся мне. С этой целью я проявляю грозное величие, находясь всегда в походе среди непобедимых воинов. Я знаю, что ты можешь легко отправиться в путь и прилететь ко мне на журавле. Хотя равнины пути и беспредельны, но уже недолго мне ждать, чтобы увидеть посох твой. Поэтому я отвечаю на твое послание, чтобы тебе были видны мои мысли. О прочем не распространяюсь».

Глава третья
СДЕЛАЙ МЕНЯ БЕССМЕРТНЫМ!

Получив от великого кагана второе письмо, китайский мудрец согласился отправиться в далекий путь. Он наотрез отказался ехать в караване вместе с прекрасными дворцовыми певицами и танцовщицами, которых одновременно посылали из Китая Чингиз-хану. Поэтому ему была дана особая охрана из тысячи пехотинцев и трехсот всадников. Чан-Чунь взял с собой двадцать своих учеников; из них один писал подробный дневник, занося в него изречения и стихотворения учителя[1].

Чан-Чунь ехал не спеша и всюду в городах останавливался. Монгольские начальники городов (даруги) устраивали ему торжественные приемы и предлагали обильные угощенья, от которых мудрец отказывался, питаясь только рисовой кашей и плодами.

В пути Чан-Чунь постоянно писал стихи. Когда он проезжал монгольские степи, он изложил свои мысли в таких строках:

Куда б ни метнулся взор,
Не видно конца горам...
Потоки стремятся с гор,
И всюду — простор ветрам!

[1] Этот дневник пути Чан-Чуня — „Путешествие на Запад“ — сохранился до настоящего времени.

И думы мои поют:
„От первых земли времен
Зачем проходили тут
Стада кочевых племен?

Как в древние дни, едят
Они заповедный скот[1],
Не наш их чудной наряд,
Не наш и обычай, не тот!

Не знают письмен они,
Как дети, просты душой...
Беспечно текут их дни,
Довольны они судьбой!“

II

Дорога равниной пустынной шла
И труден был каждый шаг.
Озера синели, как из стекла,
Поблескивал солончак.

Не встретишь здесь путника целый день,
Меж этих бугров немых...
Спеша пронесется раз в год, как тень,
Наездник из стран чужих.

Ни гор, ни деревьев не встретит взор,
Покрыты травой холмы...
Из меха племен кочевых убор
В дни лета, как в дни зимы.

Здесь рис не родится, и весь народ
Питается молоком,
И весело каждый с собой везет
Из войлока утлый дом.

Через два года со дня выезда Чан-Чунь прибыл к реке Джейхун и близ Термеза переправился на другую сторону. Там его встретил личный лекарь Чингиз-хана.

---

[1] Китайцы, считая корову священным животным, не ели коровьего мяса, не пили молока. Питание монголов поэтому им казалось странным.

Мудрец подарил ему стихи, написанные по поводу окончания долгой дороги, и сказал:

— Я горный дикарь, прибыл в военный лагерь великого кагана только для того, чтобы ему сказать важные слова. От их исполнения станет счастливой вселенная.

Стихи Чан-Чуня были следующие:

Издревле прославлена светом
Восьмая луна![1]
Рассеялись тучи,
Стих ветер,
И ночь ясна.
Через весь небосвод
Перекинут серебряный мост,
На юге
Драконы
Взыграли от блеска звезд!
И с башен высоких
Доносится радостный звон:
Все праздник справляют,
Как то повелел закон!
И льется вино,
И поет свои песни певец...
А берегом тихим
Усталый бредет мудрец...
К могучему хану
Бесстрашно направил он путь,
Чтоб демон
Смирился кровавый
И дал вздохнуть![2]

Проехав через опустошенный город Балх, где был слышен только лай голодных собак, так как жители разбежались, Чан-Чунь через четыре дня дороги по горам прибыл в лагерь Чингиз-хана, к его желтому шатру, стоявшему над крутым обрывом.

В сопровождении наместника в Самарканде Ахайя-Тайши, который знал китайский и монгольский языки,

---

[1] Восьмая луна — по китайскому календарю, месяц сентябрь, когда китайцы устраивают веселые празднества по случаю конца полевых работ.

[2] Стихотворная обработка М. Нечаева.

Чан-Чунь явился к грозному владыке. Так как все «даосы», являясь к китайскому владыке, никогда не становились перед ним на колени и не били земных поклонов, то и Чан-Чунь, войдя в юрту кагана, только наклонился и сложил в знак почтения ладони.

Перед великим каганом стоял высохший старик бронзового цвета, обожженный зноем и ветрами, с выпуклым лбом и белым пухом на затылке. Он казался нищим в веревочных сандалиях на босу ногу и ветхом плаще, но он спокойно и без страха смотрел на «владыку вселенной», затем опустился на ковер.

Чингиз-хан, темнолиций, с рыжей поседевшей бородой, в черной круглой шапке с большим изумрудом и тремя лисьими хвостами, падавшими на плечи, сидел на золотом троне, подобрав ноги. Он всматривался немигающими, зеленоватыми, как у кошки, глазами в старого мудреца, дряхлого и нищего, от которого теперь ожидал своего спасения. Чингиз-хан был, как и его гость, в простой холщовой черной одежде, и у него волосы бороды также были покрыты белым инеем старости, но пути у каждого были разные. Китайский мудрец уединялся от людей в пустынные места, всю свою жизнь посветил изучению наук, отыскивая тайну спасения людей от болезней, страданий, старости и смерти, и приходил на помощь ко всем, кто к нему обращался с мольбою. Каган же всегда был вождем огромных армий, посылал воинов на истребление и гибель других народов, все его победы достигались смертью десятков тысяч людей. Теперь, когда подошли последние годы жизни, теперь от этого изможденного отшельника зависело, чтобы Чингиз-хан снова стал молодым и сильным и навсегда избавился от цепких рук идущей по следам кагана смерти, которая готовилась обратить его, сильнейшего на земле, в прах и небытие.

Оба старика долго молчали. Потом Чингиз-хан спросил:

— Благополучен ли был твой путь? Всего ли тебе было достаточно в тех городах, где ты останавливался?

— Сначала меня снабжали всякой едой в изобилии,— ответил Чан-Чунь.— Но в последнее время, когда я проезжал земли, где побывало твое войско, всюду еще были видны следы битв и пожаров. Там добывать пропитание было трудно.

— Теперь ты будешь иметь все, что захочешь. Приходи каждый день к моему обеду.

— Нет, мне не нужна такая милость! Горный дикарь живет подвижником и любит уединение.

Слуги принесли кумыс, мудрец от него отказался. Каган сказал:

— Живи у меня по своей воле, как хочешь. Мы позовем тебя для особой беседы. Разрешаем идти.

Чан-Чунь поднялся, сложил ладони, помахал ими в знак почтения и вышел.

Вскоре монгольское войско двинулось обратно на север через земли Мавераннагра. Во время пути Чингиз-хан не раз присылал мудрецу виноградного вина, дынь и разной еды.

Через реку Джейхун войско быстро перешло по искусно построенному на ладьях пловучему мосту и направилось в сторону Самарканда.

Раз во время остановки Чингиз-хан послал Чан-Чуню извещение, что поздно ночью он его ждет для важной беседы.

Когда шум лагеря стал затихать и все сильнее слышались трели лягушек, Ахайя-Тайши провел мудреца Чан-Чуня мимо неподвижно стоявших часовых в желтый шатер великого кагана.

По обе стороны золотого трона в высоких серебряных подсвечниках, горели толстые восковые свечи. Чингиз-хан сидел, подобрав ноги, на белом войлочном подседельнике, и от круглой лакированной шапки с черными лисьими хвостами лицо его было в тени, только глаза горели, как у тигра. Возле него на ковре сидели два секретаря, знающие монгольский и китайский языки.

Чан-Чунь опустился на ковер перед троном и сказал:

— Я дикарь гор и уже много лет упражняюсь в «дао»— учении о наиболее прекрасном и возвышенном. Я люблю пребывать только в очень уединенных и тихих местах, люблю бродить по пустыне или там стоять, размышляя. Здесь же, близ царского шатра, постоянный шум от множества воинов, их коней и повозок. От этого мой дух неспокоен. Поэтому не будет ли мне дозволено ехать по своей воле то впереди, до позади твоего шествия? Для горного дикаря это будет большой милостью.

— Пусть будет, как ты желаешь,— ответил каган. Потом он спросил:— Объясни мне, что такое гром? Правду ли говорят мне колдуны и главный шаман Бэки, будто гром — это рычание живущих на небе за облаками богов, когда они гневаются на людей? А гневаются они тогда, когда люди в жертву им приносят не черных животных, как полагается, а животных другого цвета. Верно ли это?

— Небо гневается на людей не за приношения, обильные или скудные,— ответил Чан-Чунь.— Гневается небо и не за то, что ему приносят в жертву баранов или лошадей не черных, а рыжих, пегих или белых. Я также слышал ошибочные слова твоих шаманов, будто летом людям нельзя мыться в реках или стирать в воде одежды, катать войлоки или собирать грибы — из-за всего этого будто бы небо очень гневается и посылает на землю грозу с молниями и громом... Вовсе не в этом состоит неуважение людей к небу, а в том, что люди творят много преступлений... Я, горный дикарь, читал в древних книгах, что из трех тысяч различных человеческих преступлений самое гнусное — непочтительность к своим родителям... Много раз я замечал в пути, что твои подданные недостаточно уважают своих родителей: сами объедаются на пиршествах, а старых отцов, матерей и дедов морят голодом. И вот за то, что бессердечные сыновья и дочери оскорбляют своих родителей, праведное небо обрушивается на людей, карая их молнией и громом. Позаботься, государь, вразумить и исправить твой народ.

— Мудрец говорит дельно!— заметил Чингиз-хан и приказал писцам записать слова Чан-Чуня и по-монгольски, и по-китайски, и по-тюркски, чтобы издать особый закон о почтительности к родителям[1].

Когда на золотых блюдах были поданы разнообразные кушанья и Чан-Чунь взял только горсть вареного риса и немного вяленого винограда, каган спросил:

— Святой мудрец! Давно я хочу узнать, нет ли у тебя такого лекарства, чтобы старого сделать молодым, чтобы слабому влить новые силы? Не можешь ли ты

---

[1] Такой закон был вписан в „Ясу“.

сделать так, чтобы дни моей жизни текли непрерывно, всегда и не знали бы остановки, как беспрерывно текут воды большой реки? Нет ли у тебя лекарства сделать человека бессмертным?

Чан-Чунь опустил глаза и молча соединил концы пальцев.

— Если у тебя сейчас нет такого лекарства, — продолжал Чингиз-хан,— то, может быть, ты знаешь, как приготовить такое лекарство? Или ты укажешь другого мудреца и волшебника, которому открыта тайна, как сделаться бессмертным? Если ты приготовишь для меня такое лекарство, чтобы я мог жить вечно, то я дам тебе необычную, небывалую награду: я сделаю тебя нойоном и правителем большой области... Я дам тебе конскую торбу, полную золотых монет... Я подарю тебе сотню самых красивых девушек из разных стран!

Чан-Чунь, не отвечая и не подымая глаз, стал дрожать, точно от сильного холода. А каган продолжал соблазнять его:

— Я выстрою на твоей горе небывалой красоты дворец, какой можно видеть только у китайского богдыхана, и в этом дивном дворце ты будешь размышлять о возвышенном... Мне даже не нужна молодость. Пускай и останусь таким старым и седым, как сейчас, но я хочу много лет, не видя конца, держать на своих плечах великое монгольское государство, которое построил я сам, своими руками...

Каган молчал и горящим, пристальным взглядом впился в изможденное лицо мудреца. Тот съежился и, косясь на грозного кагана, заговорил тихо:

— На что мне золото, когда я люблю горы, тишину и размышления? Могу ли я управлять целой областью, когда я не знаю, как управлять собой? Всех прекрасных пленных девушек выдай замуж за благонравных юношей. Мне не нужно дворца — размышлять я могу, стоя на камне... Я изучал все мудрейшие книги, какие были написаны самыми знаменитыми китайскими учеными, и для меня больше нет тайн. Я могу сказать тебе точную истину: есть много средств, чтобы увеличить силы человека, излечивать его болезни и оберегать его жизнь, но нет и не было лекарства, чтобы сделать его бессмертным.

Задумался Чингиз-хан и, опустив голову, долго мол-

чал. Перестали скрипеть тростинки писцов, заносивших в книги слова разговора. Слышно было только потрескивание оплывших восковых свечей. Наконец каган сказал:

— У наших монгольских стариков есть поговорка: «Говорящий правду умирает не от болезни», — кто-нибудь от злобы прикончит правдивого раньше времени... Потому-то все люди стараются нагромоздить горы лжи... А ты, мудрый старик, проехавший десять тысяч ли, чтобы повидать меня, ты один не побоялся сказать правду, что средства стать бессмертным — нет! Ты чистосердечен и прям. Если у тебя есть просьба — говори! Обещаю ее исполнить.

Чан-Чунь соединил ладони и склонился перед каганом.

— У меня просьба только одна, и я приехал через снега, горы и пустыни, чтобы сказать ее тебе, — прекрати свои жестокие войны и повсюду среди народов водвори доброжелательный мир!

Брови Чингиз-хана переломились, потом сдвинулись. Лицо перекосилось. Задыхаясь, он стал кричать так, что у писцов тростинки запрыгали по бумаге:

— Чтобы всюду водворить мир, нужна война!.. Наши старики в степи не зря учат: «Только когда ты убьешь твоего непримиримого врага, то и вдали и вблизи станет спокойно». А я не разгромил еще моего старого врага, тангутского царя Бурханя! И вторая половина вселенной еще не под моей пятой... Могу ли я это терпеть? Хотя ты и мудрец, но твоя просьба не деловая! Такими просьбами нас больше не обременяй!

Чингиз-хан приподнялся и, вцепившись в ручки трона, дрожа от ярости, прошипел:

— Разрешаем удалиться!

Зиму этого года Чингиз-хан провел около Самарканда. Он не любил тесноты городов и жил в монгольском лагере.

Сперва выпадало много дождя, так что вся земля пропиталась водой и проезд стал труден. Потом часто шел снег, и настал такой холод, что множество лошадей и волов замерзло и валялось по дорогам.

Мудрец Чан-Чунь жил в бывшем загородном двор-

це хорезм-шаха «Кек-серай», окруженном садами. Там старец писал стихи. К нему толпой приходили голодные поселяне, у которых монгольские воины отобрали все имущество, скот, жен и детей. Чан-Чунь раздавал пожалованную Чингиз-ханом еду и сам варил для просителей кашу.

Глава четвертая

ВОЗВРАЩЕНИЕ МОНГОЛОВ В „КОРЕННУЮ ОРДУ"[1]

Когда Чингиз-хан, желая переменить стоянку лагеря, приказал войску двинуться из Самарканда к реке Сейхун, то, по его повелению, старая царица Хорезма Туркан-Хатун, мать шаха Мухаммеда, весь бывший гарем шаха и другие знатные пленные женщины стояли вдоль пути следования монголов: пока все воины не проехали мимо; они громкими голосами пели, оплакивая гибель государства Хорезма.

В начале года Барана (1223) лагерь Чингиз-хана находился на правом берегу реки Сейхун. Сюда по вызову Чингиз-хана прибыли на курултай его сыновья: Джагатай, Угедэй и Тули, кроме старшего, гордого и непокорного сына Джучи. С сыновьями, ханами и главными военачальниками Чингиз-хан совещался о плане завоевания в течение ближайших тринадцати лет всех западных стран вплоть до Последнего крайнего моря.

Лагерь Чингиз-хана расположен был среди садов, брошенных разбежавшимся населением. Сюда во множестве спускались с ближайших гор кабаны. Чингиз-хан любил охотиться на них, поражая их с коня копьем и стрелами.

Раз он погнался за дикими свиньями, его лошадь споткнулась. Хан упал, а лошадь ускакала. Огромный кабан остановился, наблюдая за неподвижно лежавшим перед ним Чингиз-ханом. Затем он медленно ушел в камыши. Подоспели другие охотники, поймали и привели коня. Каган прекратил охоту и, возвратившись в ла-

[1] Коренной ордой монголы называли северо-восточную часть Монголии по течению рек Онона и Керулена, где жили ближайшие родичи Чингиз-хана.

герь, приказал привести китайского мудреца Чан-Чуня, чтобы тот объяснил, не было ли в этом падении Чингиз-хана перед дикой свиньей вмешательства вечного неба? Чан-Чунь сказал:

— Все мы должны оберегать нашу жизнь. У великого кагана лета уже преклонные, и ему надо поменьше охотиться. То, что нечистый кабан не осмелился напасть на лежащего в болоте «потрясателя вселенной»— это знак покровительства неба.

— Мне бросить охоту? Нет этот совет невыполним!— ответил Чингиз-хан.— Мы, монголы, с малых лет привыкли охотиться и стрелять с коня, и даже старики не могут оставить эту привычку... Впрочем, слова твои я сохраню в моем сердце.

Чингиз-хан, желая наградить Чан-Чуня, повелел пригнать стадо молочных коров и табун отборных лошадей, но мудрец этого подарка не принял, ответив, что может вернуться обратно в свои китайские горы в обыкновенной почтовой повозке. Затем мудрец после прощального представления кагану отправился в обратный путь в сопровождении своих двадцати учеников и отряда воинов. Множество приближенных Чингиз-хана провожали старого даоса с кувшинами вина и корзинами редких плодов. При расставании многие утирали слезы.

В год Обезьяны (1224) Чингиз-хан повел свое войско обратно в монгольские степи.

Как старый тигр, сожравший корову, медленно возвращается в густые камыши, в свое логовище, волоча отвисшее брюхо, так медленно подвигалось войско Чингиз-хана, обремененное огромной добычей. Каждый воин имел по нескольку вьючных лошадей, верблюдов и быков. Вместе с воинами следовали и стада баранов, и скрипучие двухколесные повозки, нагруженные одеждами, коврами, оружием, медной посудой и прочими награбленными у мусульман вещами. Тут же и на конях, и на верблюдах, и на повозках ехали монгольские и разноплеменные женщины и дети, и длинными, бесконечными вереницами шагали пленные — истощенные, оборванные и босые.

Все это шествие подвигалось не торопясь, делая остановки в местах с удобными пастбищами, так что войско провело в дороге и лето и зиму, оставляя длин-

ный след в виде павших ободранных коней и быков и трупов пленных, не выдержавших трудностей пути через безводные щебнистые равнины Центральной Азии.

Весною Чингиз-хан прибыл к своим кочевьям на реке Керулене и приказал поставить каганский желтый шатер в становище Буки-Сучегу. Здесь он созвал совещание всех знатнейших ханов и отличившихся полководцев и устроил никогда еще степью не виданный богатый пир. Через три дня после этого пира умерла молодая жена Чингиз-хана Кулан-Хатун. Молва шептала, что в этой смерти виноваты братья кагана... А истину кто узнает?

Следующий год Курицы (1225) Чингиз-хан оставался в своих родных кочевьях и обнародовал «Ясак», наставляя монгольский народ на «Путь разума и довольства», как был назван сборник[1] его поучений.

Глава пятая

ЧИНГИЗ-ХАН РЕШИЛ УМЕРЕТЬ В ПОХОДЕ

Чингиз-хан не мог оставаться спокойным, когда услыхал, что царство непокорных тангутов снова возмутилось. Великий хан не забыл своего обещания наказать их царя Бурханя. Он стал готовиться к походу и послал за сыновьями, уведомив их, что сам поведет войско.

Опять прибыли три сына, кроме старшего, упрямого Джучи.

Второй сын кагана, Джагатай, правитель Мавераннагра, всегда враждовавший со старшим братом Джучи, во время семейного совещания сказал:

— Джучи полюбил страну кипчаков больше, чем свой коренной улус. Он в Хорезме не позволяет монголам даже тронуть кого-либо из кипчаков. Джучи открыто говорит такие бесстыдные слова: «Старый Чингиз потерял разум, так как разоряет столько земель и губит безжалостно столько народов». Джучи хочет во время охоты убить нашего отца и заключить союз дружбы с мусульманами, отделившись от монгольской коренной орды.

---

[1] От этого сборника сохранились только незначительные отрывки.

Тогда Чингиз-хан загорелся яростью и отправил в Хорезм своего брата Утчигина и верных людей с приказом, чтобы Джучи немедленно прибыл к отцу. «Если же он откажется приехать и останется в Хорезме,— сказал Утчигину на ухо Чингиз-хан,— тогда ты молча ударь и без упреков убей!»

Джучи послал отцу ответ, что не может выехать вследствие болезни и остался в степи у кипчаков. А верные люди написали Чингиз-хану, что хан Джучи здоров, часто ездит на облавную охоту и что поэтому они остались возле Джучи, чтобы выполнить тайный приказ великого кагана.

Джагатай выехал обратно для управления своим улусом в Самарканд, а Чингиз-хан с двумя любимыми сыновьями, Угедэем и Тули, в начале года Собаки (1226) повел свое войско против тангутов и достиг места Онгон-Талан-Худун. Здесь он увидел страшный сон и стал говорить о близости смерти. Он послал за сыновьями, которые находились в другом отряде.

На другой день на рассвете прибыли Угедэй и Тули. Когда они насытились поданным угощением, Чингиз-хан сказал другим лицам, присутствовавшим в юрте:

— У меня с сыновьями предстоит тайный совет. О наших заботах я желаю переговорить с ними в полном уединении. Вы все удалитесь.

Когда все ханы и прочие люди удалились, Чингиз-хан усадил возле себя обоих сыновей. Сперва он давал им советы относительно жизни и управления государством, затем сказал:

— Внимательно запомните все, дети мои! Знайте, что, против моего ожидания, настало время моего последнего похода. С помощью покровителя монголов, бога войны Сульдэ, я покорил для вас, мои сыновья, царство такой необычайной ширины, что от пупа его в каждую сторону будет один год пути. Теперь говорю мой последний завет: «Всегда уничтожайте ваших врагов и возвеличивайте ваших друзей». А для этого вы должны быть всегда одного мнения и все действовать как один. Тогда вы будете жить легко и приятно и наслаждаться своим царствованием. Моим наследником я оставляю, как приказал раньше, Угедэя. После меня он должен быть объявлен великим каганом и поднят на белом войлоке почета. Стойте крепко и грозно во главе всего государ-

ства и монгольского народа и не смейте после моей смерти извращать или не исполнять мой «Ясак». Жаль, что сейчас здесь нет моих сыновей Джучи и Джагатая. Жаль! Пусть же не случится так, что, когда меня не будет, они извратят мою волю, будут между собой враждовать и заведут в царстве губительную смуту! Хотя всякий желает умереть дома, но я отправляюсь в последний поход ради достойного конца моего воинского имени. Разрешаем вам идти.

После этого Чингиз-хан двинулся с войском дальше. По пути правители встречных племен и городов приходили один за другим и заявляли о своей покорности. Один хан явился с подносом крупных жемчугов и сказал: «Мы покоряемся!» Но великий хан, чувствуя близость кончины, не обратил на жемчуг внимания и приказал рассыпать его в степи перед войском. Все воины собирали, но много жемчуга потерялось в пыли, так что и потом люди искали его и находили.

— Каждый день для меня теперь дороже подносов с жемчугами,— говорил Чингиз-хан и был полон забот и тревоги.

Тогда царь тангутский прислал вестников к Чингиз-хану. Он их не принял, и тангутские послы передали такие слова великому советнику кагана Елю-Чу-Цаю.

— Наш царь несколько раз восставал против великого кагана, и после того всегда в нашу страну вторгались монголы, убивали народ и грабили города. Нет толку в сопротивлении. Мы пришли на служение Чингиз-хану, просим мира, договора и взаимной клятвы.

Елю-Чу-Цай ответил послам:

— Великий каган болен. Пусть царь тангутов подождет, пока Чингиз-хану будет лучше.

Болезнь Чингиз-хана день ото дня усиливалась; он ясно видел близость кончины и приказал:

— Когда я умру, то ничем не обнаруживайте моей гибели, не подымайте плача и воплей, чтобы об этом не узнали враги, не обрадовались и не воодушевились. Когда же царь и жители тангутские выйдут из ворот крепостей с дарами, бросайтесь на них и уничтожайте!

Великий каган лежал на девяти сложенных белых войлоках. Под головой была седельная замшевая подушка, на ногах покрывало из темного соболя.

Тело, длинное и исхудавшее, казалось невероятно тя-

желым, и ему, потрясавшему мир, было трудно пошевельнуться или приподнять отяжелевшую голову.

Он лежал на боку и слышал, как при каждом вздохе раздавался тонкий звук, точно попискивала мышь. Он долго не понимал, где сидит эта мышь. Наконец он убедился, что мышь пищит у него в груди, что когда он не дышит, замолкает и мышь и что мышь — это его болезнь.

Когда он переворачивался на спину, он видел над собой верхнее отверстие юрты, похожее на колесо. Там медленно проплывали тучи, и раз он заметил, как высоко в небе пролетал едва видный косяк журавлей. Доносилось их далекое курлыканье, зовущее вдаль, в новые, невиданные земли.

Каган вспоминал, как он хотел проехать до Последнего моря, но уже на границе Индии не выдержал жары, и все его тело покрылось красными зудящими пятнами; тогда он повернул войско обратно в прохладные монгольские степи.

Теперь, ослабевший и беспомощный, он погибает в холодной тангутской долине между лиловыми горами, где утром вода в чашках обращается в лед. С каждым мгновением силы покидают его, а лекари обманывают или не умеют найти ту траву, которая поможет снова сесть на коня и помчаться по степи за длиннорогими оленями или за желтыми непокорными куланами.... Куланами?.. А где красавица, непокорная Кулан-Хатун?.. И ее уже нет!.. Итак, прав китайский мудрец, что средства получить бессмертие — нет!..

Каган шептал, с трудом шевеля высохшими губами:

— Я не видел подобных страданий, когда собирал под свою ладонь многочисленный народ голубых монгольских степей... Тогда было очень тяжело, так тяжело, что натягивались седельные ремни, лопались железные стремена... Но теперь мои страдания безмерны... Верно говорят наши старики: «У камня нет кожи, у человека нет вечности!..»[1]

Чингиз-хан забылся тревожным сном, а мышь попискивала все сильнее, в боку кололо, и дыхание прерывалось.

Когда каган очнулся, у него в ногах сидел на коле-

---

[1] Монгольская летопись „Алтан Тобчи".

нях китаец Елю-Чу-Цай. Такой же длинный и худой, как Чингиз-хан, этот мудрый советник не спускал с больного пристального взгляда. Каган сказал:

— Что... хорошего... и что... плохого...

— Прибыл из страны бухарской твой переводчик Махмуд-Ялвач. Он говорит, что там...

Каган раздраженно пошевелил ладонью, и китаец замолк.

— Я спрашиваю,— прошептал Чингиз-хан,— что хорошего... и что плохого... в жизни сделал?

Елю-Чу-Цай задумался. Что можно ответить уходящему из жизни? Перед ним внезапно пронеслись вереницей сотни образов... Он увидел голубые равнины и горы Азии, прорезанные реками, помутневшими от крови и слез... Вспомнились развалины городов, где на закоптелых стенах громоздились рассеченные и распухшие тела и стариков, и детей, и цветущих юношей, а издали доносился глухой шум громящих город монголов и их незабываемый вой при избивании плачущих жителей: «Так велит «Яса»! Так велит Чингиз-хан»...

Ужасный смрад от гниющих трупов изгонял последних уцелевших жителей из развалин, и они ютились в болотах, в шалашах, каждое мгновение ожидая возвращения монголов и петли аркана, которая уведет их в мучительное рабство... Одна картина вспыхнула с ослепительной яркостью. Близ стен разрушенного Самарканда лежал на спине, раскорячив сухие длинные ноги, большой тощий верблюд; жизнь еще теплилась в его полных ужаса глазах. Несколько человек, почерневших от голода, отталкивая друг друга окровавленными до локтей руками, вырывали из распоротого живота верблюда куски внутренностей и тут же торопливо их пожирали... Лежавший безмолвно «потрясатель вселенной» длинными костлявыми ногами и иссохшими руками был похож на того верблюда, и такой же ужас смерти вспыхивал в его полуоткрытых глазах. И так же возле его тела уже теснились, отталкивая друг друга, наследники, стараясь урвать куски от великого кровавого наследства...

— Разве ты... не можешь... вспомнить?.. Скажи!

Елю-Чу-Цай прошептал:

— Ты в жизни сделал много и великих, и потрясающих, страшных дел. Правдиво их перечислить сможет

только тот, кто напишет книгу о твоих походах, делах и словах...

— Приказываем... призвать... людей знающих, чтобы... они... написали... сказание... о моих походах... делах... и словах...

— Это будет сделано.[1]

В юрте было тихо. Иногда потрескивал костер или порыв ветра, влетевшего через крышу, закручивал голубой дымок над костром из сухой полыни и вереска. Опять прошипели слова:

— Что же... самое лучшее... из того... что я.. сделал?

Желая утешить умирающего, Елю-Чу-Цай сказал:

— Самое лучшее из твоих дел — это твои законы «Яса». Следуя почтительно этим законам, твои потомки будут править вселенной десять тысяч лет[2].

— Верно! Тогда... настанет... спокойствие... кладбища... в пустынных степях... вырастет... тучная трава... а между могильными... курганами... будут пастись... только одни... монгольские кони...

И, помолчав, каган добавил:

— И своевольные... куланы...

Чингиз-хан лежал неподвижный, закрыв глаза, с заострившимся носом и ввалившимися висками.

Бесшумно вошли Махмуд-Ялвач, китайский лекарь и главный шаман. Опустившись на колени в ногах у кагана, они замерли, ожидая, когда он очнется и заговорит. Каган открыл глаза, и взгляд его остановился на Махмуд-Ялваче.

— Как управляет... западным уделом... мой сын... Джагатай?

Махмуд-Ялвач, благообразный и нарядный, в красном халате с белоснежной чалмой, скрестив руки на дородном животе, склонился до земли.

— Твой доблестный сын Джагатай-хан и все монго-

---

[1] После смерти Чингиз-хана, со слов очевидцев, были написаны официальные летописи о его жизни и походах на монгольском, китайском и персидском языках. Все они носят характер восхваления Чингиз-хана и монгольских погромов, извращая действительную картину событий. Правдиво писал только современный иранский придворный летописец Рашид ад-Дин, арабский летописец Ибн ал-Асир и еще немногие.

[2] Монголы были изгнаны из завоеванного ими Китая через 141 год (1368 г.) и разбиты на Куликовом поле через 153 года (1380 г.) после смерти Чингиз-хана (1227 г.)

лы-багатуры, и все покоренные народы его удела на берегах Сейхуна и Зеравшана молят аллаха о твоем здоровье и желают царствовать много лет.

— А как управляет... правитель северных народов... мой... старший сын... Джучи-хан?

Махмуд-Ялвач закрыл лицо руками. Согласно монгольским обычаям, при разговоре о смерти близкого человека неприлично упоминать обыкновенное имя покойного, уже ставшего «священной тенью», а необходимо говорить иносказательно, заменяя его имя другими почтительными словами. Поэтому Махмуд-Ялвач начал издалека:

— Получивший твое повеление править северными народами объявил бекам, что готовит великий поход...

— Против меня?

— Нет, мой великий государь! Острия копий были направлены на запад, в сторону булгар, кипчаков, саксинов, урусов. Но поход не мог состояться, и все воины разъехались по своим кочевьям. Как удар грома в ясный день, великое горе обрушилось на всех!

— Объясни!

— Для ханской семьи была устроена в степи большая охота. Пять тысяч нукеров растянулись облавой по равнине и выгнали из камышей и кабанов, и волков, и несколько тигров. А другие пять тысяч всадников пригнали издалека, из степи, и сайгаков, и джейранов, и диких лошадей. Когда вечером после охоты запылали костры и должно было начаться пиршество, нукеры не могли найти того, кто из самых страшных боев выходил не задетым стрелами. Его долго искали и, наконец, увидели, но как! Он лежал одинокий в степи, еще живой, на нем не было ни капли крови, но он не мог произнести ни одного слова, а только смотрел понимающими глазами, полными гнева...

— Неужели погиб... он...

— Погиб дорогой и самый близкий тебе багатур, покрытый славою побед,— неизвестные злодеи переломили ему хребет.

Лицо Чингиз-хана исказилось. Руки смяли соболье покрывало. Он шептал:

— Утчигин поторопился... Большого багатура и опытного полководца уже нет... а заменить его некем! Кто теперь... правителем Хорезма?

— Твой юный внук, хан Бату, под руководством его мудрой матери. Она созвала нукеров и вместе с мальчиком поднялась на курган. Бату-хан сидел на гнедом боевом коне своего отца. Горячий мальчик закричал нукерам: «Слушайте, багатуры, победители четырех сторон мира! Ваши мечи уже заржавели! Точите их на черном камне! Я поведу вас туда, на запад, через великую реку Итиль. Мы пронесемся грозою через земли трусливых народов, и я раздвину царство моего деда Чингиз-хана до последних границ вселенной... И я клянусь также, что я разыщу и сварю живыми в котлах тех злодеев, которые погубили моего отца!»

Чингиз-хан, потемневший и страшный, с блуждающими глазами, приподнялся на локоть и, задыхаясь, выдавливал слова:

— Хорошо быть молодым... даже с колодкой на шее...[1] когда впереди сверкают победы... Но Бату еще мальчик... Он наделает ошибок... его тоже погубят! Повелеваем... чтобы рядом с Бату...всегда был советником... мой самый верный «барс с отгрызенной лапой»... осторожный Субудай-багатур... Он его сбережет и научит воевать... Бату продолжит мои победы... и над вселенной... протянется монгольская рука...

Чингиз-хан упал на бок. Левый глаз прищурился, правый глаз, сверкающий и зловещий, наблюдал за сидевшими.

Опустив взоры, все долго молчали. И вспомнились слова поэта[2]:

Четыре человека в бессилии сидели
Около могучего полководца, привыкшего побеждать.
Это были: врач, шаман, дервиш и звездочет.
При них были и лекарства, и древние заклинания,
И талисманы, и гороскоп, —
Но ни капли исцеления ни один не мог дать.

В тишине заржал конь, стоявший у шатра. Вздрогнув, все взглянули на кагана,— его правый глаз, потеряв блеск, потускнел.

Чингиз-хан давно уже возил с собой гроб, выдолблен-

---

[1] В юности Чингиз-хан провел три года пленным рабом во враждебном кочевье с тяжелой колодкой на шее.

[2] Хосревани (X в.).

ный из цельного дубового кряжа, выложенный внутри золотом. Ночью сыновья тайно поставили его посреди желтого шатра. В гроб положили Чингиз-хана, одетого в боевую кольчугу. Руки, сложенные на груди, сжимали рукоять отточенного меча. Черный шлем из вороненой стали оттенял побледневшее суровое лицо с опущенными веками. По обе стороны в гроб были положены: лук со стрелами, нож, огниво и золотая чаша для питья.

Военачальники, согласно приказу кагана, скрывали тайну его смерти и продолжали осаду главного тангутского города. Когда тангуты вышли из ворот города с почетными дарами и предложили мир, монголы на них набросились, всех перебили, затем ворвались в город и обратили его в развалины.

Завернув гроб Чингиз-хана в войлок и положив на двухколесную повозку, запряженную двенадцатью быками, монголы направились в обратный путь. Чтобы никто преждевременно не рассказал о смерти повелителя народов, багатуры, пока не прибыли в Коренную орду, по дороге убивали всякое встречное творение — и людей, и животных, говоря умиравшим:

— Отправляйтесь в заоблачное царство! Усердно служите там нашему священному правителю!

Во время народного оплакивания прославленный багатур Чингиз-хана, победитель меркитов, китайцев, кипчаков, иранцев, грузин, аланов и урусов, полководец Джебэ-нойон объявил:

— Однажды «тот, кто устроил наше царство», охотился на горе Бурхан-Халдун. В пустынном месте на склоне горы он отдыхал под старым деревом. «Тому, кого уже нет», понравилось это дикое место и высочайший стройный кедр, задевавший за облака. И я услышал такие его слова: «Это место удобно для пастбища дикого оленя и прилично для моего последнего упокоения. Запомните это дерево».

Полководцы кагана, в силу приказа, разыскали на горе указанное место, где рос необычайно высокий кедр. Под ним был опущен в землю гроб с телом Чингиз-хана.

Постепенно вокруг могилы разросся такой густой и дикий лес, что нельзя было пройти сквозь него и найти место погребения, так что и старые хранители запретного места не укажут к нему дороги.

ЭПИЛОГ

Глава первая

ЗДЕСЬ ПРОШЛИ МОНГОЛЫ

Вы, покрытые снегом горы!
Вы видели, как я сделался рабом неверных?
Как я шел со связанными руками,
Покрывая голову от ударов кнута!
Моими слезами не трогается никто.
Одни только горы содрогаются от них.

(Из песни хивинского невольника)

По широкой дороге, ведущей на восток от великой реки Джейхун, где в течение многих столетий проходили богатые караваны, сразу после монгольского погрома прекратилось движение. Опустели придорожные лавчонки и постоялые дворы, и стояли они унылые, без ворот и дверей, выломанных воинами для костров. Завяли неорошаемые большие сады, так как некому было прочищать арыки и проводить воду.

Странным и необычным казался молодой мрачный всадник в иноземном плаще, одиноко ехавший по пыльному пути, где всюду валялись растасканные шакалами человеческие кости. Вороной поджарый конь арабской крови равномерно постукивал копытами, а всадник изредка ободрял его свистом.

— Какая мертвая пустыня! Ни человека, ни верблюда, ни собаки!— вздохнул путник.— За весь день только два волка не торопясь пересекли дорогу, точно хозяева этой безмолвной равнины, похожей на бесконечное кладбище.. Если так пойдет и дальше, то мой неутомимый конь вместе с хозяином скоро растянется навеки возле этих белых черепов со следами страшных монгольских мечей.

Темная шевелившаяся масса впереди показалась необычной. Конь фыркнул, насторожив уши. Всадник подъ-

ехал ближе. Несколько больших угрюмых орлов теснились над добычей, лежавшей посреди ослепительно залитой солнцем пыльной дороги.

Всадник свистнул. Тяжело взмахивая огромными крыльями, орлы взлетели и опустились невдалеке на ближайшие бугры. Между свежими дорожными колеями в странном положении, точно в судорожном порыве, лежала девочка в изорванной туркменской одежде. Орлы уже успели испортить ее лицо, еще сохранившее нежные черты.

— Опять монгольская работа! Они хватают детей, держат, не заботясь, потом, натешась, бросают...

Взмахнула плеть, и конь поскакал. За поворотом дороги всадник нагнал группу монголов. Две повозки на высоких скрипучих колесах, перегруженные награбленным скарбом, медленно ехали впереди. На каждой повозке на вещах сидела монголка в мужском лисьем малахае и овчинной шубе и монотонно покрикивала на упряжных быков, равнодушно шагавших в облаке пыли.

Позади повозок ковыляли трое полуголых изможденных пленных со связанными за спиной руками и шатавшаяся от слабости женщина. За ними плелась, высунув язык, большая лохматая собака. Монгольский мальчик лет семи, с двумя косичками над ушами, подгонял пленных, точно пастух, торопивший медленно идущих коров.

— Урагш, урагш, муу! (Вперед, вперед, дурной!) — кричал мальчик и поочередно стегал каждого хворостиной. Одет он был в подоткнутый за пояс ватный халат, содранный со взрослого, на его ногах были просторные сапоги, и, чтобы они не сваливались, маленький монгол туго перевязал их под коленями ремешками. С сознанием важности порученной работы мальчик особенно подгонял женщину, которая тащилась только благодаря веревке, протянутой от повозки. Через прорехи желтого платья просвечивала ее костлявая спина с багровыми рубцами. Женщина причитала:

— Отпустите меня! Я вернусь! Там осталась моя дочь Хабиче... Я сама потащу ее!..

— Какую тебе еще дочь надо?— прервал старый монгол, вынырнувший на сивом коне из тучи пыли.— Сама едва плетется на веревке, а хвалится, что потащит другую клячу!..

Старик стегнул женщину плетью. Она рванулась впе-

ред и упала. Веревка, которой она была привязана, натянулась и поволокла пленницу. Монголка с повозки закричала:

— Что ты, старый пес, жадничаешь? Была бы хромая овца, я бы взяла ее к себе на колени,— от овцы хоть мясо и шкура. А какая нам прибыль от этой скотины? Ее дочь уже подохла, вот и она свалилась. А нам, ой, как далеко еще плестись домой, к родным берегам Керулена!.. Брось ее!

— Не подохнет! Живучая!— хрипел от злости старик.— И эта падаль и эти три молодца — все у меня дойдут до нашей юрты. Другие наши соседи по двадцать рабов домой гонят, а мы не можем пригнать четверых? Эй вы, скоты, вперед! Урагш, урагш!

Монгол стегнул плетью волочившуюся женщину, веревка оборвалась, и рабыня осталась на дороге. Повозки двигались дальше. Старик придержал сивого коня, щелкнул языком и спросил подъехавшего молодого всадника:

— Выживет или не выживет? Купи ее у меня! Дешево продаю, всего за два золотых динара...

— Она и до ночи не доживет! Хочешь два медных дирхема?

— Давай! А то и вправду не доживет! Тогда и этого я не получу...— Монгол засунул за голенище две полученные от всадника медные монеты и рысцой направился догонять свой обоз.

Всадник свернул в сторону и, не оглядываясь, поскакал через высохшее поле...

Впереди выросли белые развалины, причудливые груды обломков, старые стены с проломами и несколько величественных арок. На них еще сохранились разноцветные арабские надписи. Много искусства и мысли было положено зодчими, построившими эти стройные здания, и еще больше труда внесли неведомые рабочие, сложившие из больших квадратных кирпичей и красивые дворцы, и внушительные медресе, и стройные минареты. Монголы все это обратили в покрытые копотью развалины.

— Один бы сноп сухого клевера и несколько лепешек,— шептал всадник,— и тогда мы, проехав еще день,

доберемся до зеленых гор, где найдутся и люди, и дружеская беседа возле костра.

Каменные развалины уже близко. Вот под массивной аркой тяжелые ворота, открытые настежь. Двери обиты железом с большими, как тарелки, выпуклыми шляпками гвоздей.

«Знакомые ворота! Когда-то здесь проходили дервиш Хаджи Рахим, крестьянин Курбан-Кызык и мальчик Туган. Теперь Туган вырос, стал искусным воином, но, как бесприютный путник, не находит себе ни хлеба, ни пристанища в благородной Бухаре, раньше столь цветущей и многолюдной».

Под темными воротами гулко прозвучали копыта коня. Впереди метнулась рыжая лисица, легко взлетела на груду мусора и скрылась.

Осторожно ступал конь, пробираясь между обломками мертвого, безмолвного города. Вот главная площадь... Величественные здания окружали раньше это место шумных народных сборищ. Теперь площадь засыпана мусором и посреди белеет скелет лошади. В бирюзовом просторе неба медленно плывут бурые коршуны, распластав неподвижные крылья.

Конь остановился возле каменных ступеней мечети и, фыркая, попятился, поводя ушами. Впереди, на каменной подставке, лежала огромная раскрытая книга Корана с покоробившимися от дождей листами, которые шевелились от ветра.

«По этим каменным ступеням въезжал в мечеть на саврасом жеребце мрачный владыка монголов, рыжебородый Чингиз-хан. Здесь он повелел бухарским старикам кормить до отвала его плосколицых воинов. Тогда на площади пылали костры, жарились бараньи туши... До сих пор еще видны на каменных плитах следы костров»...

Туган сошел с коня, разостлал плащ и накрошил сухого хлеба. Он разнуздал коня и присел на ступени, держа конец повода.

За грудой камней что-то зашевелилось. Из-за обломков кирпичей поднялась истощенная женщина. Кутаясь в обрывки платья, она приближалась, протянув руку, и не могла оторвать жадных горящих глаз от хлебной корки.

Туган дал ей горсть сухарей. Она величественным медленным жестом приняла их, как драгоценность, и,

отойдя, опустилась на колени. Она поднесла сухарь к воспаленным губам, но резко опустила руку и стала раскладывать сухари ровными горсточками на каменной плите. Осторожно слизала с руки крошки и крикнула:

— Эй, лисята, эй, пузанчики, ко мне! Не бойтесь! Он наш, он добрый.

Из черного отверстия между каменными плитами показалась сперва одна, потом три взлохмаченные детские головки. Пробираясь между развалинами, цепляясь друг за друга, дети медленно приблизились к женщине. Голые, обожженные солнцем, они были худы, как скелеты, только животы их раздулись шарами. Из черной дыры вылезли еще двое детей. Они и не пытались встать, а подползли на четвереньках и уселись, обняв руками свои опухшие животы.

Женщина ударила по рукам тех, кто потянулся к сухарям, и стала по очереди класть детям в рот крошки. Она рассказывала:

— Ворвались они... эти страшные люди, закутанные в овчины... Скакали повсюду на небольших лошадях и забирали все, что только замечали... Они убили моего мужа,— он хотел оградить семью... Они схватили всех моих детей и увезли,— не знаю, живы ли они?.. Всадники волокли меня на аркане, держали рабой на потеху всем. Однажды ночью мне удалось скрыться, и я пробралась сюда, в эти развалины... Здесь я не нашла своего дома. Только кучи мусора. Днем бегают ящерицы, ночью воют и подкрадываются шакалы. Около города я встретила этих брошенных монголами детей. Мы вместе искали еду и выкапывали корешки дикого лука... Теперь эти дети стали моими детьми, и мы умрем вместе, а может быть, и выживем...

Туган отдал женщине последние сухари и, ведя в поводу коня, вышел из города.

Туган пробирался все дальше к Самарканду. Он не встречал караванов. Кое-где на полях показывались редкие поселяне. Раза два прорысили монгольские всадники. Тогда работавшие поселяне падали, как подкошенные, и уползали в канавы. Когда облачко пыли, провожавшее монголов, уплывало за холмы, на полях снова поднимались напуганные поселяне и принимались вскапывать землю.

Глава вторая

ГДЕ ШУМНЫЙ ГОРОД САМАРКАНД?

Через несколько дней Туган остановился на пустынной возвышенности, изрытой могильными буграми. Перед ним зеленела долина реки, где громоздились развалины недавно еще славного Самарканда. Домики с плоскими крышами лепились один около другого, но никакого движения не замечалось в бывшей столице Мавераннагра, где раньше трудились десятки тысяч искусных рабочих.

Проломанные и размытые дождями крепостные стены огибали среднюю часть города. Там сохранилась закоптелая часть высокой мечети, выстроенной последним хорезм-шахом Мухаммедом, и две круглые башни.

Хромой нищий приблизился к Тугану и просунул из отрепьев тощую руку.

— Подай убогому, славный бек-джигит! Да сохранит тебя в битвах аллах! Да отведет он вражескую стрелу от твоего храброго сердца!

— Где же город? Где блестящая столица султанов и шахов? Где важные купцы, пестрые базары, где веселый шум молотков в мастерских?— говорил Туган, рассуждая больше с самим собою, чем с нищим.

— Всего этого больше нет! — сказал нищий. — Ведь тут прошли монголы! Разве они что-нибудь оставят? Ты спрашиваешь, куда девался город? Одну часть людей вырезали безжалостные всадники, другую часть угнали они в свои далекие степи, остальные жители бежали в скалистые горы, где многие уже погибли...

— Долго ли беглецы будут скитаться?

— Туда за город, выше по реке, уже понемногу сходятся люди и строят себе хижины из хвороста и глины. Но живут они всегда в страхе: монголы могут вернуться каждый день, забрать, кого хотят, и утащить с собой на арканах... Да сохранит тебя аллах за твою щедрость!

— А что это за башни в середине города?

— Заворачивай коня подальше от этих башен! Там тюрьма! Монгольские ханы уже завели тюрьму в мертвом городе. При ней живут монгольские палачи, они железными палками разбивают головы осужденных. Я расскажу тебе, как они это делают...

Туган, не слушая, спустился вниз по косогору. Пробравшись между развалинами мертвого города, Туган подъехал к крепости, где возвышались две старые башни, мрачные и безмолвные. Вдоль стены на земле сидели унылые родственники заключенных. Часовые с копьями сторожили у ворот. Оседланные кони дремали, привязанные к столбам.

— Ты куда? Отъезжай!— крикнул часовой.

— У меня дело к смотрителю тюрьмы,— сказал Туган.

— Ты по ней стосковался?

— Может быть, если в башне сидит мой брат.

— У нас в тюрьме немало разбойников. Но долго они не засиживаются: их приводят на площадку перед рвом и стукают по темени железной булавой. Поищи там, во рву, может быть, найдешь тело брата. Как звали его?

— Он дервиш и пишет книги, Хаджи Рахим Багдади...

— Длинноволосый безумный дервиш? Такой еще жив! Мы его зовем «дивона» (юродивый). Посажен надолго...

—«Навеки и до смерти»?

— Я слишком с тобой разболтался... Привяжи коня и ступай во двор. Спросишь начальника тюрьмы. Его дом стоит там же. Около двери на крюке повешен кувшин. Не забудь положить в этот кувшин не меньше шести дирхемов. Тогда начальник будет тебя слушать...

Туган привязал коня и вошел в ворота. Начальник тюрьмы стоял на террасе дома в красном ватном халате и зеленых туфлях на босу ногу. Полуголый тощий повар, звеня железной цепью на ногах, рубил сечкой в деревянной миске баранину для кебаба. Конец седой бороды начальника, его ногти и ладони были выкрашены красной хенной. Камышовой тростью ударял повара по плечу и приговаривал:

— Подбавь перцу! Не ленись! Так! Полей гранатовым соком!

Туган заметил подвешенный у двери глиняный кувшин и опустил в него десять медных дирхемов. Начальник мрачным взглядом уставился на Тугана.

— Я мусульманский воин из отряда Субудай-багатура. С его разрешения еду разыскивать родных. Вот моя пайцза!— Туган достал висевшую у него на

шнурке дощечку с вырезанной надписью и рисунком птицы.

Начальник повертел пайцзу и возвратил ее Тугану.

— Что тебя привело в этот дом отверженных?

— Я ищу родственника, дервиша Хаджи Рахима аль Багдади. Нет ли такого?

— Да проклянет его аллах и да сохранит нас, меня и тебя, от сомнения и знакомства с ним!

— За что его посадили? Я знал его человеком праведным.

— Хорош праведник! Он посажен по требованию святейшего шейх-уль-ислама и достойнейших имамов за равнодушие к священным книгам, за дерзкое вольнодумство и за то, что в разговоре он никогда не упоминал имени аллаха всевышнего. Гибелью стал его конец!.. Огонь будет его жилищем!.. Туда ему и дорога!

Туган подумал и сказал:

— Обвинения ему предъявлены тяжелые, но, может быть, ты все же позволишь мне как-нибудь облегчить его судьбу?

— Не старайся напрасно! Ему сохранили жизнь только по требованию Махмуд-Ялвача, великого визиря у могучего владыки нашей страны, хана Джагатая. Дервиша не выпустят, прежде чем он не напишет книгу о жизни и походах потрясателя вселенной Чингизхана.

— А когда Хаджи Рахим окончит свои записки, его выпустят?

— Чего захотел! Даже если он раскается в своих прегрешениях, его выведут из тюрьмы только для того, чтобы перед толпой на площади ему отрезать язык и руки. Вот почему «дивона» уже два года пишет книгу и будет писать еще лет тридцать, чтобы отдалить день своей гибели.

Туган сказал:

— Так как Хаджи Рахим был моим благодетелем, научил меня читать и писать по-арабски и кормил меня, когда я умирал от голода, я готов на богоугодные дела пожертвовать мой единственный золотой динар... — Туган показал золотую монету. — А ты, великий начальник, прояви милость к обреченному на гибель и позволь мне повидать Хаджи Рахима.

— Дай мне золотой динар и ступай в следующий двор. Там ты можешь любоваться сколько хочешь своим сумасшедшим «дивоно́й».

Туган положил золотую монету в выкрашенную красной хенной ладонь начальника тюрьмы и прошел в каменные ворота.

Глава третья

В ЖЕЛЕЗНОЙ КЛЕТКЕ

В глубине узкого дворика в стене темнело квадратное отверстие с железной решеткой. Там в груде тряпок копошилось что-то темное,

Около клетки прижалась к стене тонкая фигура, завернутая в длинную до земли черную шаль, обычную у женщин бродячего племени люли.

Туган осторожно подошел. Женщина повернула голову. Знакомые черты поразили его: то же смуглое золотистое лицо, те же карие пытливые глаза, но исчезла прежняя беззаботность. Метнув пристальный взгляд, женщина отвернулась... Сомнений нет — это была Бент-Занкиджа́!

Туган подошел ближе, вглядываясь внутрь клетки. В ней заключенный мог с трудом сидеть согнувшись. Из темноты показались косматая грива черных вьющихся волос и горящие, впивающиеся глаза. Несмотря на страшную перемену в исхудавшем лице, Туган не мог не узнать Хаджи Рахима. Дервиш подполз к прутьям клетки и прижался к ним волосатым лицом.

— Ты пришел вовремя, младший брат мой! — хрипел он. — Подойди ближе, Туган, и выслушай мои последние желания. Злобные имамы хотят сгноить меня в клетке или для устрашения толпы обстричь мне уши и разрубить на части... Но разве могут они убить свободную мысль, задушить мою пылающую ненависть?.. Теперь я написал все, что они хотели, но, прочтя мои записки, они сожгут на костре и мои записки и меня... Ведь я не расхваливал, как они, краснобородого Чингиза и не сочинял хвалебных медовых песен татарским поработителям Хорезма, толстокожим убийцам женщин и детей... Я смело написал правду о том, что видели мои глаза... Я сделал все, что мог, и теперь пришел мой по-

следний день разлуки. Похороните меня под старым платаном на берегу Салара. Мой учитель Абу Али ибн-Сина был величайший мудрец, а гонимый тупыми злобными имамами, он умер в тюрьме на гнилой соломе... Он знал все тайны вселенной, но не знал одной — как спастись от смерти!..

Туган заговорил тихо:

— Помнишь ли, чему ты меня учил в пустыне, когда мы с тобой были связаны веревками и над нами был занесен меч грозного «черного всадника», Кара-Кончара? Не ты ли тогда говорил: «Подожди унывать, ночь длинна и еще не кончилась!» Теперь я тебе говорю то же самое: «Подожди унывать, ночь даже не начиналась!»

Хаджи Рахим быстро приподнялся, точно силы вернулись к нему. Туган продолжал тихо, вполголоса, стараясь убедить:

— Слушай, старший брат мой, и сделай то, что я скажу. Я дам тебе три черных шарика, и ты их проглотишь. Тогда ты будешь неподвижен, как мертвец, перестанешь чувствовать боль и увидишь сон, будто ты перелетел через горы в долину прохладных потоков и благоухающих цветов... Там пасутся белые, как снег, кони и поют прекрасными голосами золотые птицы... И там во сне ты встретишь снова девушку, которую ты любил в шестнадцать лет.

— А потом, проснувшись, я буду снова грызть железные прутья? Мне не надо такого сна!

— Подожди и слушай дальше! Пока тебе пригрезится горная долина, где ты будешь наслаждаться неомрачаемым забвеньем, я объясню твоим тюремщикам, что ты умер и твое тело надо предать земле. Тогда тюремщики раскроют клетку, подцепят крюком твое тело и поволокут в яму казненных.. Вытерпи это, как бы ни было больно, не закричи и не заплачь! Иначе тебе разобьют железной палкой голову... Когда же ты будешь лежать в яме среди трупов и в полночь подползут шакалы, чтобы грызть твои ноги, я буду ждать вместе с тремя воинами. Мы завернем тебя в плащ и быстро унесем за город в безлюдное место... Там разум вернется в твое тело, я посажу тебя на коня, и ты уедешь на запад или на восток, где начнешь новую жизнь...

— Да, ты правильно сказал: ночь еще не кончилась!.. Я готов отправиться в долину белых коней! Дай скорее

целебные шарики! — И Хаджи Рахим протянул руку, черную и жесткую, как лапа беркута.

Туган достал из цветного мешочка три черных шарика и передал Хаджи Рахиму. Тот, не колеблясь, их проглотил. Он начал что-то шептать, все неразборчивее и тише, покачнулся и свалился на бок...

К клетке подошел стражник с копьем.

— Мой начальник приказывает дольше не оставаться возле отверженного преступника!

— Заключенный не нуждается в милости твоего строгого начальника: он умер!

Стражник недоверчиво просунул в клетку копье и кольнул лежавшего дервиша.

— Не кричит? Не ворочается? Видно, в самом деле умер!.. Теперь тело безумного «дивоны» будет выброшено в яму... Если вы захотите его похоронить, поторопитесь это сделать сегодня же ночью. К утру собаки и шакалы изгрызут покойника так, что вы и костей его не соберете... Спасибо за щедрость! Всем нам когда-нибудь придется умереть!..

Глава четвертая

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА КНИГИ

> Упорный и терпеливый увидит благоприятный конец начатого дела.
>
> *(Хаджи Рахим)*

Туган и Бент-Занкиджá шли рядом по безмолвным пустынным улицам разрушенного города. Туган вел коня в поводу. Гулко отдавался стук копыт в стенах покинутых зданий. Оба вспоминали далекие дни юности, проведенной в шумном Гургандже, в доме погибшего во время разлива реки старого Мирзы-Юсуфа.

— Все эти долгие годы моих скитаний я думал о тебе, Бент-Занкиджá!

— Вот опять перед тобой подруга твоего детства... И мне тоже пришлось увидеть блеск молний и услышать удары грома, который потряс всю нашу землю... Но там, где в яростную бурю падают могучие дубы и платаны, там иногда сохраняется невредимой маленькая мышка, — и я спаслась!

— Расскажи, что с тобой было в эти страшные годы?

— Слушай, что со мной произошло. Когда монголы схватили меня в Бухаре и заставили петь их свирепому владыке грустные песни про гибель Хорезма, он похвалил меня и приказал содержать в его походном хоре китайских певиц... Вместе с ними я побывала всюду, где проходил этот истребитель людей. Однажды Чингиз-хан стал жаловаться на боли в глазах, на то, что вместо одного месяца перед ним проплывают два месяца, что вместо одного джейрана ему в степи мерещатся сразу три. Он думал, что с ним шутят злые духи. Монгольские шаманы молились и плясали перед Чингиз-ханом, но не сумели отогнать злых духов. Лекари боялись коснуться его и заглянуть в его ужасающие глаза. Однако приехавший в лагерь Чингиз-хана старый арабский «каддах»[1], по имени Зин-Забан, храбро взялся вылечить «потрясателя вселенной». Он действительно быстро помог Чингиз-хану. Свирепый владыка остался доволен и спросил, какую награду он хочет? Старый лекарь не просил сокровищ, а только указал пальцем на певицу женского хора, и этой певицей оказалась я! Чингиз-хан приказал отдать меня лекарю. Старик запер меня в эндеруне[2], где я пела про черные кудри юноши и родинку на щеке. Лекарь услышал и побил меня узорчатым поясом. Я запела о воине, забывшем улыбку. Старик опять стал учить меня сыромятным ремнем. Тогда я убежала от него, и меня приютили у себя в походных шатрах женщины презираемого у нас бродячего племени огнепоклонников люли. Я ходила закутанной, как они, в черное покрывало, и никто меня не выдал... Но, себе на горе, старый каддах Зин-Забан пошел жаловаться на меня грозному Чингиз-хану и умолял, чтобы его воины меня разыскали... Монгольский владыка так рассвирепел, что все кругом попадали на землю, спрятав лица в ладони... «Как ты осмелился упустить из своих рук мой дар? — кричал Чингиз-хан.— Как ты не сумел подчинить себе твою жену? Мужчина, которого не слушается жена, не смеет жить в моих владениях! Возьмите его!» И бедного старого лекаря схватили палачи и тут же отрубили ему умную седую голову. «Какая страшная развязка!»[3] С того вре-

[1] Каддах — арабское слово — глазной доктор, окулист.
[2] Эндерун — женская половина в жилище.
[3] Обычное выражение арабских сказок, взятое из Корана.

мени я живу у племени люли. Узнав, что Хаджи Рахим сидит в клетке, я стала приносить ему хлеб, орехи, виноград... Я помогала ему писать...

— И ты, сама гонимая, помогала ему?

— Через каждые три дня я ходила в тюрьму и передавала Хаджи Рахиму несколько листов чистой бумаги, а он украдкой протягивал мне написанные им за три дня листы своих воспоминаний. Переписав у себя в шатре эти листы, я возвращала их Хаджи Рахиму и через три дня опять получала новые страницы повести о нашествии монголов на Хорезм... Таким образом, одновременно с той книгой, которую писал в клетке Хаджи Рахим, у меня накопились листы второй такой же книги, переписанной моей рукой. Да будет благословенна память Мирзы-Юсуфа, научившего меня писать!..

— Ты сделала великое дело,— сказал Туган.— Если злобные имамы сожгут записки Хаджи Рахима, у нас сохранятся вторые их листы! И внуки наши и правнуки будут читать повесть Хаджи Рахима о злодеяниях Чингиз-хана.

Они подошли к берегу быстрой мутной реки. Здесь стояли закоптелые шерстяные шатры племени люли.

У подножья старого платана, на обрывке ковра, Бент-Занкиджа́ положила пачку бумажных листов. Яркая луна, поднявшаяся над развалинами Самарканда, освещала желтые страницы, где ровными строками излагалась повесть гонимого скитальца.

Бент-Занкиджа́ опустилась на ковер и, перебирая листы, говорила:

— Хаджи Рахим крайне ослабел, запертый в холодной, никогда не согреваемой клетке, но он нисколько не унывал, точно его жгли собственные пламенные мысли... Он уже писал с трудом... Видишь, как в этих строках у него дрожат и прыгают буквы! Слушай, что Хаджи Рахим написал на последней странице...

Бент-Занкиджа́ взяла исписанный арабской вязью лист бумаги и стала читать:

— «...Мой истертый калям дописал последние строки повести о набеге беспощадных монголов на цветущие долины нашей родины... Запыленный опилками усер-

дня, составитель этой книги хотел бы сказать еще много о тех малодушных людях Хорезма, которые не решились самоотверженно выступить на борьбу с жестоким губителем мирных племен, свирепым Чингиз-ханом...

...Если бы все хорезмийцы твердо и единодушно подняли меч гнева и, не щадя себя, яростно бросились на врагов родины, то высокомерные монголы и их краснобородый владыка и полгода не удержались бы в Хорезме, а навсегда бы скрылись в своих далеких степях...

...Монголы одолевали больше вследствие несогласия, уступчивости и робости противников, чем силой своих кривых мечей... Смелый Джелаль эд-Дин показал, что с небольшим отрядом отчаянных джигитов он умел разбивать монгольские скопища...

...Но калям выпадает из моих холодеющих пальцев... Силы дервиша-скитальца слабеют, а дни бегут, приближая день расплаты... И я могу начертать лишь несколько строк из стихотворения поэта[1]:

Подобно весеннему дождю,
Подобно осеннему ветру
Исчезла моя молодость!
Я задержался в этой жизни,
А вожак каравана
Уже нагрузил верблюдов
И торопит двинуться в путь...

...Скажу на прощанье моему неведомому читателю:

«Надменные имамы и раздувшиеся от важности улемы меня упрекают в неверии! Злобна и тупа их близорукость! Неверие, такое, как мое, не легкое и не пустое дело»[2]. Нет тверже и пламеннее моей веры: в победу скованного мыслителя над тупоумным палачом, в победу угнетенного труженика над свирепым насильником, в победу знания над ложью!.. Я знаю, настанет лучшая пора, когда правда, забота о человеке и свобода поведут нашу родину к всеобщему счастью и свету!.. Это придет, это будет!»

---

[1] Хосревани (X в.).
[2] Абу Али ибн-Сина (XI в.).

Бент-Занкиджа́ приложила к губам тонкий смуглый пальчик с тремя серебряными кольцами, подумала, сдвинув изогнутые брови, старательно сложила исписанные листы и завернула их в кусок пестрой материи. Она подняла блестящие черные глаза на Тугана и сказала шепотом:

— Теперь я позову трех смелых юношей из племени люли... Вы отправитесь к яме казненных выручать Хаджи Рахима. Ведь ночь длинна и еще не кончилась! Мы спасем его!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть третья

Битва при реке Иргизе

Часть четвертая

Враги на границе

Часть пятая

Вторжение невиданного народа

КНИГА ВТОРАЯ

Под монгольской плетью

Часть первая

Ураган над Хорезмом

Часть вторая

Последние дни великого Хорезма

Часть третья

Битва при Калке

Часть четвертая

Конец Чингиз-хана

Эпилог

Ян-Янчевецкий
Василий Григорьевич

ЧИНГИЗ-ХАН

Печатается с издания Гослитиздата УзССР, 1959

Редактор *А. И. БОЧКАРЕВ*
Техн. редактор *В. Н. БАРСУКОВА*
Корректор *Т. Н. СМИРНОВА*

Подписано к печати 25/XII-1971 г Бумага типографская № 1. Формат 84×108. Печ. л. 11,125. Усл. печ. л. 18,69. Изд. л. 17,88. Тираж 150.000.
Издательство „Каракалпакия", г. Нукус, Ленина, 15.
Договор № 26—71.

Отпечатано в типографии № Государственного комитета Совета Министров Узбекской ССР по печати. Ташкент, ул. Хамзы, 21. 1972. Заказ № 424.
Цена 67 к.



67к.

КАРАКАЛПАКИЯ

В.Г. ЯН

ЧИНГИЗ-ХАН

1